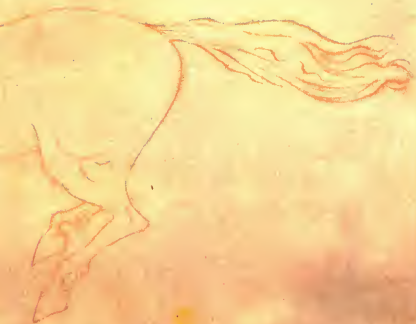


БАМИЛ ИКРАМОВ

**ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
СЧАСТЬЕ**







ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ



КАМИЛ ИКРАМОВ

ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ СЧАСТЬЕ

**Повесть
об Амангельды Иманове**

Второе издание

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983**

Камил Икрамов известен как автор книг о революции и гражданской войне в Средней Азии — «Караваны уходят», «Улица Оружейников», «Круглая печать» и фильмов, созданных по этим книгам, — «Красные пески», «Завещание старого мастера». Его перу принадлежат также исторический роман «Пехотный капитан», приключенческие повести «Скворечник, в котором не жили скворцы», «Махмуд-канатоходец», «Семенов» и др.

Пять лет прожил писатель в Казахстане, где и возник замысел книги о народно-революционном движении, которое возглавил легендарный Амангельды Иманов.

Яркая личность главного героя, судьбы людей, окружавших его, и увлекательный сюжет позволили писателю создать интересную книгу, адресованную массовому читателю.

Повесть, получившая одобрение прессы и читателей, выходит вторым изданием.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Рыжий русский раздавал что-то из бумажного кулька.

Ребята сначала отказывались, потом брали это, издали непонятное, и тут же клали в рот.

Старшина аула Кенжебай стоял чуть поодаль, брезгливо щурился, делал вид, что его это не касается. Русский собрался сунуть оставшиеся конфеты в карман, тут подошел Амангельды, попросил побольше.

Рыжий спросил, зачем ему так много, потом еще спросил, как зовут, но отдал все, что было, глянул в пустой кулек, скомкал его и бросил.

— Пойдемте,— сказал он Кенжебаю, и они медленно пошли по краю обрыва над рекой. Старшина что-то объяснял рыжему, тот кивал.

Амангельды смотрел им вслед. Есть конфеты он не спешил.

Кенжебай придержал кошму, вежливо склонился, пропуская гостя вперед. Иеромонах-миссионер Борис Кусякин, привыкший к уважению, сел на почетное место и готов уже был продолжить беседу, но хозяин почему-то вдруг вышел из юрты.

— Бейшара! — громко позвал он. — Бейшара!

Бейшара — это не имя, это кличка. Вряд ли родители сами назовут так своего ребенка, подумал миссионер.

— Эй, Бейшара! — еще раз крикнул Кенжебай, но то, что он сказал дальше, отец Борис не мог расслышать: бай стал говорить тихо, шепотом.

Миссионер не ошибся: когда-то у Бейшары было имя, доброе имя, выбранное родителями для сына, для первенца, который так и остался единственным. Кудайбергенем назвали его родители, но теперь никто не звал его так. Зачем имя, когда хорошо пристала кличка? Много нужно объяснять про человека, если у него нет хорошей клички. Бейшара — это несчастный, нескладный, невезучий. Бейшара — горемыка.

— Ты видел, что этот русский дал ребятам? — тихо спросил Кенжебай. — Отними и выброси. Дети пососут эти ледышки, а потом изменят вере отцов и дедов. Отними и брось собакам.

У Кенжебая тоже была кличка — Яйцеголовый, но никто не решался произнести это слово в присутствии бай. Яйцеголовый собирался стать волостным управителем; главных выборщиков подкупил, кое-что уплатил сразу, кое-что посулил на будущее. Станные люди — неужто верят его посулам? Не столько верят, сколько боятся его. У Кенжебая камча тяжелая, не плеть, а цеп — он одним ударом вспарывал халат или шубу.

— Иди, быстрее иди! А то они съедят все.

Ребятишки сидели на берегу старицы Терисбутака и о чем-то болтали. Бейшара подошел и увидел, что опоздал: конфеты, которыми угостил детей русский миссионер, были съедены. Только Амангельды, сын покойного Удербая, держал что-то в кулаке левой руки.

— Что у тебя? — спросил Бейшара.

— Русский дал, — ответил Амангельды, отвернулся и опять заговорил с ребятами.

— Выброси собакам, — сказал Бейшара и подумал:

неужели эти желтые льдинки такие вкусные, что можно ради них забыть веру отцов и дедов? Хорошо бы попросить! Надо отобрать у мальчишки, сделать вид, что идешь выбрасывать собакам, а незаметно припрятать хотя бы одну.

Однако у мальчишки был такой бесстрашный взгляд, что отнимать у него силой не захотелось.

— Отдай мне, я выброшу собакам. Это мусульмане есть не должны. Русский мулла нарочно дает вам, чтобы поселить в ваши сердца отраву, чтобы вы забыли веру и закон предков.

Мальчик разжал кулак. На ладони лежало несколько желтых леденцов.

— От этого забуду?

— От этого.

— От этого не забуду.

— Забудешь. Зря русский их дает?

— Кто сказал, что я забуду?

— Кенжебай сказал.

Мальчик сжал руку в кулак и отвернулся от Бейшары.

— Кенжебай врет, — сказал он через плечо. — Я видел, как он своих детей угощал такими же, когда приезжал из Оренбурга.

— Не из Оренбурга, а из Тургая, — поправил мальчика Бейшара. — В Тургае их тоже продают. Отдай!

Амангельды отошел подальше.

— Не отдам. Я уже попробовал, они очень сладкие. Я Амантаю отдам, он сладкое любит.

Бейшара сделал еще два шага, Амангельды отбежал на пять. Ребятишки смотрели, что будет.

— Отдай, дурак! — крикнул Бейшара. — Ты превратишься в русского, и брат твой превратится в русского! Свиной будете пасти и свинину жрать!

Амангельды отошел еще шагов на пять. Теперь он уходился в полной безопасности.

— Ой, Бейшара, зачем вы верите Яйцеголовому? Он скорей нас всех превратится в русского. Никто у нас так много с ними не возится.

— Отдай,— без всякой надежды повторил Бейшара.— Отдай, а то матери скажу!

Удивительно дерзкий мальчишка этот Амангельды. Правда, мальчики, растущие без отцов, часто бывают дерзкими, но этот особенно. Обидно взрослому не справиться с мальчишкой, еще обидней, что это на виду у всех, совсем плохо, что и так никто в ауле не уважает...

— Дяденька Бейшара,— позвал тонкий голосок.— Возьмите у меня. У меня одна есть, я для сестренки хотел оставить. Возьмите, только никому не говорите.

Мальчику было на вид лет семь, его звали Абдулла. Он был здесь гостем, приехал вместе с матерью к родне.

Бейшара взял леденец и пошел к ближней отаре. Конфету он незаметно переложил в левую руку, а правой размахнулся и вроде бы бросил конфету собакам. Потом Бейшара вернулся к юрте Яйцеголового, подождал, хотел доложить о выполненном поручении. Из юрты доносились оживленные голоса и смех, Кенжебай очень дружил с русским муллой. Выходить оттуда, кажется, никто не собирался. Бейшара побрел на край аула, в свою холодную и пустую юрту. Он ненавидел ее, он боялся ее, он плакал в ней каждую ночь, с тех пор как второй раз убежала к баю Калдыбаю его жена Зейнеп.

Он упал на кошму и завыл. Он выл тихо, звук не рвался наружу, а уходил внутрь, в живот. Среди ночи Бейшара проснулся по малой нужде. В левой руке было что-то липкое, он вспомнил, положил в рот. Он никогда до того не ел конфет. Леденец был сладкий и пахучий.

Кенжебай брезгал русским муллой. Он знал, что тот иеромонах, то есть никогда не сможет жениться. Значит, нет у него желания быть мужчиной.

Все, что переживал Кенжебай, захватывало его душу целиком, чувства были сильные, контрастные, без оттенков и переливов. Только любовь и только ненависть. Он любил родные степи, полынь, ковыль, даже голые пески и солончаки, любил весенние разливы рек и майское комарье над степью, любил скакать верхом за зайцем или волком. Он любил охоту, он равно любил волка и зайца, живого или шкурой висящего у седла. Он многое любил в то время, когда дремала его ненависть. Ненависть вспыхивала в Кенжебае мгновенно и ослепляла его надолго. Много сил уходило на то, чтобы смирить сердце, и оно побело от этого.

Больше всего на свете Кенжебай ненавидел русских, однако знал, что должен терпеть их, угождать, приглашать в юрту, кормить самым вкусным. От этого ненависть его становилась мучительной, будто в грудь нагребли черный уголь, и горел он, как в кузнечном горне. Кроме русских ненавидел Кенжебай своего вечного соперника и соседа Калдыбая, который тоже мог выставить свою кандидатуру в волостные и имел много шансов победить.

— Калдыбай — умный человек, но поступает как последний дурак, — говорил Кенжебай русскому миссионеру. — Он плохо отзывается о русских и о царе. Это он сгоряча, не подумав, делает, но ведь слова не улетают, они остаются висеть в воздухе. Зачем о царе плохо говорить, тем более при простых, неграмотных людях, которые все плохое рады запомнить и потом разнести по степи. Болтун! О вере вашей тоже плохо отзывается... Кушайте, пожалуйста! Это баурсак называется. Знаете? Конечно! Вы совсем почти как киргиз¹ стали. Мы, киргизы, вас за

¹ До 1925 года, а иногда и позднее киргизами, киргиз-казахами, киргиз-кайсаками называли казахов, переноса на них название соседнего народа — собственно киргизов. Читатель должен будет смириться с этой путаницей.

своего считаем, вы обычай знаете, верхом хорошо ездите, лицо смуглое стало.

Миссионер ел вкусные кусочки теста, прожаренные в бараньем сале, и думал о своем детстве, о том, как редко удавалось ему наесться досыта, как холодно бывало в избе всю зиму и почему-то особенно холодно весной во время великого поста. И еще думалось, что дикие кочевники живут лучше, сытнее, вольготнее. Отцу Борису это казалось несправедливым. Он и вправду думал, что казахи живут лучше, потому что бывал лишь в богатых домах и угощали его, как начальника.

— Вы про бая Калдыбай, конечно, слышали. Известный человек,— продолжал Кенжебай,— а мне он друг. Но невозможно так часто нарушать царский закон и законы наших предков и при этом хотеть стать волостным. Правда?

— Истинно,— сказал отец Борис.— Нельзя нарушать законы божьи и человеческие.

Отец Борис не хотел ни с кем осориться и поддакнул, не подумав. Спихватился сразу и недоуменно спросил:

— А разве почтенный бай Калдыбай нарушает?

— Нарушает. Еще как! Жил в степи один тихий человек, мечтал жениться, накопил денег, отдал трех верблюдов, три сундука вещей, получил жену, какую хотел. Приехал Калдыбай ночью, напал на юрту тихого человека, увез жену, за которую столько заплачено, и часть вещей из юрты увез. Разве так поступают?

— Сколько горя на земле от дикости! Потому и хорош закон нашего Иисуса Христа, что не велит он сильно обижать слабого,— увернулся миссионер от вмешательства.

— Выпейте еще кумысу. Очень хороший кумыс... Да... Обижать слабого нельзя. Потом кое-как удалось бедняку получить с бая пятьдесят рублей деньгами за жену и одного верблюда. Калдыбай говорит: «Я даю тебе не выкуп,

а из жалости. Она ведь сама от тебя убежала, с тобой ей холодно жить». Бедняк заплакал и ушел, потом пришел ко мне и все рассказал как будущему волостному. Мы вместе посчитали — в десять раз больше должен заплатить Калдыбай за жену. В десять раз больше! Правильно я говорю?

Миссионер почувствовал, что его все-таки втягивают в какую-то тяжкую междоусобицу. Он знал, как неумны здешние распри.

— Почтенный хозяин, — сказал отец Борис. — Мирские страсти ужасны, и суд земной не окончательный. О высшем суде надо думать. О душе. Я, конечно, расскажу в уезде о ваших заботах, но вы помогите мне побеседовать с простыми людьми. Хорошо бы завтра пригласить сюда людей. Вам они не откажут в любезности прийти послушать слово божье. Пусть молодежь придет, даже детям можно. Договорились?

У Кенжебая от ненависти заболело сердце.

— Постараюсь...

— Постарайтесь, постарайтесь.

Калампыр уважали в ауле за то, что в тяжелые годы вдовства сумела сберечь семейный очаг, за то, что второй ее муж, рассудительный и памятливый Балкы, никогда не обижал ее, за то, что дети росли сильными и не ссорились между собой. Удивляло аульчан, как настойчиво Калампыр добивалась, чтобы дети ходили к мулле учиться грамоте, ведь что ни говори, а не бедняцкое это дело и четверо мальчишек — забота надолго.

Бектепберген ходил в школу две зимы (с перерывом в два года), Амангельды — одну зиму, и неизвестно, пойдут ли опять, потому что не каждый год школа, не каждый год приезжает мулла. Говорят, что в Тургае есть теперь школа, где учат ребятишек грамоте по-русски и еще какому-нибудь умению. Хорошо бы ребят ремеслу обу-

чить и русской грамоте, но страшно, что откажутся от веры отцов, от пророка Мухаммеда, а значит, и от родины, от матери своей, от близких. Не зря про это говорят знающие люди.

Калампыр была женщиной умной и даже чуть-чуть грамотной, что очень высоко ценил в ней покойный супруг. Когда несчастный Кудайберген, по кличке Бейшара, подошел к ее юрте и сообщил, что у Кенжебая русский мұлла будет разговоры разговаривать и придется прийти туда после полудня, Калампыр обрадовалась: новый человек, новые слова — не так часто услышишь это в ауле.

— Кого-нибудь из детей возьми, — добавил Бейшара. — Амангельды своего возьми. Такой бандит стал, может, к русским перейдет.

Бейшара хотел было сказать матери про то, как мальчишка не отдал ему конфеты, однако нужных слов не нашлось.

Над невидимым отсюда обмелевшим озером летали чайки, солнце светило ярко, и небо было синее-синее, небывалый год сулило долгое бездождье. Отец Борис с раннего утра лежал в тени байской юрты на кошке животом вниз и перемещался вместе с тенью. Он писал дневник, обязательный для отчета дневник миссионера. Кусякин был рад, что избрал себе именно эту тернистую стезю. Путешествия, новые люди, споры о боге, о душе. Споры отец Борис любил не потому, что в них рождается истина, а потому, что истина была ему известна доподлинно и он верил в свое умение утвердить ее в умах собеседников. Еще больше, чем споры, любил он в уединенье заниматься своим дневником, который в будущем предполагал опубликовать. Обращение многочисленных инородцев империи в православную веру — задача государственная. Православие, самодержавие, народность — вот основа основ, и в начале всего — православие!

Бумага в тетради была гладкая, дорогая, а карандаш жесткий, острый, как шило. Красиво ложились строчки.

«...26 июня сего 1884 года я купил в лавочке купца Хабибулина четыре фунта простых конфет для раздачи киргизтам, отправился я по аулам Кайдаульской волости, полагая на первое ознакомление неделю, то есть более чем полфунта конфет на день. Нынче 30, а конфеты кончились. Киргизята конфеты берут, некоторые сразу по две или три, но взяв, многие тут же убегают прочь, боясь моего христианского вида и предупрежденные магометанскими фанатиками. Вчера только один мальчонка смело стоял подле меня, слушал разговоры взрослых и попросил еще конфет. Сказал, что для братишки. Вчера же спросил имя киргизенка у Кенжебая, тот сказал, а я забыл. Надо еще спросить и записать. К именам привыкаю трудно. Забыл даже имя того муллы, с которым познакомился третьего дня. Видимо, он здесь не случайно, собирает детей на осень для магометанского обучения. Мулла образован, смышлен, кончил курс наук в Казани, бывал в Бухаре и Мекке. При всем том темнота его удивительна. После обычных приветствий и расспросов с обеих сторон о житье-бытье мулла с заметной грустью рассказал, что вчера он собрал жителей нескольких аулов и всем обществом они молились своему богу и пророку о ниспослании на землю дождя. Молебствие киргиз состояло в следующем. Все собрались для молитвы в одно место, и из каждого аула привезли по барану. Баранов закололи, мясо сварили. Перед едой мулла прочитал несколько глав из Корана. Полагается, по словам киргиз, все мясо съесть тут же после молитвы, а у них некоторые женщины пришли с чашками и, когда мясо варилось еще в котлах, стали понемногу накладывать в свои чашки и таким образом растащили по домам почти половину жертвенного мяса. По этому поводу мулла выразил свое неудовольствие, а киргиз Тулеген, исполняющий должность

старшины, резонно добавил, что такая мольба до бога не дойдет, потому что женщины во время молитвы занимались воровством, мяса осталось мало и никто не наелся.

Незадолго перед тем и мы в Тургае служили молебен о ниспослании дождя на землю. Я рассказал про это, содержание некоторых молитв из молебна о дожде передал им на киргизском языке. Слушали внимательно, благодарили за рассказ, но между собой переглядывались, а один бедняк спросил, а почему плохо при этом есть мясо. Как глупо!»

Вторая жена Кенжебая сбивала айран¹. Длинная пахталка звонко хлопала в высокой узкой кадушке, и отец Борис рад был, что скоро позовут есть. Он продолжал писать, но солнце припекало, и мысли будто испарялись от сухого зноя. Впрочем, про все и не напишешь. Сердило миссионера, что русская администрация вроде бы сама нарочно насаждала среди киргизов магометанство.

Православные миссионеры в доверительных беседах в своей среде часто сетовали на все большее омусульманивание киргизов, кои, по сути, до самого недавнего времени были наивными язычниками. Но ведь именно русская администрация поощряла строительство мечетей и открытие мусульманских школ. Один из наставников п столпов миссионерских рассказывал отцу Борису о том, как действуют сторонники ислама. Он приводил слова казанского муллы о том, что Россия делается все более и более мусульманской страной и мусульман скоро будет больше, чем православных. Мусульманские училища уже есть в Касимове, Илецке, Пензе, Вятке, Перми, Симбирске. И правда, может ли кто поручиться, что в этих самовольных и неизвестно где еще открытых медресе и мектебах не раздастся ныне проповедь, от которой вскоре не поздоровится России?

¹ Айран — кислое молоко особой закваски.

Нет, не следует развивать грамотность, коли с ней вместо христианства приходит богомерзкое магометанство. Про это отец Борис Кусякин давно хотел статью написать, но боялся, как бы не попасть в ниспровергатели. Церковь этого не любит.

Завтрак, видимо, откладывался. У подножия холма стали резать барана. Значило это, что будут гости. Миссионер должен радоваться новым встречам, правда, при большом стечении народа беседы получались не столь складными, а иногда и вовсе прерывались. Степняки заявляли о своем нежелании слушать слова о вере православной, объясняли это страхом перед своим богом, а чаще, ничего не объясняя, вдруг начинали притворно шуметь и ссориться друг с другом.

Нет, у Кенжебая скандала не будет. Отец Борис не мог согласиться с мнением, будто крестить инородцев надо с разбором и менее всего набирать новопросвещенных христиан из тех, кто околачивается возле русских городов и поселков, а также из тех, кто судился за воровство, разбой и мошенничество. Говорят, что призывать к вере надо не загнанных нуждою, полуголодных работников, потерявших способность к восприятию новых плодотворных идей, а крепких хозяев, которые пользуются среди общества почетом и уважением. Господи, какую путаницу устроили! Ведь и Христос-спаситель не из богатых начинал паству собирать. Пусть голытьба, воришки мелкие, пусть из корысти. Лишь бы вступил под сень православной церкви, а там обратается, ибо неисповедимы пути господни...

Завтракать все не звали. Отец Борис смотрел на ребятшек, бегающих на козьем выгоне. Все они отсюда на одно лицо. Но священник почему-то вспомнил того, круглоголового и быстроглазого, который взял у него конфеты для младшего брата. Истинно христианский поступок! И вспомнилось сразу, как зовут симпатичного мальчу-

гана,— Амангельды. Миссионер записал это имя, поместил, что Амангельды любит сладости и заботится о младшем брате.

Он закрыл тетрадь и увидел, что к юрте подъезжают два всадника на хороших конях. Слава богу, наконец-то позовут есть.

Калдыбаю Бектасову было чуть меньше сорока, он был коренаст, коротконог, смотрел без улыбки и держался уверенно. Вместе с ним приехал Иса Минжанов, известный своей молчаливостью. Яйцеголовый как-то сразу притих. После обычных приветствий и вопросов о здоровье, о родственниках, о хозяйстве Калдыбай обратился к отцу Борису:

— О вас знает теперь вся степь. Мне в самых дальних аулах рассказывали про молодого русского муллу, который верхом разъезжает по нашим землям и угощает детей сладостями. Значит, это вы?

— Значит, это я,— усмехнулся отец Борис.

— Зачем вы это делаете?

— Что именно?

— Зачем вы ездите по степи?

— Вы знаете, уважаемый, что я священник-миссионер. Я несу людям свет истинной веры, свет правды и вечное спасение.

В это время Калдыбаю подали кумыс. Он пил, не отрываясь, и поверх большой чаши нагло разглядывал попа. Допил кумыс, расправил усы и опять спросил:

— Разве людям нужна чужая вера, чужая правда, отличная от правды их отцов, и разве может найти спасение тот, кто изменит своему народу?

— В мире есть всего одна правда — для всех людей и всех народов,— ответил отец Борис, радуясь тому, что сумел подавить в себе вспышку негодования.— Спасение одно, путь к нему един. Таков мой долг смиренного христианина и пастыря.

Калдыбай понял, что миссионер слегка струсил. Только этого он и хотел. Вражда с Кенжебаем и соперничество за власть в волости зашли далеко, и чтобы привлечь на свою сторону русских, надо показать себя сильным и дерзким. Недавно Калдыбай послал своих джигитов отбить скот у соседей по южным пастбищам. Кенжебай, который и сам никогда не гнушался воровством и разбоем, конечно, знает об этом и, конечно, допес русским, но когда дело дойдет до официального расследования, сам будет выгораживать врага и соседа. Тут никому никуда не деться: круговая порука в таких делах выше корысти.

Отец Борис сразу невзлюбил Калдыбая Бектасова, вот уж настырный магометанин, все черты в нем наружу.

— Насчет бога все понятно,— сказал Бектасов.— Насчет веры тоже ясно. Однако я так и не понял, зачем же вы даете детям сладости? Чтобы подсластить вашу правду?

— Я люблю детей, я очень люблю детей! — с вызовом сказал отец Борис.— Дети раньше взрослых познают истину и раньше взрослых придут к справедливости, их сердцам ближе божьи заповеди. Я люблю деток и потому даю им сладости. Только из любви, а не из корысти.

Калдыбай засмеялся, поглядывая на Кенжебая и своего молчаливого спутника:

— Рад бы и дальше слушать ваши сказки, но мы из другого аула, мы любим свои рассказы.

Он встал, за ним подпнулся Иса Минжанов.

— Русскую веру принимают плохие киргизы, кто бога не боится и себя прокормить не может,— сказал Иса, и отец Борис понял, почему он так молчалив: Иса картавил и шепелявил одновременно. Впрочем, и среди шепелявых болтуны встречаются часто, и не все картавые стесняются своей картавости.

Отец Борис понимал, что последнее слово в разговоре с гостями из другого аула должно остаться за ним.

— Бай Калдыбай, — сказал миссионер, — десять заповедей у господина нашего, запомните хотя бы одну, самую последнюю, десятую: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его». Вы поняли меня?

Остановленный у выхода Калдыбай весело глянул на миссионера.

— Что тут сложного! Это всякий понимает. Только я ни у кого ничего не отнимаю и не прошу. Мне все само идет, потому что я счастливый. Кенжебай подтвердит это. До свиданья!

— До свиданья! — Иса пошел за Калдыбаем, и скоро они уже взбирались на соседний пологий холм, коренастые, с широкими спинами.

— Очень плохой человек Калдыбай Бектасов, — сказал Кенжебай. — Он хвастун и грабитель. Он отнял жену у бедного Бейшары, отнял вместе с ее приданым и обманул с выплатой отступного. Поверьте, такому человеку нельзя давать власть.

— Власть земная мало тревожит меня, — слукавил миссионер. — Жаль только простых степняков, когда такие бессовестные люди правят ими. Все, однако, во власти божьей.

Больше на эту тему отец Борис говорить не хотел, но решение его было твердым: он должен воспрепятствовать несправедливости, не дать Бектасову стать волостным. Уступить здесь — значит унижить православие перед магометанством.

Первую беседу о пользе крещения отец Борис проводил с этими же мыслями и был в ударе. В юрте Кенжебая собралось с десятков взрослых и столько же детей. Мальчики Амангельды и Абдулла слушали внимательно, а девочка, сидевшая у самой двери, все время хихикала. Отец Борис хотел выгнать ее, чтобы не мешала остальным, но

не стоило нарушать плавного течения собственной речи.

— Итак, друзья мои, я рассказал вам о том, как снизошло на землю слово божие, кто такой Христос и чего он хотел. Теперь же слушайте меня с особым вниманием: я расскажу, какое благо бывает человеку, принявшему истинную веру и окрестившемуся...

Кенжебай вдруг начал нутужно кашлять, девочка у двери засмеялась, отец Борис многозначительно замолчал.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил он. — Почему ты громко смеешься, мешаешь нам?

— Зулиха, — шепотом ответила девочка. — Меня зовут Зулиха.

— Если ты будешь плохо вести себя, Зулиха, я попрошу тебя уйти из юрты, — сказал миссионер. Из мальчиков надо искать новообращенных; надо трудиться, не жалея сил. От девчонок толку не бывает, не зря их с детства замуж выдают.

— Итак, друзья мои, вы знаете, когда человек моется в бане, тело его очищается: точно так же и душа человека, принявшего святое крещение. Убеляется душа и очищается.

Амангельды с жадностью ловил каждое слово русского проповедника; ему нравилось, как тот говорил. Странно звучали знакомые слова в устах этого человека, странным был его вид: длинные рыжие волосы до плеч, веснушчатое курносое лицо, синие, как небо, глаза. Амангельды любил слушать сказки, истории, рассказы о набегах, о страшных снах. И теперь ему было интересно. Мать предупредила, чтобы он не верил русскому, когда тот будет хвалить свою веру. Амангельды и не верил, а просто слушал — интересно. Зря только этот рыжий русский так зло смотрел на Зулиху. Разве можно? Она ведь еще маленькая. Пусть смеется, если хочет. Девчонкам надо прощать. У них и потом мало будет радости, а Зулиха ему

правились. Родители очень ее баловали, одевали во все новое, камзолчик на ней был из яркого голубого бархата с золотым шитьем, монисты у нее были звонкие.

Амангельды догадывался, почему Зулиха так некстати хихикает. Наверно, она представила, как русский бог с такой же рыжей мордой, как у этого, спустился с неба и пошел в баню мыться.

— Как человеку отвратителен запах гниющего трупа,— продолжал миссионер,— так богу противен человек своими грехами. Но как только человек окрестится, бог простит все его грехи и будет милостив к нему. Люди же, не знающие истинной веры, находятся во власти дьявола. Дьявол их соблазняет постоянно, вводит их в разные бедствия и делает им всякое зло...

Амангельды очень хотел послушать про дьявола, потому что любил страшные истории. Однако миссионеру дьявол был безразличен.

— Когда умрет некрещеный человек, то душа его уходит в ад, а человек крещеный не будет мучиться, но будет жить в раю божьем в радости и блаженстве.

Отец Борис продолжал рассказывать о райских садах, и Бейшара, который с самого начала не хотел слушать речи неверного, постепенно увлекся сказкой. Он представил себе склон горы, на котором растет много мелких деревьев и кустарников, и на всех плоды. Созрели дикie яблоки, ежевика, барбарис, алыча — все вместе, все сразу. Поют птицы, а он идет в гору по этому саду со своей молодой женой Зейнеп и угощает ее яблоками. Яблоки мелкие, твердые, но очень сладкие. Это была не мечта, не сон, а вроде воспоминания. Именно так и было однажды, в то первое лето женитьбы. Через месяц Зейнеп в первый раз убежала к Калдыбаю. Всего месяц после той прогулки прожили, а она убежала. С горя Бейшара не сообразил сразу, что с бая можно получить много больше, и попросил отступного рублей в сто...

— Истинный бог милостив и щедр,— издалека доносился до Бейшары голос русского.— Впавшего в беду бог жалеет; спасает того, кто не имеет возможности спастись. Милосерд к сироте и внимает молитве его. Как пастух отделяет овец от козлов, так Христос праведников отделяет от грешников, праведников поставит по правую сторону, а грешников — по левую...

«Какая глупость! — раздражился Кенжебай, — разве пастух ставит овец справа, а козлов слева? Мелет всякую ерунду, врет без зазрения совести». Дальнейшая речь миссионера еще больше не понравилась Кенжебаю.

— Детей Христос отделит от родителей, мужей — от жен, богатых — от бедных, всех отделит друг от друга. Несправедливому судье и начальнику бог скажет: «Сколько виновных отпустил ты за взятки без суда и сирот отпустил ты, не выслушав их просьб. Ты помогал вора, ворованный скот принимал в свои табуны, вещи краденые скрывал у себя, и думал ты, что поступков твоих бог не увидит, взыскивать, судить и обвинять тебя не станет и за несчастных не заступится».

Тирада о неправедных судьях и начальниках была припасена к концу беседы и всегда действовала безотказно. Слушатели насторожились, воодушевились, многие искоса поглядывали на хозяина юрты. Он хоть и не был судьей, но много лет был старшиной аула, а теперь вот собирался стать волостным. Кенжебай видел, вернее, чувствовал эти взгляды. Он сидел, склонив голову, изображал смиренное внимание, но негодовал. Вначале, когда миссионер заговорил о неправедных судьях, Кенжебай подумал, что это прямой намек на Бектасова, и это показалось очень уместным. Три года назад Бектасов был судьей и, как всем известно, укрывал краденое. Но все знают, что и Кенжебай не может без этого прожить. Если есть обычай воровать скот, если есть закон степей и закон удали, то должен быть и закон богатства.

— Когда предстанет такой судья или начальник перед всевышним, тот скажет ему: «Вот я, праведный судья! Иди, проклятый, от меня! От тебя плакали люди, ты сам теперь плачь во веки веков!»

На этой высокой ноте отец Борис оборвал свою беседу, предложив всем подумать об услышанном и сказав, что следующую встречу назначит скоро, а завтра уедет нести слово божье в дальние аулы.

Отец Борис долго не мог заснуть в ту ночь и не давал спать хозяину юрты. Кенжебай с трудом сдерживал себя, чтобы не вскочить, не заорать, не отстегать русского болтуна своей камчой, похожей на цеп.

Во всех других юртах люди давно уже спали. Бейшаре снилась гора, пологий склон, заросший дикими яблонями и ягодником. Только не лето было, не осень, а весна. Все цвело вокруг, а он шел с Зейнеп, и она смеялась.

Амангельды спал под боком старшего брата Бектепбергена, и ему снился суд. На белой кошме сидел Яйцеголовый и судил другого Яйцеголового. До чего же были похожи судья и подсудимый!

— Вот я, праведный судья,— говорил судья Яйцеголовый.— Иди, проклятый, от меня! От тебя плакали люди, ты сам теперь плачь!

Подсудимый Яйцеголовый не плакал. Он стоял перед судьей, в руках у него была камча.

— Иди! — говорил судья. Кенжебай почему-то не уходил.

Трава становилась белесой. Сначала подсыхал кончик каждой травинки, потом во всю длину вытягивались седые полоски.

Мальчик лежал на животе и думал про седую траву: воды ей тут было мало, а соли много. Еще он думал про свой сон, про двух Яйцеголовых. Он любил вспоминать сны и рассказывать их другим, только не

было охотников слушать. Но больше всего он любил молчать. В молчании явь и сон, собственные воспоминания и рассказы людей переплетались между собой, и не было нужды отличать одно от другого, искать точные слова, делать выводы. Например, он помнил, как летела над осенней желтой степью огромная стая воробьев или других таких же мелких, серых и никчемных птиц, — вдруг показался ястреб, и огромная свободно летящая стая прямо на глазах превратилась в круглый летящий шар, такой плотный, что не понять было, как птицы машут крыльями. А ястреб не стал нападать, улетел.

Это видели только двое, Амангельды и его отец. Теперь отца нет и никто не поверит, что так было. Могут сказать, что ему это приснилось. Или врет.

Еще он думал о золотисто-карем иноходце, таком, какого никогда не видел. Может, у великого кипчака, у сказочного Кобланды-батыра был такой конь. Ни у кого из баев Амангельды не видел лошади, о которой мечтал. Хорошие были кони, а такого золотисто-карего не было в округе. Чтобы вспомнить, был ли такой конь у Кобланды, мальчик пошел в юрту и взял домбру¹. Он настроил ее и запел.

Пел он хорошо, за песни его хвалили.

В давно минувшие времена
Жил каракипчак Кобланды.
Отец его Токтарбай
Был в народе знатный бай...

Много чего рассказывалось о великом батыре, но про золотисто-карего все не было. Потом мальчик и забыл, зачем начал петь. Просто пел.

¹ Домбра — струнный музыкальный инструмент у казахов.

Глава вторая

Тургайский уездный начальник полковник Яков Петрович Яковлев был не только старшим по званию в тургайской русской колонии, но и старшим по возрасту, по сроку службы в здешних местах. Невысокий, с веселыми молодыми глазами и дубленным морщинистым лицом, он пользовался уважением и принимал это как должное. Яков Петрович был вдов, и хозяйствовала в его большом и удобном доме дочь — крупная, полногубая тридцативосьмилетняя Ирина Яковлевна. Каждую среду в доме полковника собирались самые интересные люди Тургай, пили чай с вареньем и пирогами, иногда выпивали по рюмке, но главное — разговаривали, читали вслух столичные журналы и новые книги, говорили о мировой политике, о судьбах России, о просвещении, о нравах.

Стоял сентябрь, первые дожди пролились над степью, все лето жаждавшей влаги. Тургайские хозяйки готовились к зиме, вернулись из отпусков чиновники, и Ирина Яковлевна после летнего перерыва на вторую среду сентября пригласила всех.

Двое были новичками в тургайском обществе, им уделялось особое внимание. Первым был статистик Семен Семенович Семикрасов — молодой человек со строгим лицом и большими жесткими руками. Он чувствовал себя неловко в новом обществе и весь вечер молчал.

Второй новичок в салоне Ирины Яковлевны был отец Борис Кусякин. Этот из всех сил старался понравиться, тужился говорить басовитее, строже и неусыпно следил за выражением своего лица, про которое в семинарии говорили, что оно будто бы излишне откровенное.

Полковник пил, кажется, третью чашку чая без сахара и без варенья и с живым интересом разглядывал гостей, словно сам был здесь первый раз. Отец Борис рассказывал о впечатлениях, сложившихся после посе-

щения дальних волостей, о баях, кои претендуют на власть, вскользь о Кенжебае Байсакалове, чуть подробнее о Калдыбае Бектасове. Миссионеру казалось, что его впечатления, впечатления свежего человека, лишённые предубеждений, будут особенно полезны старожилам, которые ко всему пригляделись. Отец Борис так и говорил:

— Как человек новый, с новым взглядом...

Однако хозяйка как-то незаметно и необидно для священника повернула беседу в другую сторону:

— Господа, Семен Семенович доставил несколько презабавных книг и журналов. Я полагаю, надо вспомнить зимний обычай и почитать вслух. Вы знаете, что нас всех, живущих и служащих на азиатских территориях России, кое-кто называет ташкентцами. Книга же, которую привез Семен Семенович, впрочем...

Ирина Яковлевна откинулась на спинку стула, поднесла книгу к глазам и начала:

— «Ташкентцы — имя собирательное. Те, которые думают, что это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами в Ташкент, ошибаются самым грубым образом. «Ташкентец» — это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. «Ташкентец» во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах — значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительской деятельности — просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом...»

Один из ее гостей осторожно подсел ближе к хозяйке и через плечо смотрел в книгу. Единственный киргиз среди сегодняшних гостей — исполняющий должность инспектора киргизских школ Тургайской области Ибрагим Алтынсарин — пересел ближе к хозяйке, заглядывал в книгу. Местные жители звали его Ибраем, а начальник уезда, с которым Алтынсарин работал много лет, на русский манер переименовал в Ивана Алексеевича.

Чем дальше читала Ирина Яковлевна, тем более суровел Алтынсарин. Образ безазбучного просвещения и объект, к которому оно прилагалось, в представлении Алтынсарина обретал совсем не русские, а типично казахские черты. Как это горько сказано о простом человеке: будь он русский, казах или калмык «он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи». Как горько, как точно, как безнадежно! Кто этот писатель? Алтынсарин хотел прочесть имя на обложке, но там его не было.

— Мрачно, — сказал полковник, когда дочь его сделала передышку.

— Решительно согласен с вами, Яков Петрович, — сказал миссионер. — Я уже рассказывал нынче о двух баях, одном безнравственном и дерзком — Калдыбае Бектасове, который чужд христианству по натуре своей, хотя и грамотен. Я упоминал и о Кенжебае Байсакалове, который, напротив, склонен к христианству, и нравственный облик его чище.

Яковлев сказал:

— Вы, отец Борис, думаете: кто соглашается с вами, тот умен и благороден, кто возражает, тот глуп и подл. Поверьте, из этих двоих разбойников я предпочитаю Бектасова. Яйцеголовый — так, кажется, кличут Кенжебая? — лжив, угодлив и, получив власть, такую способен

заварить кашу в Кайдаульской волости, что всему уезду ее не расхлебать. Пусть лучше волостным будет Бектасов. Доверьтесь тут моему чутью. Правильно я говорю, Иван Алексеевич?

Алтынсарин не спешил с ответом. Он сидел теперь за чайным столом у сверкающего самовара, украшенного десятком гербовых медалей, смотрел на священника строго и спокойно.

— Правильно я говорю, Иван Алексеевич? — повторил свой вопрос начальник уезда.

— Да, — сказал Алтынсарин. — К сожалению, вы правы, Яков Петрович. Оба они плохи. Бектасов держится за старые обычаи, старую мораль и потому чуть лучше, чем Кенжебай, которому не нужны ни мораль, ни право, ни закон... Меня тревожит еще то, что мы с вами решаем вопрос, кому быть волостным, когда решать это должны не миссионеры, не чиновники, не вы, Яков Петрович, а только жители волости, только они.

— Полноте, Иван Алексеевич, — сказал Яковлев. — Не говорите зря, вы же знаете, какие это выборы, как они проводятся. Мы не должны пускать такое дело по воле волн. Справедливости надо помогать.

— Силой?

— А чем же еще? — полковник пожал плечами. — В чем же, дорогой мой Иван Алексеевич, нуждается справедливость, как не в силе?

Неожиданно в разговор вступил ротмистр Новожилин. Он стоял с книгой в руках:

— До чего смел и беззастенчив! До чего нагл! «В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо» столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то

Кукольник отвечал: «Прикажут — завтра же буду акушером».

Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказаний». Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут — и просвещение вместо школ сосредоточится в полицейских управлениях».

Отец Борис имел твердую цель всем здесь понравиться и шел к этой цели напрямик.

— Совершенно верно, господин ротмистр. Я далек от мирских дел, но сатира должна быть доброй и не огульной.

— Прогресс любого народа начинается с образования, — сказала Ирина Яковлевна. — С азбучного образования. Сначала образование, затем — неминуемо — реформы! Папа, ты смотришь на меня осуждающе или вопрошающе? Хочешь еще чаю?

— Хочу. Вся беда нашей жизни — это женская неустроенность. Если бы все пары были счастливые, никаких революций, никаких войн, никаких Наполеонов не было бы. У великого и у ничтожного причина одна. Отец Борис рассказывает, что враждуют два киргизских бая. Ему невдомек, что тут шерше ля фам! Бектасов сманил жену у одного из младших родичей Байсакалова. Вы знаете и об этом, отец Борис?

— Знаю. Только Бектасов не сманил, а силой увел молодую жену у Бейшары-Кудайбергена.

— Любила — не увел бы! Я женщин знаю.

— Только православие спасет киргизов от дикости, — сказал Кусякин. — Я видел удивительно смысленных киргизят с удивительно добрыми, я бы сказал гуманными, наклонностями. Вот один мальчик, растущий без родного отца, попросил у меня конфеты, чтобы отдать их младшему братишке, прижитому матерью от второго мужа. Поступок этот...

— Остановитесь, отец Борис! Как можно сказать: «прижитому матерью от второго мужа»? Прижить можно только вне брака, — воскликнула Ирина Яковлевна.

Отец Борис покраснел. Для него все дети были «прижитыми», а уж в нехристианском браке и подавно.

— Вы правы, Ирина Яковлевна, я хотел этим выразить то, что брат сводный, а не родной. Мальчика зовут Амангельды. Другой мальчик по имени Абдулла взял у меня несколько леденцов и, хотя его пугали фанатики, все им не отдал, а отдал только одну штуку. Потом он сам рассказывал мне об этой маленькой хитрости... Кстати, это было в ауле Кенжебая, в те самые дни, когда туда приезжал этот бесчестный Бектасов.

На последнем придаточном миссионер сделал ударение, но, не будучи уверен, что правильно понят, добавил:

— Я обещал Кенжебаю, что обо всем увиденном расскажу в уезде.

Яковлеву не понравилось, как нажимает на него миссионер! Чего доброго напишет в Оренбург, будет жаловаться, те будут в уезд длинные письма писать; они всегда пишут длинно.

— Господи, до чего устал я вмешиваться в киргизские свары! — сказал Яковлев. — Будьте покойны, отец Борис, я поговорю с Бектасовым насчет этой женщины. Пусть вернет ее прежнему хозяину, если хочет баллотироваться на должность.

Глава третья

Аульные мальчишки уважали его за справедливость, потому что качество это в детях встречается почти так же редко, как и во взрослых. И еще они уважали его за то, что никогда не могли угадать, что он скажет или сделает в следующую минуту. У него не было коня с седлом и наборной уздечкой, как у байских сынков, и все-таки ему завидовали, восхищаясь его независимостью.

В то лето он вдруг охладел к игре в асыки¹, хотя не знал себе равных и мог одним ударом выбить весь кон, совсем не хотел играть в ак-суек¹ и бура-котан¹.

Он много помогал по хозяйству в семье и даже яйца, собранные в птичьих гнездах на озере, не съедал сам, как это было принято у сверстников, а относил домой, матери. Но не столько заботы отнимали его у товарищей, сколько желание побыть в одиночестве. Он любил оставаться один. Если и шел к ребятам, то теперь для того, чтобы пересказывать киссы² о Кобланды, Алпамысе, Камбаре. Ему нужны были слушатели.

Он выросл быстрее других — вот, пожалуй, самое главное, что отделило его от сверстников.

Подступала хмурая осень, и все чаще заходила речь о зиме.

Хуже зимы только голод, — казалось, что эту истину Амангельды понял раньше, чем научился говорить.

Хотя и жаркое, засушливое выдалось лето, но, как полагали взрослые, голода вроде быть не должно. Никто, конечно, не поручится, но вроде бы не должно. Во всяком случае, очень сильного голода, возможно, не будет.

¹ Асыки, ак-суек, бура-котан — подвижные игры казахской детворы.

² Киссы — в этом слове объединяются народные эпические произведения, сказки и поэмы.

В тот год, переходя на зимовки, многие думали так, потому что суховеи и джут измотали людей в Тургайских степях. Из рассказов стариков Амангельды знал, что очень-очень давно — сто или тысячу лет назад — бывали времена, когда воды в степях было много, трава не теряла влажной свежести до поздней осени. Ох, как хотелось пожить в те далекие времена, когда природа была щедрая, а люди сильные и справедливые!

Теперь получалось, что каждое лето суше предыдущего, а каждая новая зима холоднее прошлой.

Никто не любит зиму, никто не хочет переходить на зимовки. Но больше всего — дети! Они легче забывают плохое, зато труднее к нему привыкают. После вольного ветра кочевков, после юрт, пропахших полынью и солнцем, Амангельды просто не мог представить себе сырые землянки, где оживает память прошлогодних болезней и бед. Мать рассказывала, что в землянках живут злые демоны болезней; зимой питаются здоровьем людским, а летом сохнут в тоске и ждут не дождутся, когда загорелые и окрепшие вернутся хозяева к своим зимним кровососам.

На зимовке у людей многое может болеть. Может быть жар с ломотой суставов, с головной болью и кашлем, это скорей всего сузек, то есть горячка. Может заболеть живот: что ни съешь, все насквозь летит; или наоборот — что ни съест человек, все желудок тут же назад выбрасывает. Может просто болеть, будто ножами внутри режет... Этому название — поветрие. Для всех остальных недугов название — порча.

Получается, что болезней всего три, а болеют ими чуть ли не все.

У тетки Зейнеп была порча. С того теплого осеннего дня, когда всем на удивление Яйцеголовый добился, чтобы Калдыбай Бектасов вернул жену Бейшаре, она почти не выходила к людям. Бейшара старался угождать ей,

добывал и мясо, и кумыс, и баурсаки, кипятил ей чай два раза в день, а она не смотрела на него и не говорила с ним. О чем говорить, если второй раз силой возвращают ее от любимого и сильного мужчины к постылому и немощному, от богатой жизни — к нищей. Понимала Зейнеп, что не задарма помогает ее мужу Яйцеголовый. Конечно, он рад насолить Калдыбаю, но ведь он не упустит своего, совсем закабалит Бейшару.

Так оно и было. Только сначала Кенжебай подкармливал Бейшару, а с переходом на зимовку совсем перестал. Бейшара почернел, еще больше исхудал, и слезы текли по его лицу беспрестанно. На людях он плакал беззвучно, а оставшись наедине с женой в своей бедной землянке, начинал стонать. Стонал тихо, чтобы никто не слышал. Впрочем, Зейнеп слышала это каждую ночь, она просыпалась от стонов мужа и вновь засыпала, но ни разу не пожалела его и ни разу не осудила Калдыбая. А ведь Калдыбай поступил против обычая, не должен был он возвращать жену прежнему хозяину. Только русские заставили его, и только потому он согласился, что не хотел ссориться с ними, не хотел на будущих выборах волостного в глазах начальства выглядеть хуже Кенжебая. Не осуждала Зейнеп Калдыбая, а только горестно думала, что мужчины власть ценят больше, чем любовь.

Калампыр и Балкы презирали Бейшару за пресмыкательство перед Кенжебаем, не одобряли они и возврат жены, потому что знали про любовь Зейнеп и Калдыбая, про то, как Калдыбай дважды платил отступного, и главное про то, как не хотела Зейнеп возвращаться. Конечно, Калдыбай лучше Яйцеголового, сильнее, умнее, красивее; он не так лебезит перед русским начальством, но и он собачье дерьмо, если по чужой воле отдает любимую женщину.

Плохая это история! Для всех плохая! Для двух аулов, по крайней мере. А Зейнеп порой особо-то жалеть

не хочется. Не хочется ее жалеть, хоть и говорят какие-то безжалостные языки, что не только под нажимом русских отдал Калдыбай Бейшаре беглую жену, а еще и потому, что первым заметил в ней тяжелую порчу.

На летовке Зейнеп болела тихо, высыхала внутренним жаром, на зимовке заходила громким мокрым кашлем, харкала кровью и однажды позвала соседей и попросила, чтобы они пригласили баксы¹ Суйменбая. О нем в последнее время в долине Терисбутака говорили много.

— Пусть придет баксы, пусть изгонит из меня порчу, тогда я снова смогу жить как человек, и Калдыбай опять полюбит меня.

Эти слова исхудавшая Зейнеп сказала Калампыр, и та не осудила ее. Как Калампыр могла осудить женщину, у которой муж — Бейшара. Калампыр понимала это, потому что и первый ее муж Удербай, и второй Балкы были настоящие мужчины, они умели любить, умели защитить, умели прокормить. Оставшись когда-то с двумя мальчиками у могилы Удербая, Калампыр чуть не умерла от горя, и обычай, обязывающий вдову стать женой деверя, обычай, который она с детства знала, показался ей диким. Не сразу смирилась она, но теперь забыла о тогдашнем своем чувстве, потому что Балкы был хорошим мужем и отцом, ничем не оскорбил в ней память об Удербаяе. Калампыр и Балкы хорошо понимали друг друга.

— Может быть, баксы ей поможет? — сказала жена, когда вышла от больной.

— Кроме него, ни на кого надежды нет, — ответил муж.

— Ей давали горькие коренья, которые не ест ни лошадь, ни баран, ее поили настоями трав в кумысе, ее завертывали в только что снятую горячую шкуру коровы,

¹ Баксы — колдун, шаман у казахов.

потому что свежая шкура может втянуть в себя чужую хворь.

— Шкура коровы мало кому помогает, я заметил.

— Это надо было сделать, чтобы не ругать себя за жадность и черствость.

— Шкуру Яйцеголовый дал на время, потом сразу забрал. Мяса он не дал совсем.— Балкы был мрачен.— Конечно, мы должны позвать баксы. Может быть, это ее последняя просьба. Сообща заплатим, на каждого не так много выйдет. Нельзя, чтобы Бейшара платил за это, он совсем в кабалу попадет.

— Он давно уже в кабале,—махнула рукой Калампыр.— Ты поедешь за баксы? Скажи, когда поедешь, я ему подарки приготовлю.

Баксы Суйменбай велел всем друзьям Зейнеп собраться возле больной.

— Чем больше людей, тем страшней джиннам,—сказал он.— Дети пусть тоже придут.

Когда Амангельды втиснулся в землянку Бейшары, там было тесно. Взрослые пропустили мальчика вперед, и он сел у чьих-то ног.

Впервые в жизни он видел баксы, да еще такого знаменитого.

Ничего необычного в колдуне не было. Он сидел на цветастой кошке и улыбался. Морщинистый лоб, вокруг глаз — тысячи морщинок, но сами глаза ясные, испуганные, молодые. Человек как человек, только кобыз¹ у него особенный. Черная кожа на нем поистерлась, стала белой на сгибах, струны из конского волоса давно порыжели. Амангельды неотрывно смотрел на старинный кобыз, потому что сила любого баксы в кобызе. Настоящий баксы с кобызом не расстается, а про кобыз Суйменбая гово-

¹ Кобыз — смычковый музыкальный инструмент.

рили, что он подарен добрыми духами предкам нынешнего баксы ровно семьсот лет назад. Все джинны повинуются тому, кто умеет играть на этом кобызе. Говорят, что временами кобыз сам собой играет.

Люди тихо и изредка переговаривались между собой, а баксы молча сидел на цветастой кошме и улыбался смущенно, будто помнил, что сидит не на своей кошме и не на кошме хозяина землянки, а на совсем чужой, взятой на время. Бедная Зейнеп пристроилась в стороне, прислонилась к печке. Печку недавно протопили. Никогда землянка Бейшары не вмещала так много народу. Зейнеп дышала часто, глаза ее горели лихорадочно, и она совсем не кашляла. Недалеко от нее сидела на корточках Зулиха и тоже смотрела на баксы.

Все замерли, когда Суйменбай, по-прежнему смущенно улыбаясь, потянулся к кобызу, взял смычок и будто нехотя провел им по струнам. Кобыз сначала пискнул, потом застонал, загудел. Никакой мелодии и никакого ритма не было в этих звуках, резких и диких.

Амангельды почувствовал, как кожа у него пошла мурашками, неприятный холод проник внутрь. Мальчик рассердился: так-то играть каждый дурак может. Он зря рассердился, потому что не от каждой музыки ползут мурашки и замирает сердце, не от каждого пиликанья хочется не только заткнуть уши, но и зажмуриться. Впрочем, жуткая музыка как-то постепенно и незаметно перешла в приятную и сильную. Сначала звучал один кобыз, потом баксы присоединил к нему свой голос, низкий, грудной и тоже сильный. Теперь они пели вдвоем, иногда согласно, иногда споря друг с другом.

Амангельды не слушал слов, только музыка захватывала его, завораживала, кружила голову. Между тем мелодия звучала все приглушеннее, потому что все громче и четче выговаривал баксы слова, обращенные к богу и джиннам. Все громче, громче, громче! Все четче, все четче!

— О бог Аллах, джинн Курабай, другие сильные добрые духи, помогите несчастной избавиться от порчи! Защитите ее от порчи, но не обижайте злых джиннов! Если вы, добрые силы, поссоритесь со злыми силами, то в борьбе своей раздерете пополам красивую Зейнеп. Сохраните ее для сильного мужа, для крепкой семьи, для умных детей, которых она еще родит.

На разные лады повторял баксы эти слова, потом только мелодию вел голос, потом и мелодия стала гаснуть. Нельзя докучать сильным.

В землянке становилось все жарче, дышать было нечем, и люди будто надвинулись на колдуна. Жаркими немигающими глазами смотрела на него несчастная Зейнеп. На щеках сквозь желтизну пробился румянец. Маленькая Зулиха съежилась в комочек.

Вдруг Суйменбай слабо вскрикнул, судорога повела его плечи, руки выпустили кобыз, полузакрылись глаза баксы, опустились углы сжатых губ. Казалось, силы надолго оставили его, но вдруг Суйменбай открыл глаза и увидел что-то, чего не видел никто, кроме него.

— Знаю! — крикнул он. — Вижу! Все вижу! Прочь!

Баксы выхватил из-под кошмы камчу и стал хлестать ею вокруг себя. Свистела тяжелая плеть возле испуганных лиц, все отшатнулись от колдуна, отпрянул и вжался спиной в чьи-то колени маленький Амангельды, а знаменитый баксы перестал хлестать плетью по воздуху, теперь он стал изо всей силы наяривать себя по спине. Рука с камчой будто целилась в кого-то, кто вцепился в загривок колдуна, кто прижался между лопаток.

— Так! Так! Я тебе покажу! — вскрикивал Суйменбай, и, наверное, удары достигали цели. Невидимый джинн соскочил со спины колдуна, тот в изнеможении остановился с опущенной камчой в руке и стал всматриваться в лица людей. Сначала он глянул в лицо Бейшары, тот опустил глаза и заплакал; потом — в лицо Зейнеп,

она ответила таким взглядом, что сам баксы не выдержал его и повернулся к маленькой Зулихе. Девочка испугалась и потеряла сознание. В полной тишине отец Зулихи вынес ее из землянки. А баксы все вглядывался в лица. Ох и злой, оказывается, был этот Суйменбай! Глазки совсем маленькие, красные, зубы желтые, длинные.

На Амангельды колдун даже не глянул. Злые джинны вселяются в близких родственников, чаще всего в женщин. Джинны любят даже старых женщин. В мальчишках их никогда не найдешь. Амангельды много знал про джинов и совсем за себя не боялся, пусть баксы поищет их среди взрослых. Может быть, они поселились в животе Яйцеголового. Вот он какой тихий сидит у самой стены в углу. Так сел, чтобы никому не лезть в глаза. Может, от него все болезни, все несчастья, падеж скота и бескормица? Хорошо бы Суйменбай нашел в Кенжебае злого джинна и стал бы пороть его на глазах у всех.

Все ближе и ближе баксы к тому углу, где сидел Яйцеголовый, все медленней двигался его взгляд. Он видел за спинами людей, за стенами землянки, за степями и реками, за дальними горами. Он видел джинов соленых морей, шайтанов белых снегов, он видел кемпыр-джинна, старуху девяноста лет, такую огромную, что на шубу ей идет девяносто овчин, одна губа у нее до луны, другая до земли.

Остекленелыми глазами баксы глядел в пространство, а маленький Амангельды видел, как бледнеют и вытягиваются лица тех, к кому приближалось испытание взглядом. Пожелтело и словно бы мгновенно отекло длинное, расширяющееся книзу лицо Кенжебая. Вот уж верно, Яйцеголовый. Макушка острая, подбородок круглый. Злые глазки глубоко запали, боится он баксы, боится камчи... Четыре человека осталось до него. Три...

Вдруг Суйменбай подпрыгнул высоко, согнулся и закружился волчком все быстрее и быстрее. Вращение

распрямляло его, пока не выгнуло грудью вперед. Голова Суйменбая запрокинулась, почти до поясницы стала доставать, потом баксы упал, изо рта пошла белая пена...

Амангельды забыл про Кенжебая, про Зейнеп, ради которой все это происходило, про мать и дядю Балкы, про подружку свою Зулиху. Он смотрел на умирающего колдуна и понимал, что видит чудо. Это ведь чудо, что один человек может так заставить страдать себя, чтобы избавить от страданий другого. Ведь и пел, и стегал себя, и прыгал, и вот умирает у всех на глазах, захлебывается пеной, на сухом месте тонет. А как он пел! Пел и играл на кобызе, как никто никогда не пел и не играл. И почему он должен умирать из-за жены Бейшары? Неужели только потому, что ему хорошо заплатили? За деньги так не умирают! Наверное, ему нравится умирать за других людей и еще на виду у всех... А может, он и не умрет совсем.

Амангельды не ошибся. Баксы, который минуту или две лежал вовсе бездыханный, пошевелил рукой, открыл глаза, поднял голову и сел на кошме.

— Теперь она поправится,— сказал баксы.— У нее был один только шайтан. Он убежал через маленькую девочку. Он насквозь убежал. Девочке вреда не будет, а твоя жена, Бейшара, выздоровеет.

На дворе была глубокая ночь, и небо светилось тысячью ярких точек. Дул холодный ветер, снег голубел и скрипел. Впереди Амангельды прыгающей походкой к своей землянке шел Яйцеголовый, сзади — мать и дядя Балкы.

— Кто не верит, тому не помогает,— Балкы объяснял матери: — Это всем известно. Кто не верит, тому не помогает.

— А кто верит? — спрашивала она. — А кто верит?

— А кто верит, тот дурак,— не сразу ответил дядя.

Зейнеп умерла ночью, теплой весенней ночью, когда сорок речек Тургая после долгого и свободного разлива вошли в свои берега, оставив на огромных пространствах бесчисленные озера, озерца, бочажки и просто грязь.

Зейнеп умерла ночью, в канун того дня, когда в Кайдаульской волости должны были состояться выборы. Конечно, смерть женщины не омрачила предстоящих торжеств. Зейнеп умерла после слишком долгой болезни; когда все устали ожидать этой неминуемости и больше всех устал Бейшара-Кудайберген. Многие уже перебрались на летовки, а Кудайберген не решался трогать больную с места и оставался там, где провел страшную зиму; только из сырой землянки перенес он жену в дырявую юрту на взгорке.

Далеко видно с того склона, но Бейшара не смотрел в степь, он плакал, уткнув голову в колени. Он не видел всадников, гарцующих на конях к далекому холму, где стояла белая юрта, поставленная баями для начальника уезда полковника Яковлева. Уездный приехал на выборы, чтобы объявить результаты и поздравить нового волостного. Там, возле белой юрты, будет празднество, скачки, борьба и много-много удовольствий. Там будет большое угощение. Кто-то станет волостным, кто-то, огорченный, ускачет в степь, кто-то обрадуется, что его род обрел новую силу, кто-то затоскует от предчувствия грядущих обид. Бейшара не интересовался исходом выборов. Какое ему дело до соперничества сильных! В эту зиму Калдыбай Бектасов несколько раз без просьбы посылал через людей подарки Бейшаре. Чем ближе были выборы, тем больше он не хотел ненужных разговоров. Видно, очень надеялся на должность. Кенжебай тоже надеялся, но все меньше и меньше. В злобе своей ссорился с друзьями и родичами, стал жаднее, чем прежде, возненавидел Бейшару за то, что тот принимает подарки Калдыбая, и забрал себе за долги те тридцать рублей, которые по де-

сятке давал бай в возмещение за пользование чужой женой.

Семь старух обмывали покойницу, и по закону, по обычаю, каждой нужно было подарить по платью. Бейшара и не вспомнил бы, осрамился бы навсегда, но подошел Амангельды. Он был хмур, потому что в гибели тетки Зейнеп винил Бейшару. Не выполнил, видно, того, что велел ему великий баксы Суйменбай.

— Вас мать зовет,— сказал Амангельды.— Хочет что-то сказать.

Мальчик пошел вниз по склону, а Бейшара поднялся к своей юрте.

И Калампыр не очень сочувствовала его горю, была сурова.

— У тебя в сундуке семь одинаковых платьев лежат, потом подаришь старухам. Ты ведь и не подумал, несчастный.

Бейшаре стало обидно до слез. Как это он не подумал?! Кто может знать, что он думал?! Почему все его упрекают?! Если бы это была не Калампыр, он бы обругал ее. Калампыр он побаивался, как иного мужчину.

— Семь? — переспросил Бейшара.— Откуда они? Бектасов прислал?

Дурацкий вопрос! Несколько раз за зиму случайные люди передавали подарки Калдыбая, последний раз — одеяло и два фунта колотого сахара; но платья, семь платьев для старух он не присылал, это точно. Он и не должен был присылать платья, не мужское это дело. Нечего было и задавать такой вопрос, срамиться. Калампыр поглядела на Бейшару с презрением:

— На тебе смерть Зейнеп. На тебе одном. Помни это.— Калампыр пошла прочь от Бейшары, но потом вдруг сказала еще: — Не можешь — не женись!

Бейшара сидел возле своей юрты и плакал.

«Странная какая жизнь у меня, странные дела,— думал он.— Был я женат или не был женат? Кто это знает, если даже я этого не знаю. Странные какие дела: всю зиму умирала жена, а меня ни в бреду, ни в сознании ни разу не позвала. Никого не звала. Проклинала многих, а не звала никого».

Торжественное окончание учебного года мулла Асим Хабибуллин наметил провести после выборов волостного. На следующий же день, когда улягутся страсти и все войдет в обычную колею, хорошо бы пригласить на занятия уездных начальников, нового волостного и, конечно, Ибрая Алтынсарина. Он и сам бы пришел, без приглашения, по должности, но красивее — пригласить. Русский миссионер тоже придет, он к детям очень большой интерес имеет. Что ж, пусть приходит. Мулла Асим доволен своими учениками, впервые ему удалось собрать таких сильных ребят. Пока они вместе, нужно показать их господину полковнику, господину инспектору киргизских школ и всем остальным. От этого зависит положение муллы Асима в будущем, его переход на законное положение в качестве учителя и законоучителя волостной школы. Ведь нет же пока настоящей волостной школы.

Как только объявят, кто будет волостным, и начнется празднество, сразу надо подойти к русским и пригласить еще раз:

— Не откажите в милости присутствовать, оценить труды детей и мои скромные усилия...

Старший брат муллы держал большую торговлю в Багпаккаре и Тургае, скупал шкуры и шерсть, сбывал мануфактуру и скобяные изделия; младшего брата он не слишком жаловал. Пока Асим учился в Казани и в Бухаре, старший брат помогал, как положено, а теперь перестал. Даже словом, даже советом не помогал.

— Зачем тебе учить киргизят? Зачем тебе быть муллой? Ты хочешь власти и почета, хочешь славы? Все это дают только деньги. Степняки не уверуют ни в тебя, ни в аллаха, они все святое мимо ушей пропускают.

Так старший брат говорил младшему и предлагал должность приказчика на своем оренбургском складе. Но мулла Асим не для того учился, не для того совершил паломничество к Каабе, не для того пешком прошел всю Турцию, чтобы торговать шкурами, шерстью и вонючими кишками. Мулла Асим хотел стать властителем дум, стоящим над людьми. Кто, как не он, выросший в здешних местах, киргиз в душе, человек, прошедший все мусульманские науки и умеющий ладить с любым начальством, может стать во главе верующих? Ему предстоит большое будущее. Конечно, за деньги любой торгаш готов и христианином стать. Все дела старшего брата и все его мысли направлены в сторону Оренбурга, Казани, Москвы и Петербурга. И в глазах местных жителей он скорее русский, чем мусульманин.

Мулла Асим знал, что будущее принадлежит тем, кто идет по стопам пророка Мухаммеда, и даже сама православная Россия неизменно движется к исламу. Весь мир идет к этому.

Мулла Асим знал, что с русскими он должен мириться лишь временно, для будущего они не нужны. В будущем все тюркские народы, все мусульмане должны объединиться, слиться воедино и стать, как дамасская сталь. Тогда не будет ни татар, ни сартов, ни киргизов, ни турков. Тогда будет одно слово — «мусульманин». Это будет скоро, скорее, чем думают многие, но не так скоро, как хочется.

Программа, которую мулла покажет уездному начальнику, инспектору школ и новому волостному, была хорошо продумана. Сначала арифметика, устный счет, сложение и вычитание. Потом таблица умножения, деление в уме двузначных чисел на двузначные.

Первым буду спрашивать Абдуллу. Абдулла Темиров — сильный мальчик. На вид моложе других, худенький, бледный, а голова работает отлично. Далеко пойдет!

Абдулла — любимый ученик муллы Асима, его падежда. Для Абдуллы заготовлены рекомендации друзьям и наставникам, этому мальчику открыта дорога в любое медресе. Нужно только видеть, как воодушевляется он, слушая учителя; глаза горят, на щеках румянец... Много раз мулла Асим рассказывал ученикам о своем паломничестве к святым местам, о благословенной Турции, о священной Стамбуле, о торжестве суннитства. Он приукрашивал виденное, сознательно приукрашивал, ибо людям нужна легенда, нужно красивое и высокое. Детям же это совершенно необходимо. Мулла Асим хорошо говорил о своем паломничестве, но однажды он подслушал, как про то же самое рассказывает Абдулла. Он не говорил, а пел. Голос у мальчика звонкий, девичий.

Удивительная память у мальчика. Все запомнил, описал пароход, будто сам видел его, и шторм на море, будто сам чуть не утонул в пучине. Особые краски приберег Абдулла для рассказа про то, как пароход солнечным утром входил в порт Стамбул. Самое красочное в рассказе — это Стамбул и Турция. Даже нехорошо вышло, будто не Мекка главное, а Стамбул. Тут мальчика можно было бы поправить, но мулла Асим боялся своим вмешательством испортить впечатление. Пусть поет, как поется.

Какая удивительная восприимчивость ко всему новому, яркому, интересному, возвышенному!

Абдуллу надо показать первым. Если волостным выберут Бектасова — кажется, так оно и случится, — можно будет показать его старшего сына Смаила. Звезд с неба не хватает, но грамотен, учтив, приветлив. Третьим учеником числился Амангельды. Очень много он пропустил зимой, когда мулла Асим выгнал мальчишку за пререка-

ния, но считает сорванец хорошо, читает быстро и отчетливо. Пишет, правда, с ошибками. Его опасно делать козырем: неизвестно, что ему взбредет в голову, все может сказать при почетных гостях. Шальной.

Амангельды мулла Асим не любил. Он бы простил, что родители весьма неаккуратно платили за мальчика. В конце концов не из-за одних денег учит детей. Он не любил Амангельды за дерзкий нрав и ухватки степного разбойника. Когда учитель запретил ему посещать школу, тот заставил остальных ребят пересказывать и показывать все, что говорил им мулла Асим. Силой заставил ребят, угрозой, что изобьет.

Вся семья не нравилась учителю. Неприветливая мать, насмешливый отчим, не нравился и старший брат — Бектепберген.

Все самое худшее, что есть в степняке, видел мулла в маленьком Амангельды. Выше всего мальчик ставил физическую силу и каждую свободную минуту устраивал борьбу, возню, а то и драку. Однако, если оставался один, вдруг грустнел по-взрослому и начинал петь. Удивительное дело — есть люди, которые больше любят петь в одиночестве, чем на людях. Тоже типично киргизская черта.

Многое раздражало учителя в этом ученике. Даже его манера стоять, расправив плечи, манера смотреть чуть мимо собеседника и то, как не торопился мальчик отвечать на вопросы старших. Не потому, что тугодум, а потому, что уверен: его ответа будут ждать.

Пришлые учителя порой поколачивали учеников прямо на занятиях; без длинного прута или палки никакой урок не проходил, но приговаривать к серьезному наказанию решался здесь далеко не каждый. И зря! Амангельды потому и вырос таким наглым, что, как узнал от аульчан мулла Асим, дома его с рождения никто пальцем не тронул.

Однажды Амангельды сказал учителю:

— Вы очень хорошо рассказываете, куда попадет душа праведника и куда попадет душа грешника. И русский мулла говорил про это интересно. Не хуже вас говорил. Он свои молитвы читал, вы свои молитвы читаете. Вы, конечно, красивее читаете... Выходит, у русских есть свой бог, у казахов свой, а почему тогда нет бога для лошадей, быков, баранов? Им ведь тоже плохо приходится. Например, когда из барана хотят сделать бесбармак, а? Ведь он знает...

Или наивность, или наглость. И то и другое пережитки язычества.

Мулла Асим беспокоился, не выкинет ли мальчишка чего-нибудь такого и при почетных гостях.

Калдыбай Бектасов знал, что Зейнеп умерла. Рапо утром ему сообщили об этом из аула Кенжебая. Есть охотники омрачить любой день, есть вестники, которым и суюнши¹ не надо, всю жизнь бы соседям гадости сообщали. Мало кто сомневался в исходе выборов волостного, Калдыбай не сомневался вовсе. Сам начальник уезда накануне беседовал с ним как с будущим волостным. Мудрую вещь предложил Яковлев: избрать Кенжебая судьей. Надо ведь и его чем-то утешить, надо, чтобы не бунтовал, связать должностью. Все сильные люди уезда должны быть связаны с властью и властью связаны. Собственная власть вяжет не хуже, чем чужая.

Мудрости Яков Петрович учился не в России, а в адеших краях.

Вон Кенжебай едет к белой юрте, уже сообщили ему о намерении начальника уезда. Ишь как скачет, воспрял духом, теперь эту подачку как орден носить будет. Калдыбай никогда не хотел ссориться с Кенжебаем. Зачем? Кенжебай весь на ладони. Почему, однако, не зовут в

¹ Суюнши — подарок за доброе известие.

юрту начальника? О чем они там совещаются, когда все решено? Бектасов досадовал на проволочку, а в юрте, поставленной для начальника уезда, статистик Семен Семенович Семикрасов затеял долгий спор. Он говорил:

— Не надо усложнять проблему, господа. Она не так сложна и не так мрачна. Все сравнимо в жизни, все поддается анализу. Благополучие передовых стран тоже имеет свою историю. Неужели вы полагаете, что пастухи, гонявшие стада на холмах Европы каких-нибудь семьсот лет назад, так уж разительно отличались от здешних скотоводов восьмидесятих годов девятнадцатого века? Я говорю именно о скотоводах, например о скотоводах Валлиса и Шотландии. История народов говорит о том, как важен переход к земледелию, важен сдвиг, первый шаг.

— Ну как же их, по-вашему, сдвинуть к этому шагу? — Яковлев медленно одевался к предстоящей церемонии. Он был без мундира, в одной белоснежной рубашке, живот выползал из брюк.

— Как сдвинуть? — Семен Семенович удивился вопросу. — Да мы их и сдвигаем помаленьку. Плохо сдвигаем, жестоко, беспощадно...

— А в Шотландии пощадно сдвигали, жалостливо?

— Нынче другое время. Мы обязаны быть гуманнее, мы обязаны действовать убеждением и примером. И нельзя торопить их, они сами должны понять превосходство оседлой жизни. Поверить и понять!

Яковлев не любил Семикрасова: больно приткий, больно грамотный. Все не по нему, все бы переделал на свой лад. На Запад ссылается. Древних кельтов приплел, шотландцев. Памятью хвастает, а у Яковлева память с малолетства плохая. Если и помнит про шотландцев, так только то, что у них мужчины в юбках ходят. И Алтынсарин сейчас раздражал Яковлева. Не любит спорить. Ни с кем не спорит. Скажет свое и замолчит. Вот и сегодня с самого утра молчит, обиделся. А чего обижаться? Пришел

мулла, брат купца Хабибулина, пригласил посетить школу, нечто вроде торжественного акта устроил. Все дали согласие, а Иван Алексеевич промолчал. После ухода муллы сказал: «Я не возражаю, господа, чтобы вы посетили торжественный акт, я только огорчаюсь, что школы становятся предметом внимания лишь в такие минуты». Сказал свое и молчит, будто остальное его не касается. А статистик все наскакивает, наскакивает.

— Почему, к примеру, вы решили Кенжебая сделать судьей, да еще, как у них именуется, народным судьей? Это же профанация понятия «народ» и «суд». Вы знаете, сами говорили, что он бандит и лихоимец.

Денщик подал Яковлеву мундир, тот было вставил руки в рукава, но вдруг выдернул их и сел на походный стул.

— Господи, как надоели мне попреки ваши! Хоть рга при вас не раскрывай. Что прикажете делать, если судьей по здешним обстоятельствам может быть только бай, а бай — это всегда лихоимец. Туземное судопроизводство на лихоимстве и взяточничестве стоит.

Семикрасов насупился:

— Я вам не верю. Однако, если вы правы, нужно прежде всего искоренить само туземное судопроизводство и заменить его русским.

— Как же это, позвольте? Вы сами проповедуете равноправие киргизов, уважение к ним, к их обычаям и законам, и сами же...

— Лучшее надо сохранить, а плохое уничтожить. Вы же говорили о беззакониях, какие творятся ныне у нас под носом. Бай отобрал у бедняка жену! Ужасно, отвратительно! Потом наконец бай возвращает жену, но та не может перенести всех своих злоключений и умирает на руках у ошастливленного вами несчастного мужа. Бай — это будущий волостной, эту женщину он вернул по вашему приказу, а умерла она сегодня ночью. Мне отец Борис сообщил.

Яковлев встал со стула, денщик опять сунулся с мундиром, но полковник вновь отстранил его. Лицо его выражало презрение.

— Вы сколько здесь живете, в наших краях? Без году неделю! О чем вы думать собираетесь, я давно забыть хотел! Можете мне верить или нет, но я наперед ни от одного своего приказа добра не жду. И про врачей говорят: одно лечат, другое калечат. А про администрацию это в самую точку. Нельзя здесь сразу вводить русское законодательство, особенно в семейных вопросах. Вы рассказали про молодую жену Бектасова и доказываете, что у них нет хороших законов. Вы требуете нашего вмешательства! А разве не мое вмешательство привело эту бабу к смерти... Впрочем, меньше верьте отцу Борису. Меньше всего верьте тем, кто уверен, что знает главную истину. И вы сами, Семен Семенович, тоже вроде знаете истину. Не потому ли вы и приехали к нам, что ваша истина в России не больно-то ко двору, а хотите насаждать то, что самому дома не нравится.

Яковлев надел наконец мундир и отвернулся от статистика. Его любимый Иван Алексеевич был уже застегнут на все пуговицы, но сидел на ковре по-туземному. Тучный, ширококостный, с красным лицом и багровой шеей начальник уезда был полной противоположностью болезненному и бледному инспектору киргизских школ. «Очень уж хлипкий,— подумал про Алтынсарина Яковлев.— Это только сторонний взгляд видит в киргизах одних здоровяков да батыров, а если взглядеться, то сплошь больные. Правда, хлипкие больше дома сидят и мрут скорее».

Алтынсарин и в самом деле чувствовал себя плохо. Утром обнаружил, что ноги отеки. Обычно это бывало к вечеру: нажмешь пальцем у щиколотки — останется вмятина, как в глине. Вечером это обычно. Теперь вот по утрам стало. А еще этот Хабибулин, младший брат кушца. Алтынсарин хорошо знал муллу Асима: худенький,

быстрый, глаза цепкие, смелые. Для него учительство лишь средство к достижению иных целей. Таким честолюбцам школы мало, им не детей нужно учить, а целиком все человечество. Боже, как много ходит по земле честолюбцев! Он долго не понимал этих людей, не понимал, что ими движет, потому что сам был почти лишен этого чувства.

Во все время спора уездного начальника с Семеном Семеновичем Алтынсарин размышлял не о пользе оседлой жизни, не о кельтах-скотоводах, не о преимуществах русского судопроизводства, а о Якове Петровиче Яковлеве. Алтынсарин любил его и за глаза называл «наш дедушка». И еще он думал, что ему повезло начать свою службу письмоводителем под руководством Яковлева, потому что тот был по-стариковски разговорчив, любил подробно и многословно объяснять мотивы своих поступков, хвастался своей прозорливостью, но часто позволял спорить с собой, соглашался менять свои намерения, а порой и уже принятые решения. Говорил только:

— Смотри, Иван Алексеевич! Смотри, если ошибаешься. В честность твою я верю, а что умней меня, сомневаюсь.

Кто уж так сильно уверен, что другой умней его самого, если к тому же этот другой сильно моложе? Алтынсарин никогда не обижался на Яковлева, считал, что ему повезло. Он вообще считал себя очень везучим и сетовал только на здоровье. Здоровье подводило его. Сорок с небольшим, а сердце — как рыба, вытянутая из воды. А тут еще посещение мектеба муллы Асима. Ничего хорошего не ждал он от этого учителя и его школы. Опять будет демонстрировать приверженность детей исламу, опять будет заставлять их бессмысленно читать Коран. Что за страсть такая — навязывать детям то, что от них дальше всего, что противоречит природе детского ума. Год назад Алтынсарин присутствовал на торжественном акте в

Орске, в школе, где правил инспектор Безсонов. В какое позорное и вредное для учеников зрелище вылилось то «торжество», какое бесстыдство продемонстрировали наставники своим питомцам!

Безсонов с гордостью показал копию телеграммы, которую отправил попечителю учебного округа. Там были такие слова: «Присутствующие на торжественном обеде почетные лица города Орска пьют за здоровье его величества государя императора, благодетельствовавшего киргизский народ».

Как это сказано у Пушкина? «Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства». Ну да ладно, «почетные лица» пусть пьют что хотят и за кого хотят! Однако господин Безсонов и детей принуждает раболепно кривить душой. Ученики этой школы Сарыбатыров и Токмухаммедов с голоса своих наставников сочинили вирши «На священное коронование их императорских величеств».

Радуемся и веселимся мы сегодня:
Сегодня день, когда царь возложил на себя
корону!

В усердной молитве будем мы просить бога...

И в таком духе — полсотни строк. Пел эту оду один из сочинителей — Исмаил Токмухаммедов, от усердия закатывал глаза и потел от страха, что забудет текст. Точно сказано у Щедрина в «Господах ташкентцах» о безазбучных просветителях и беззащитности человека, питающегося абстрактной лебедой. «Он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи».

В юрту не вошел, а влетел отец Борис. Его конопатое лицо сияло, рыса развевалась, рыжие кудри спутались.

— Погода, господа, расчудесная, праздничная! Я скакал на лошади и чувствовал себя печенегом или полов-

ном. Ветер, солнышко яркое, небо — чистая лазурь... А киргизы меж тем совсем извелись в нетерпении, боятся, как бы не перерешили. Я уж их успокаивал, про вас говорил, Яков Петрович. Очень я за Кенжебая рад и уверен, что он вершить дела будет по совести. Кенжебай нас с вами не подведет!

Яковлев глянул на статистика и ничего не ответил миссионеру.

— Пора. И в самом деле заждались нас. Выходим из юрты по ранжиру: первым я, вторым Иван Алексеевич, потом отец Борис, а Семен Семеныч — завершающий. Киргизов не надо приучать к субординации, они сами не любят, когда ее нарушают.

Они вышли из юрты и увидели, что на склоне холма уже собрались все. Стояли двумя группами. Бóльшая группа была за Бектасовым, чуть меньшая — за Байсакаловым.

Асим Хабибулин не хотел обострять отношения с русским миссионером, да и Алтынсарин тоже не любил религиозного уклона в преподавании. Мулла начал с арифметики.

Абдулла и Амангельды лихо считали в уме, складывали, вычитали, делили и умножали. Потом Смаил читал букварь, потом гости стали задавать ученикам вопросы.

— Кем ты хочешь стать, мальчик? — спросил Алтынсарин Абдуллу.

— Я хочу стать учителем, как мулла Асим или как вы.

— А почему ты хочешь стать учителем?

— Потому что наш народ страдает без образованных людей и никак не может найти путь к истине.

Правильные ответы, четкие, разумные, так и должен думать хороший ученик, но Алтынсарину что-то в них не нравилось.

— А ты знаешь какие-нибудь народные песни, дастаны, истории? Что ты любишь больше всего?

— Я люблю историю, как наш досточтимый учитель мулла Асим совершил хадж в Мекку...

Абдулла глянул в сторону муллы, спрашивая разрешения исполнить это свое произведение. Мулла отрицательно помотал головой.

Никто, однако, и не собирался слушать эту историю, Яковлев обратился к Смаилу.

— А ты, молодец, кем хочешь стать?

Мальчик стоял потупя взгляд.

— Ну? Не бойся. Небось хочешь стать волостным, как твой отец?

— Д-да,— выдавил мальчик.— Хочу...— потом глянул на Яковлева и закончил: — Я хочу стать не волостным, как мой отец, я хочу стать не уездным, как вы, я хочу стать губернатором, чтобы все уездные и волостные мне подчинялись.

Гости снисходительно заулыбались, а Ибрай порадовался непосредственности, с какой сын волостного излагал свою мечту. Очень важно, чтобы дети за время обучения не теряли непосредственности, не стыдились бы говорить, что думают, уважали бы себя.

По субординации, которую Яковлев чтит и соблюдал, следующим задавал вопросы отец Борис. Тут-то и вылезло то, что не выпячивал мулла Асим. Дети были начинканы самыми различными легендами из Корана, знали наизусть множество молитв, а Абдулла сказал, что, когда вырастет и соберет денег, обязательно совершит паломничество в благословенную Турцию и святую Мекку.

Даже младшие дети в школе муллы Асима, те, что и читать еще не умели, про бога могли рассказать очень много.

Отец Борис торжествующе поглядывал на Яковлева и Алтынсарина. Ведь он говорил, что мектебы вообще

нужно позакрывать, а учителей-мусульман сослать в Сибирь. Пусть лучше киргизята век будут неграмотными, чем с малолетства засорять их души богопротивным учением Мухаммеда. И Яковлев, и Алтынсарин уверяли, что закрывать мектебы нельзя, что пока это единственный путь к массовому просвещению, а вот проповедническую деятельность и в самом деле следует как-то контролировать.

Пустой разговор! Лучше вовсе закрыть мектебы!

Амангельды безучастно сидел в сторонке. Он чувствовал, что приезжее начальство занято своими делами, не зря господу переглядываются между собой, не зря горячатся. Этот рыжий горячится больше других, его синие глаза стали холодными, как вода.

Священник заметил взгляд Амангельды, ткнул его пальцем:

— А ты, мальчик? Скажи-ка нам, кем хочешь стать: учителем, муллой, волостным или губернатором?

— Я хочу стать батыром... или баксы.

— Кем? — переспросил Яков Петрович.

— Батыром хочу быть. Если не смогу стать батыром, стану баксы. Я уже умею играть на кобызе и могу стегать себя камчой до синих полос.

Видно, не только для гостей и учителя, но и для учеников это было новостью. Все уставились на мальчика, он снял рубаху и показал плечи. Они были в синих полосах.

Первым нашелся Алтынсарин:

— Какой странный выбор ты сделал, сынок. Почему — или батыром или баксы?

Мальчик стоял, расправив широкую грудь. Рубашку он держал в руках.

— Больше всего хочу стать батыром, чтобы я мог защитить любого, как Срым Датов, как Исатай Тайманов! Если не смогу стать батыром, тогда стану баксы.

— Батыром каждый мальчик хочет стать, это понятно, — продолжал Алтынсарин. — Но почему ты хочешь стать баксы?

Мальчик твердо знал ответ, он сам его нашел, без подсказки:

— А вы видели когда-нибудь баксы Суйменбая? Не видели? Очень жалко, что не видели. Он в начале зимы исцелял жену нашего Бейшары. Очень хорошо исцелял!

— Но ведь она умерла, — сказал отец Борис. — Она же умерла. Он ее не исцелил.

— Все равно! — Амангельды знал, что говорил. — Баксы Суйменбай себя не жалел, чтобы она выздоровела. Он до крови стегал себя, он руки себе грыз, он бездыханный упал, и пена у него пошла. Я никогда еще не видел, как один человек может умирать за другого. Это мало кто может!

Мулла Асим иронически хмыкнул и подмигнул Алтынсарину. Вот, мол, плоды извечного степного язычества. Не стесняясь людей, мальчишка несет ахипею про полубезумного шамана, а мы, взрослые люди, должны слушать это. Сильно здесь язычество, велика дикость, а все потому, что местные жители хотят, чтобы было чудо и чтобы вершилось оно прямо на их глазах, якобы без обмана.

Мулла Асим подмигивал Алтынсарину, но тот не глядел на муллу.

— Ты будешь батыром, мальчик! — сказал Алтынсарин. — Ты будешь хорошим батыром, ибо только тот станет батыром, кто готов умереть за другого. За слабого. Сам себя не бей, сынок, это глупо, это самообман. Жизнь всегда сильнее бьет, больнее. И баксы это знает.

Три одинаковые книжки подарил Алтынсарин мальчикам, всем трем пожелал счастья и велел приходить к нему, если понадобится помощь в продолжении образования. Никого из трех инспектор не хотел выделить осо-

бо, но само собой получилось, что больше других смотрел на Амангельды. И когда уезжали, Алтынсарин, обернувшись в последний раз, увидел, что мальчик не смотрит вслед гостям, как другие, а сидит на земле.

Амангельды читал. Стихотворение называлось «Письмо Балгожи к сыну», но мальчику казалось, будто Алтынсарин пишет именно ему:

Свет очей моих! Сын мой! Надежда моя!
Я пишу тебе, мыслей своих не тая.
На здоровье не жалуясь, мать и отец
Шлют привет, окрыленный биеньем сердец.
Ты, наверно, скучаешь и рвешься домой...
Поприлежней учись, грусть пройдет стороною.
Станешь грамотным — будешь опорой нам,
Нам, к закату идущим седым старикам.
Если неучем ты возвратишься в свой дом,
Упрекать себя с горечью будешь потом.
Милый! Если б с нами ты дни проводил...
Чтоб ты делал? Какими б стремленьями жил?
Ваяв курук¹, по степи ты б носился верхом.
Ничего б не достиг здесь, в ауле глухом.

Глава четвертая

Балкы давно понял, что поправить дела, оставаясь рядом с Кенжебаем, плетясь вслед за его табуном, невозможно. Он говорил Калампыр:

— Не такие мы люди, не такие у нас предки, чтобы идти чужой дорогой. Пусть тропинка, пусть маленькая тропочка, но своя! У бая по-другому: в ожидании плохого года он корма впрок заготовит, работников наймет; тебенюют² байские табуны в лучших местах, нас туда близко не подпускают.

Калампыр прибиралась в юрте.

¹ Курук — палка с петлей на конце.

² Тебеневать — пастись зимой на подножном корму.

— Не первый раз слышу про это,— сказала она мужу.— И пословица есть: пока жирный похудеет, тощий сдохнет. Я согласна.

«Я согласна». Значит, полный риска новый для здешних кочевников путь можно начинать, не боясь, что жена попрекнет нехватками, голодом, будет завистливо вздыхать у чужого казана, жалостливо плакать у своего.

Тургайская степь издавна славилась охотниками. В кипчацком роду Имановых тоже были свои знатоки и любители, но никогда прежде охота не имела здесь того промыслового значения, как теперь. Каждый год на ярмарках в Иргизе и в Тургае собирались покупатели шкурок, пера и пуха. Купец Анвар Хабибулин сам разъезжал по степи, рассылал приказчиков и скупал товар по ценам, которые вначале казались баснословными. За пару хороших сайгачьих рогов Хабибулин платил рубль, а иногда и полтора. Никогда прежде так много не платили. Между тем люди знающие говорили, что сам Хабибулин те же рога продает по четыре и даже по пять рублей. За сотню горностаевых шкурок у скупщиков можно было получить ту же заветную пятерку, за сотню хорьковых — три-четыре, даже сурок и тот шел нынче по полтора-два рубля за сотню.

Все это неоднократно подсчитывал в уме суровый и многодетный Балкы, когда начинал новую жизнь. Первые шаги в сторону от тропы Кенжебая он сделал тогда, когда вдруг решительно занялся рыболовством. Балкы принялся за дело всерьез и не обращал внимания на насмешки. Ведь еще недавно этим непривычным промыслом добывали себе хлеб только пришлые люди, уральские и оренбургские казаки. Балкы сам занялся рыболовством и всю семью к этому определил. Бектепберген, Амангельды, Амантай и даже маленький еще Есентай ставили ловушки, ежедневно проверяли их, ловили небольшими сетями, а потом рыбу солили, вялили.

Смеялись пад Балкы недолго. Чего смеяться, если вон сколько рыбы сушится на вешалах. Хорошая рыба, даже на базар в Батнаккару он ее возит.

Однажды Балкы уехал в Орск, где бывал в молодости, где учился когда-то кузнечному делу. Вернулся он довольный. К седлу был приторочен длинный какой-то предмет, обернутый кошмой. В юрте Балкы развернул кошму, там оказалось огромное ружье с тяжелым и длинным шестигранным дулом, с гладко отполированным потемневшим березовым ложем.

— Это ружье делал один кузнец в Байконуре, когда ни меня, ни Удербая не было на свете,— сказал Балкы.— Пусть наш Бекет — так Балкы называл Бектепбергена — станет таким же искусным кузнецом и научится делать такие же ружья. Я уже договорился, чтобы взяли его в подмастерья. Пусть Амангельды научится стрелять из этого ружья, как стрелял его отец Удербай.

Вид у Балкы был значительный и важный. Ружье, как оказалось, было семейной реликвией. Оно принадлежало деду, но в трудную пору пришлось его продать, а теперь вот удалось выкупить. Не совсем оно вернулось, а с условием, под честное слово, чтобы половину всей годовой дичи получил нынешний хозяин в уплату за ружье, за порох, дробь и свинец.

В тот день возле древнего ружья и определились судьбы старших детей. Бектепберген пошел в кузнецы, Амангельды — в охотники.

Великое это искусство — охота, и нет предела совершенству в нем. Все было интересно Амангельды, все перепробовал. По характеру он был азартен и настойчив. Это ли не главные качества для охотника? Потом выяснилось, что у него острый глаз и твердая рука. Вместе с ружьем он таскал деревянную подпорку, в развилку которой клал дуло. В первый раз отдача чуть не выбила плечо, но дядя Балкы объяснил, что прижимать приклад

надо из всех сил. Охота — удовольствие лишь для того, кто сыт и не думает о хлебе насущном. Другое дело, если охота не развлечение, не забава, не игра, а работа, такая же, как чабанство или землепашество. Ханы и султаны искони охотились с ловчими птицами. Красивая охота, благородная, но семью нынче не прокормишь ею. С ловчими птицами ни дядя Балкы, ни Бектепберген, ни Амангельды не охотились. Один год, правда, Балкы затеял ловить самих ловчих птиц, это было еще до возвращения ружья и дохода не принесло.хлопотное дело, хотя забавное.

На открытом месте, где кустарники и высокая трава, растягивают на колышках рыболовную сеть, а под нее пускают на бечевке куропатку, куличка либо уточку. Пасется бедная жертва на веревочке и не знает, что она вроде червяка на крючке. Важно, чтобы охотник не показывался, не суеился возле, а терпеливо ждал, когда появится в небе ястреб, сокол или кречет. Быстро тогда все делается: только что хищник был маленькой точкой в небе, но вот уже камнем летит вниз, у самой только земли слегка уточняет направление парения. Не уследишь — и наживка мертва, рвет сокол или ястреб свою жертву, а сам уж запутался в сети, и дальше вся жизнь его будет не жизнь, а жестокая мука...

Амангельды не жалел ловчих птиц. И куропатов с куличками не жалел. Такая жизнь вокруг, такой закон. Разве у людей иначе? Но людей почему-то было жалко, иногда до слез. Так, например, жалел Амангельды Бейшару-Кудайбергена; думалось мальчику, что в живой природе почти каждый кого-то обижает, каждый не только жертва, но и палач, Бейшару, однако, каждый может обидеть, а он один — никого.

Нет, ловчих птиц не жалко. Только в песнях о них красиво поется, а так — просто наемные убийцы. У богатых баев всегда есть джигиты, которые за похлебку

готовы убить кого угодно. Кенжебай как-то сказал Амангельды, когда тот возвращался с охоты:

— Из тебя хороший джигит выйдет. Будешь когда-нибудь возле моего седла скакать. С правой стороны.

Кенжебай думал, что похвалил мальчишку, но Амангельды так не думал. Он знал, как живут джигиты, скачущие у седла хозяина, и дядя Балкы часто сравнивал их с ловчими соколами, объяснял, как приручают тех и других. Разница не слишком велика.

Сокола, например, приучают есть из рук одного хозяина, и притом пищу дают плохую, мясо нарочно в горящей воде вымачивают, чтобы живой вкус потеряло и на вид стало белое. Но и этого безвкусного мяса дают все меньше и меньше, чтобы сокол оголодал до безумия и готов был бы растерзать кого угодно. Потом сокола пробуют в полете... О, этот кусочек свежего мозга жертвы, крохотный кусочек, который только распаляет голод наемного убийцы, но никогда не утоляет его. Удивляло Амангельды, как быстро приручаются соколы, как легко смиряются со своей долей. Почему зовут сокола гордой птицей, чем он славней собаки?

Собак Амангельды любил и понимал. Собака — друг, а на охоте — лучше друга. Года два назад двоюродный брат Кушумбек подарил Амангельды щенка. В ту весну он был слаб, привязчив и бестолков, но Амангельды неизменно брал его с собой в степь, терпеливо приучал к сворке, к команде, охотился на тушканчиков, сурков и мышей, а по первой пороше пустил за зайцем.

Дядя Балкы был доволен: ружье не пропадало без дела. На первую добычу прикупили еще свинца и пороха, а мальчик не знал усталости в поисках всяческой степной дичи. Хороший помощник рос в семье: не только азартный охотник, но и бережливый промысловик, который каждую шкурку снимал осторожно, сушил по правилам и не спешил сбывать товар случайным перекупщикам, со-

вавшим восьмунку снитого чая или полфунта сахару за большую рыжую лису.

— Надо самому Хабибулину продать. Он больше заплатит,— говорил Амангельды.

Случая для встречи с купцом не предоставлялось долго, и Амангельды попросил дядю Балку взять его с собой в Тургай.

— Я лучше, чем вы, могу продать товар. Вы дешево отдадите, а я копейки не уступлю.

Был уговор, что деньги, которые мальчик выручит за пушину, он отложит для покупки коня. Дядя Балка никогда не менял решений, а по дороге в Тургай еще раз сказал:

— Ты хороший помощник в семье, ты настоящий джигит, и лошадь тебе нужна. Только помни, что джигитов в степи больше, чем купцов в городе. Это что-нибудь да значит.

На счастье Анвар Хабибулин в те дни был в Тургае, и Амангельды, подъехав к большому сараю, где велась основная торговля, втащил под длинный навес два туго набитых мешка.

Бледный человек в черной тюбетейке, который сидел на ящике и показался Амангельды самим купцом, лениво поглядел на мальчика, кивнул в ответ на вежливое приветствие и спросил:

— Отец скоро придет?

— Отец не придет. Я продаю,— ответил мальчик.— Вы хозяин?

Человек в тюбетейке отрицательно покачал головой.

— Хозяин отдыхает, я за него. Что привез, показывай.

Он знал дело, этот бледный, узколицый приказчик. Шкурки не задерживались у него в руках, а летели каждая в свою кучку. Любой изъян он видел сразу и только глазами показывал мальчику на него.

Амангельды слегка оробел и мысленно сбавил цену,

которую надеялся выручить за добытое. Хотел выручить рублей семь, но, видимо, больше пятерки тут не получишь.

— Два рубля, — вяло сказал бледный. — Молодец, если сам все добыл. Из тебя охотник выйдет.

— Десять рублей, — сказал Амангельды. Он заранее решил торговаться от этой суммы, и цена, которую называл приказчик, не обескуражила его. — Дешевле не отдам. Десять!

Бледный приказчик исподлобья глянул на мальчика. Таких молодых промысловиков он еще не видывал. Таких молодых и таких наглых.

— Я так считаю, — сказал Амангельды. — Три рубля за сотню хорьковых шкур, пять — за горностаев. А еще у меня корсачьи шкурки есть.

Приказчик махнул рукой и сел на ящик.

— За такие деньги их в Париже продают.

— Где? — спросил мальчик.

— В Париже. Поезжай в Париж. Это близко.

Амангельды понял, что приказчик над ним смеется. Париж, наверно, еще дальше, чем Оренбург.

— Хозяин где?

— Спит.

— Пусть хозяин придет, — сказал Амангельды. — Я из Кайдаульской волости приехал. Это тоже далеко.

— Из-за двух рублей хозяина будить не буду, — сказал приказчик. — Хочешь — жди, когда он проснется.

Амангельды ничего не сказал, молча уселся рядом со своим товаром. Прошло минут десять.

— А может, он проснулся? — спросил мальчик.

Приказчик молча встал и пошел в сарай.

Анвар Хабибулин и не спал вовсе. Весь торг он слышал и понимал, что мальчик упрям и приказчику не уступит. Два рубля — это, конечно, не цена. Только мальчику и можно так сказать. На самом деле цены все рас-

тут, и десятку за мех вполне можно выкинуть. Октябрем полсотни в Самаре дадут.

Хабибулин подмигнул приказчику, дружески хлопнул его по плечу и вышел под навес.

Купец Анвар Хабибулин не походил на своего младшего брата муллу Асима. Купец был плотен, круглолиц и крепок. Одевался он по последней казанской моде, на пальцах носил толстые золотые перстни, часы в жилетке были на золотой цепочке с брелоком-медалью.

— Здравствуй, батыр! — Хабибулин вышел к мальчику, благодушно улыбаясь. — Небось первая добыча в жизни, потому и упорствуешь глупо. Показывай, что у тебя хорошего...

Глаз у Хабибулина острый, сердце жесткое. С купцом из столицы, с оптовым продавцом мануфактуры или со скупщиком кишок из Самары Хабибулин торговался точно так же, как с полуголодным и полураздетым кочевником. И с мальчиком по имени Амангельды, продававшим ему шкурки хорьков и горностаев, Анвар торговался так же, а может, еще упорнее.

Порешили на четырех рублях. Амангельды получил вдвое больше того, что предлагал приказчик, и на рубль меньше, чем хотел сам. Другой бы остался доволен такой сделкой — Амангельды ушел сердитым. И дядя Балкы не смог утешить его.

— Меня злит, почему торгаш сильней джигита оказывается, — говорил мальчик. — Жирный торгаш с жирной мордой и брюхом, набитым навозом, никого не боится. Бога не боится, людей не боится.

Тургайские интеллигенты в доме уездного начальника обсуждали не местные новости, которые, как правило, были однообразны и скучны, а события вселенские, далекие, могущие дать простор фантазии. Впрочем,

1885 год ничем истинно великим в историю не вошел.

Ирина Яковлевна не без удивления отмечала, что сегодня ее гости не столь оживлены, как обычно. Отсутствие на чаепитии ротмистра Новожилкина могло бы, кажется, способствовать большей свободе высказываний и дискуссий. По указанию Яковлева ротмистр расследовал новую и очень крупную кражу скота, в которой были замешаны два известных в уезде бая. Говорили, что не обошлось без кровопролития, а один из табунщиков, погнавшийся вслед за ворами, бесследно исчез.

На этом событии разговор не удержался, а сполз на обсуждение конфликта с Афганистаном и Англией, возле Кушки. Семен Семенович Семикрасов начал было рассуждать о неразрешимости хищнических противоречий, но тут-то и появился Новожилкин.

Ротмистр, видимо, недавно приехал из степи, но успел умыться и переодеться.

Семикрасов оборвал себя на полуслове и весьма некстати принялся рассказывать анекдот из жизни выкредов:

— Жили-были два друга, бедные еврейские портняжки. Так вот, однажды один говорит другому: знаешь, я решил креститься. Пошли в город. Один вошел в церковь, другой остался на улице. Вдруг...

Ирина Яковлевна знала, что Семикрасов не антисемит, но анекдот не нравился ей.

— Семен Семенович, побойтесь бога! Вы можете сколько угодно смеяться над религией, но не над ее жертвами, тем более сейчас, когда собираются крестить Бейшару.— Ирина Яковлевна говорила с улыбкой, но строго, как подобает хозяйке дома.— Я убеждена, что мотивы, по которым человек меняет веру или убеждения, всегда глубоки и трагичны.

Яков Петрович сердито стукнул пустой чашкой о блюде.

— А кто будут крестными? — спросил Семен Семенович. — Ведь какая-то моральная ответственность все же ложится.

— Отец Борис нашел очень милых людей, — сказала хозяйка. — Это наша акушерка Марья Степановна и новый учитель из Казани.

О крещении Бейшары Амангельды узнал в тот день, когда, продав Хабибулину свою охотничью добычу, назо купцу-татарину подарки для родни отправился покупать у русского купца Шишкова. У Шишкова ему это и сказали. Со злорадством, с насмешкой. Вот, мол, ваши киргизы веру свою продают за бесценок, как ты свои шкурки продал татарину. Обидней всего, что и про это они знали.

Амангельды давно слышал, что Кудайберген поддается русскому попу, что тот его подкармливает, возит с собой, собирается крестить. Мать и дядя Балкы говорили об этом мало, детям совсем почти ничего не объясняли. Калампыр вздыхала и во всем винила двух баев — Калдыбая, отобравшего у Бейшары жену, и Кенжебая, привадившего рыжего русского муллу.

Крещение киргиза было весьма заметным событием в жизни тургайских обывателей, но среди сородичей Бейшары это было сенсацией. Может быть, напрасно Кусякин держал в тайне самый день обращения, может быть, напрасно опасался покушения со стороны фанатиков, но тут подходила пословица: береженого бог бережет.

Возле церкви на площади стояло не более десяти иноверцев. Отец Борис окинул их осторожным взглядом и успокоился. Даже киргизы, живущие в самом Тургае и, бесспорно, узнавшие о сегодняшнем крещении, не решились стать свидетелями события. Среди любопытствующих было несколько татар-приказчиков, один старый бухарский еврей и только двое степняков: высокий мужчи-

на с мальчиком, которого Кусякин сразу узнал. Это был тот, что собирался идти в батыры или в шаманы, чтобы научиться страдать за других, тот, что когда-то брал леденцы для младшего братишки.

— Заходи, батыр,— сказал Кусякин.— Не бойся.

— Я не боюсь,— ответил мальчик и отступил назад. Бойтся, подумал миссионер. Как не бояться?

В ауле много говорили о том, что грозит отступнику от веры предков, больше всего на эту тему рассуждали дети. Кенжебай сказал как-то, что крестят русские свиной кровью и часто крещеный тут же превращается в кабана и начинает хрюкать. Иногда превращение затягивается на несколько лет, итог же всегда один. Говорили еще, что отступник умрет сразу после того, как его окрестят, говорили, что он сойдет с ума, что его поглотит земля, что над ним рухнет кровля. Амангельды стоял так, чтобы не зацепило обломками высокого купола.

Отец Борис обратился к присутствующим с призывом возвести очи к господу, мысленно прося его, чтобы он удостоил приходящего ныне к нему святого крещения и вступления в новое благодатное царство.

Долговязый киргиз в русском кафтане с чужого плеча стоял возле купели со свечой в руке. Свеча дрожала, неправильной формы голова на длинной шее была совершенно неподвижной и казалась мертвой.

Дьякон Прокофьев молитвы читал зычно, а киргиз дрожал мелкой, всем заметной дрожью. Он явно не понимал того, что происходит с ним и вокруг него, а если и понимал, то хотел надеяться, что это сон. Семен Семенович готов был поклясться, что губы «крещающегося» беззвучно произносят имя Аллаха.

Семикрасов не ошибался: Бейшара-Кудайберген именно это слово шептал во все время литургии обращения.

Именно это слово, которое он ни в коем случае не должен был отныне никогда произносить.

Отец Борис Кусякин не видел и не понимал того, что происходило с Бейшарой. Это была первая победа миссионера, и он упивался ею.

— Отрицаешился сатаны и всех дел его? — вопрошал священник.

Бейшара молчал. Внутри было пусто и страшно.

— Отрицаешился сатаны и всех дел его? — повторил Кусякин.

Бейшара молчал, за него ответил дьякон.

— Отрицается! — он ткнул несчастного, тот кивнул головой.

— Сочетаваешился Христу?

Бейшара закивал изо всех сил, вспомнил, как наставлял его миссионер особенно внимательным быть именно при этих вопросах. Бейшара точно помнил, что надо соглашаться со священником, но слова, которые учил целое лето, вылетели из головы. В церкви стало очень тихо.

— Сочетаваешился Христу?

— Сочетавается! — вздохнул дьякон. — Сочетавается.

У всех присутствующих отлегло. Не хватало только, чтобы все сорвалось сегодня и пришлось видеть это в другой раз с самого начала. Слишком тягостно.

Слова молитвы Бейшара кое-как пробормотал сам, почти без подсказки, но крайне невнятно. Ему казалось, что ужас этого действия длится бесконечно, может быть месяц или год. Он успел вспомнить всю свою жизнь, родителей, даже дедушку и бабушку. Он вспомнил то далекое время, когда его родители были не беднее, чем родители Кенжебая, может быть и побогаче. Тогда все говорили, что Кенжебай и Кудайберген — братья, двоюродные братья, близкие родственники. А теперь и Кенжебай забыл про родство. Сам первый забыл. Теперь он, наверно,





на охоту поехал. Он любит осеннюю охоту, он в охоте счастливый. А может, Кенжебай сидит сейчас с двумя своими женами и младшая поет ему песню. Сам вот не стал креститься, зачем ему жизнью рисковать? Нет, он Бейшару подсунул... Страх выжигал душу Кудайбергена, и он вспомнил про леденцы, которые раздавал отец Борис детям и которые ни в коем случае не стоило есть. Любопытство его сгубило, да уж не воротишь содеянного.

О, эти проклятые сладкие ледышки, эта сладкая отрава, сладкая смерть. Абдулла мне отдал свою ледышку. Как сейчас помню — Абдулла. Он ведь и сам ел. Многие дети ели и, наверное, больше ели, чем Бейшара. Наверняка — больше! Амангельды штук пять съел. Почему же не дети первыми отказываются от законов, обычаев и веры отцов и дедов? Почему не они? Внутри все разрывалось от страха, от жалости к себе, от невозможности установить хоть какую-нибудь крошечную справедливость.

После принятия святых тайн и заамвонной молитвы священник сказал поучение.

Отец Борис ликовал. За такой ничтожный срок такая удача. Из самого сердца степеней выхватил кочевника и обратил в истинную веру. Оценят это в Оренбурге и в Казани. Жаль, нету здесь Ибрагима Алтынсарина. Конечно, в церковь он мог бы и не прийти, но укор получил бы значительный. Как же так? Инспектор школ, чиновник, а от магометанства не хочет отрекаться. Ничего, ничего! Время свое возьмет. Будет Бейшара-Кудайберген первой ласточкой. И еще думал миссионер о мальчишке, который стоял возле церкви. Войдет и он когда-нибудь.

— Новопосвященный, — продолжал миссионер. — В святом крещении ты получил вместо неблагозвучного варварского имени Кудайберген и вместо унижающей человеческое достоинство клички Бейшара новое благозвучное имя Николай. Отныне, сын мой, будешь ты носить фамилию Пионеров. Пионер по-иностранному

означает первый. Твоя духовная радость, Николай, должна быть безмерна, высока и чиста, потому что в воде крещения ты таинственно умер уже для греха и возродился в новую духовную жизнь во Христе. Отец небесный с любовью принимает тебя...

Теперь у Бейшары стали трястись колени. Сначала только подрагивали слегка, потом стали дрожать чаще, чаще, но мелко и незаметно. Постепенно дрожь усиливалась.

Наконец, почтенный пастырь указал на обязанности, которые новое звание налагает на Бейшару, и попросил его запомнить этот светлый и радостный день.

Потом Бейшару поздравляли.

Семикрасов вывел дочь уездного начальника на паперть и склонился к ее уху:

— Так вот, вы мне давеча не дали закончить анекдот. А он весьма кстати. Значит, мы остановились на том, что один вошел в церковь, а другой ждет его на улице, долго ждет, очень долго. Вдруг...

— Ах, Семен Семенович! Как вы можете? Для вас нет ничего святого. Я тоже не верю в бородатого боженьку, который с небес взирает на наши безобразия и ведет опись грехам. Я тоже, как и вы, не волнуюсь, когда слушаю молитвы. Но ведь есть сердце, есть жалость! Вы видели, как страдал этот жуткий киргиз? Какой страх был в его глазах? Вы видели, как он содрогался. У меня до сих пор дрожат ноги — от него передалось!

Семикрасов смутился и подумал, что незамужние женщины слишком чувствительны и страдают от необузданной фантазии. Ничего страшного он не увидел. Обычная комедия, какую все нынче играют дома, на службе, в церкви. Комедия, требующая постного выражения лица. Комедия — жанр низкий, комедии случаются с людьми мелкими. Трагедия — жанр высокий. Не со всяким может быть трагедия. Всего этого Семикрасов,

естественно, не сказал Ирине Яковлевне, она бы не поняла.

— Вы правы, вы абсолютно правы!

Они стояли недалеко от церкви и ждали Якова Петровича, который посреди площади распекал ротмистра Новожилкина. Яковлев был недоволен ходом расследования по делу о краже лошадей и верблюдов из соседнего уезда, не верил свидетельским показаниям волостного и судьи. Он и ротмистру не верил; ему казалось, что жандарм хитрит, мог и бакшиш взять.

Последними из церкви вышли отец Борис, дьякон, Бейшара и его крестный. Дьякон долго прилаживал большой замок к плохо затворяющимся створкам дверей. Бейшара понуро стоял рядом и не глядел по сторонам. Отец Кусякин подошел к Ирине Яковлевне и Семикрасову. Он решил, что ждут именно его, стал извиняться:

— Ведь это мой первенец! Я о нем хорошо позаботился. Можно сказать, обеспечил ему отличную будущность, устроил сторожем новой волостной школы. Видели того господина в сюртуке? Это новый учитель, господин Божебин Юрий Иванович, очень хорошо рекомендован. Проштатанне дает власть.

Дьякон Прокофьев по-местному не знал ни слова и учиться здешней тарабарщине не собирался. Двух постояльцев послал дьякону господь в эти дни. Одного он принял с радостью, ибо человек из России в здешней дикости всегда подарок. Другого постояльца дьякон принял по долгу христианскому и приказу отца Бориса. Киргизам дьякон брезгал, и святое крещение ничего в этом его отношении не меняло. Хорошо, что киргиз, когда его два дня назад привезли, сам полез спать на сеновал.

Жена Прокофьева, как и он, хмурая, молчаливая, на летней кухне налила Бейшаре миску горячих свежих

щей с большим куском баранины, а все остальное унесла в дом, где сели ужинать дьякон с учителем.

Хозяин налил себе стакан водки, потом наполнил другой стакан и подвинул гостю. Тот отрицательно покачал головой.

— Неужто опять не будете?

— Благодарствую, не буду. Не потребляю. И уже давно.

— Как давно?

— Давно.

— А прежде потребляли?

— Ни-ког-да.

— Ну а в честь праздника? Ведь мы басурмана окрестили. Это у нас впервой.

— Не приемлет душа,— застенчиво улыбнулся учитель.— Вы уж сами. А то пойдите с новокрещеным выпейте. Ему в самый раз теперь.

— И то правда! — обрадовался дьякон. Он взял два стакана и пошел на летнюю кухню.

Бейшара, ныне Николай Пионеров, расстегнув кафтан, доедал щи. Сначала, когда только сел за неструганый стол, есть не хотелось совсем, но после первых двух ложек, которые он проглотил через силу, в нем проснулся аппетит и воспоминание о том, что он не ел целых два дня.

— Выпей, раб божий Николай! — сказал дьякон, ставя стакан возле пустой глиняной миски.— Чего уставился? Я говорю, выпей. Раньше тебе твоя религия запрещала, ты не мог. А теперь нет запрета.

Дьякон дружески подмигнул Бейшаре. Он все-таки не верил, что здешние жители и вправду не понимают русского языка. Что тут понимать? Притворяются, что не понимают. Не хотят.

В другое время Бейшара сразу бы понял, что ему предлагают выпить. Он слышал, что русские часто и мно-

го пьют водку и других угощают охотно. Баи, когда в гостях у русских, обязательно напиваются. В другое время он вспомнил бы про это и понял, чего от него хотят, но сегодня было слишком много непонятного. Он уже и не надеялся понять что-либо еще.

— Пей, раб божий Николай! Не притворяйся, что не понимаешь.

Дьякон двинул стакан ближе к Бейшаре, водка плеснулась.

— Пей!

Бейшара поглядел на дьякона, увидел, что у того в руках точно такой же стакан, и взялся за свой.

— Молодец! Понял, собака, чего надо! — от души обрадовался дьякон. Он чокнулся с новообращенным, высоко задрал голову и выпил, показав, как это легко.

— Валяй, брат!

Бейшара тоже высоко задрал голову и так же вылил себе в рот водку. Он не поперхнулся даже, только обожгло в горле и стало горячо в животе.

— Хорошо! — спросил дьякон радостно. — Я же говорил, что хорошо!

Бейшара боялся, что внутри у него будет еще горячее, чем сейчас, и что он может сгореть. Ведь есть же Аллах, и должен он наказать его.

— Хорошо? — домогался ответа дьякон. — Хорошо?

Дьякон вдруг вспомнил здешнее слово:

— Жаксы? Хорошо?

— Жаксы, — сказал Николай Пионеров. Внутри становилось все горячее, кажется, это был живой огонь.

Дьякон радостно вернулся в дом, стал закусывать и разговаривать со своим русским гостем. Тут было легко. Он опять предложил учителю выпить, но Божебин опять отказался.

— Батюшка мой был запойный, — сказал учитель. —

Он мне завещал: не пей, мол, Юрка. Никогда в рот не бери. Я ему слово дал.

— Из каких будете? — спросил дьякон.

— Из таких, как вы, — ответил учитель. — Учился в семинарии, но курса кончить не удалось. Нищета одолевала. Мать у меня хворала сильно, а отец уж помер. Я сначала тоже хотел в дьяконы, но с женитьбой не повезло. Пошел учителем в русско-татарскую школу... Трудно с ними.

— Известное дело. С басурманами трудно. С православными и то трудно. Сами с каких мест? — спросил дьякон.

— Симбирские, — ответил Божебин.

— А мы астраханские. — Хозяин опять налил по стакану, но гость опять отказался.

— Не губите мою душу. Я зарок дал. — Божебин смотрел умоляюще. Дьякон взял оба стакана и опять пошел на летнюю кухню.

Николай Пионеров лежал на земляном полу под столом и похрапывал. Лицо у него было зеленое, рот полукрыт.

Бейшара хорошо знал дорогу и ехал первым, Юрий Иванович Божебин поспевал следом. На лошади он сидел плохо, нескладно и вначале стеснялся этого.

Они сдружились, учитель и сторож. Божебин говорил по-татарски, Бейшара отвечал по-киргизски. В самом основном можно было понять друг друга.

— Вон там речка. Жиланшик называется.

— Речка?

— Да речка, Река. Не очень большая, по рыбы много.

— Рыбы?

— Да, рыбы много.

— Это хорошо. Я рыбку люблю ловить. У нас Волга

рядом была, мы с малолетства рыбачили кто чем. Рыбалка — золотое дело. Ты рыбачил, Николай?

— Я видел. Видел, как рыбу ловят. У наших это не принято, но я видел, хорошо видел, близко.

— Научишься, Коля,— ободрил Божебин, догнав своего сторожа. Теперь они ехали рядом.— Научишься. Не велика премудрость. Как у вас ловят?

— У нас в ауле Балкы есть. Очень хитрый, очень умный. Он первый ловить стал. Он с детьми плетни плетет из прутьев и речку перегораживает, он на старице ловит. Перегородит речку плетнем, а щели оставит. Против этих щелей ловушки кидает вроде длинных таких корзи...

— А ты можешь эти корзины плести?

— Я не могу. А дети у Балкы умеют. У него умелые дети. Бектепберген, Амагельды, Амантай... Они умеют плести. Мы их заставим. Пусть плетут для учителя.

— А другой снасти нет?

— Другой нет.

— А если у этого Балкы попросить? Или у другого кого. Нам бы на время. Я думаю, что достанем.

— Конечно, достанем. Учителю всегда дадут снасть. Учителю почет. И мне будет уважение. Я ваш помощник.

— Что? Что ты сказал?

— Я ваш помощник, говорю.

— Конечно. Самый первый помощник.

— Хороший человек этот русский мулла.

— Кто?

— Русский мулла. Мулла Борис.

— Все они хорошие.

— Кто?

— Все они... Я их с детства не люблю.

— Кого?

— Кого-кого? Попов не люблю.

Потом долго ехали молча, и вдруг Божебину запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Пел он замечательно, голос был высокий, звонкий и очень чистый. Никогда Бейшара не думал, что у русских есть такие хорошие песни, никогда не слышал, чтобы так хорошо пели. В церкви тоже неплохо пели, но это было как во сне. Хорошо пел учитель, и сторож стал ему подпевать без слов. У Бейшары, оказывается, был отличный слух.

— Давай, Коля! У тебя получается. Ты свои слова подставляй и пой.

У Бейшары получилось примерно так: «А может, это к лучшему, что я съел тогда сладкую и пахучую теплую ледышку. Конечно, это к лучшему. Это очень хорошо, очень замечательно. Мне иногда и теперь кажется, что левая ладонь у меня лишняя, сладкая и хорошо пахнет!»

Сухо в степи. Высохла трава, высохла земля. Сухой ветер несет сухой песок. То ли ветер звенит в ушах, то ли за холмами суслики с сурками пересвистываются. Вон пыль поднялась, это сайгаки летят. Только от них такое легкое облако. Сайгаки.

Верхом Божебин ехал неловко, боком, видать, не был приучен с молодых лет. Про охоту на сайгаков с таким человеком говорить неинтересно. Он, наверное, только на птиц может охотиться, с лодки. Про охоту надо поговорить, а то едем молча, может, учитель обиделся или огорчился, подумал Бейшара. Только он собрался рассказать про охоту с лодки-каюка или про соколиную охоту, как Божебин вдруг спросил:

— У тебя жена есть?

— Была,— беззаботно ответил Бейшара.— Померла весной. Болела сильно и померла.

— А у меня есть жена. Я ее выпишу сюда. Пусть придет с детишками. У меня хорошая жена, строгая. Я тебе покажу, у меня карточка есть. Может, и ты женишься. Не век же вдовствовать...

Хорошие слова говорил учитель. Хороший человек. С таким легко будет жить.

— Вот какие дела,— продолжал говорить Божебин.— Ты теперь крещеный, а я нынче неверующий... Бог-то бог, да сам не будь плох. Вот главное!

В тот день Балкы объяснял племяннику почти то же и почти теми же словами, что говорил новокрещенному своему сторожу школьный учитель Божебин.

— Вот какие дела,— говорил дядя племяннику.— Все на свете от людей зависит, бог не вмешивается в наши судьбы. И солнце светит, и птички поют, церковь не обрушилась, мечеть не рассыпалась.

Накануне они не дождались конца церемонии, ушли почевать к родичам, наутро же решили сделать еще кое-какие покупки и теперь, увязав два торока, сели на коней.

На базарной площади их окликнули. На крыльце высокого дома стоял отец Борис Кусякин.

— Амангельды тебя зовут?— спросил он, радуясь неведомо чему.— Подъезь ко мне, Амангельды, не бойся, я спросить тебя хочу.

У Кусякина вера в бога находилась в прямом соотношении с верой в свою звезду, а новая встреча с мальчишкой из аула Кенжебая показалась добрым предзнаменованием, он даже имя его вспомнил.

— Что же ты, джигит, вчера в церковь не вошел? Увидел бы, как новообращение происходит. Или побоялся?

Кусякин улыбался во все свое ярко-рыжее лицо, веснушки цвели подсолнухами.

— Чего бояться,— ответил Амангельды, стыдясь своего вчерашнего страха.— Неинтересно мне, вот и все.

— По-прежнему, как лживый Суйменбай, собираешься идти в баксы, шаманом хочется стать?

— Хотите желтых ледышек? — неожиданно улыбнулся Кусякину Амангельды. Он достал из-за пазухи бумажный фунтик леденцов.

— Пожалуй, попробую,— отец Борис взял один леденец, положил его в рот.— Спасибо, джигит! Ты знаешь, теперь у вас в волости школа будет с русским учителем, закон русского бога сможешь узнать. Очень тебе советую.

Кусякин нарочно громко хрустнул леденцом и причмокнул.

— Спасибо, джигит!

— Теперь мы квиты,— сурово сказал Амангельды.— Никогда не заводите со мной своих дурацких разговоров. Терпеть не могу тех, кто торгует шкурами, а кто торгует душами, ненавижу!

Когда выехали в степь, Балкы похвалил племянника за находчивость и добавил:

— А в той школе помощником учителя будет наш Бейшара. Никто в ту школу не пойдет.

— Никто! — подтвердил Амангельды.— Я так сделаю, чтобы никто из ребят не пошел.

Про себя он решил это твердо и подумал: если бы Алтынсарин там учил, он бы пошел, несмотря на Бейшару, несмотря на этого рыжего. А так — никто не пойдет.

Глава пятая

Инспектор киргизских школ Алтынсарин ехал в Кайдаульскую школу, откуда вести поступали огорчительные. Говорили, что учитель Божебин не сумел завоевать доверия местных жителей, в первый год детей пришло мало, в нынешнем еще меньше.

Декабрь — плохое время для поездок по степи, но день стоял ясный, солнечный. Тройка отличных лошадей из собственного табуна, казалось, не чувствовала за собой легкой кибитки, лошади бежали резво и радостно. В хорьковой шубе, лисьей шанке, в сапогах на меху, под волчьей полостью Алтынсарину было тепло, а дышалось свободно. В последнее время он все чаще замечал, когда ему легко дышалось.

Дос сидел на облучке вполоборота к дороге и грел на солнце свое почти черное морщинистое лицо. Вот показались какие-то брошенные землянки, вот в ложбинке поодаль и школа.

Чисто-чисто сверкает снег, слабый дымок идет из единственной трубы, аккуратно сложен кизяк у входа. Правда, чего-то не хватает глазу. Чего? Ах, конечно же ребячьих следов на снегу. Даже когда в школе мало детей, следов множество. Они бегают, играют в снежки, строят крепости, лепят снеговиков. По отчетам, в школе шесть мальчиков. Непохоже! Когда был последний отчет? В октябре. Значит, слухи верны, всех детей разобрали.

Алтынсарин нетерпеливо вылез, потянул на себя дверь, вошел в темные холодные сени и отворил другую дверь. Перед ним была классная комната: длинные скамейки и столы, выкрашенные в желтый цвет, маленькая аспидная доска висела на гвозде. Света было мало, окошко сплошь заледенело. На доске написано какое-то уже полустертое теперь слово. Алтынсарин подошел ближе, чтобы прочесть, и ему стало не по себе. Красивым почерком было выведено:

«ЧЕЛО-ВЕКЪ».

Мел почти весь осыпался. Почему именно это слово? Почему через черточку?

Тишина стояла мертвая и только усиливалась от того, что где-то совсем рядом сильно скреблась мышь.

Досмагамбет вошел со двора и сказал, что лошадей привязал, но корма нет и людей никаких не видно.

«Плохо дело,— решил инспектор.— Придется отзывать Божебина, если он сам уже не сбежал. Похоже, что сбежал. Отсюда он уехал, конечно, в Батпаккару, а там... Не следовало выдавать ему вперед жалованья. А почему не следовало? Разве можно было предположить?»

Еще одна дверь вела в жилую часть школы, она тоже была незапертой. Алтынсарин оказался в темноте и вспомнил, что здесь находилось что-то наподобие кладовки. Пахло гнилью и кизяком, дверь в комнату учителя была притворена плохо, оттуда падала узенькая линейка света. Алтынсарин вернулся в классную комнату.

— Дос,— попросил он слугу.— Посмотри, есть там кто?

Досмагамбет решительно прошел через кладовку и заговорил с кем-то по-казахски, потом выглянул и сказал:

— Заходите, здесь сторож есть.

В комнате учителя — а это, без всякого сомнения, была его комната — на низкой деревянной кровати поверх суконного одеяла в шапке, тулупе и рваных сапогах спал Бейшара. Вернее, он уже не спал — просыпался. Он не знал точно, действительно ли пришли какие-то гости или это ему мерещится. От голода и холода голова работала еще хуже, чем обычно.

— Ты кто? — спросил Алтынсарин.

Под распахнутой хорьковой шубой Бейшара разглядел мундир с ясными металлическими пуговицами, очень испугался, хотел вскочить, но сил едва хватило, чтобы сесть на кровати. Руки затекли, губы опухли, не слушались.

— Ты кто? — повторил господин казахского вида, но в русском мундире.— Как ты сюда попал?

— Сторож я.

— Зовут как?

— Коля.

— Как? — Алтынсарин удивился. — Как тебя зовут?

— Коля.

Юрий Иванович Божебин только так и называл его, а ни с кем, кроме Божебина, Бейшара особенно и не общался.

Алтынсарин вспомнил, что сторожем тут крещеный казах, но все-таки еще раз переспросил:

— Как тебя зовут? Как раньше в ауле звали, как фамилия?

Большому начальству надо отвечать точно, вот уже и брови нахмурил, сердится.

— В ауле звали Бейшара-Кудайберген. Теперь зовут Коля, Николай Пионеров.

Он окончательно проснулся и кинулся к печке.

— Я сейчас, господин! Извините. Я чай сделаю.

Бейшара стал раздувать тлеющий кизяк, потом выбежал, громыхая медным чайником.

Алтынсарин устало сел на табурет. Не впервой ему было видеть убогую обстановку в жилищах волостных учителей, но здесь все выглядело еще более убогим и жалким. На столе, где только что стоял чайник, Алтынсарин разглядел русско-татарскую азбуку, рядом тетрадку, приспособленную под классный журнал. Все это было покрыто слоем мохнатой пыли. В углу стояла этажерка, сделанная, видимо, самим Божебиным. Верхняя часть была ажурная, вся в выпиленных лобзиком цветочках и лепесточках. На этажерке стояла фотография: суровая, густобровая женщина в белой кофте и двое детей с нею. Вспомнилось, что Божебин хотел со временем перевезти сюда всю семью.

К этажерке приткнулись снаряженные удочки, на полу лежала мелкочейстая рыбацкая сеть.

Вошел Бейшара, его бил озноб, который часто нападает спросонья и в холоде. Руки не слушались, когда он пытался растопить печку.

— Дос,— сказал Алтынсарин слуге.— Займись, пожалуйста, сам. И достань наши припасы.

Бейшара послушался, когда Досмагамбет брезгливо отодвинул его от печки. Чего тут суетиться, когда все равно угощать нечем: ни овечьего сыра, ни лепешки, ни муки. Про мясо и думать нечего.

— Где учитель? — спросил Бейшару Алтынсарин.

— В сарае.

Алтынсарин не понял ответа.

— Я спрашиваю, куда уехал учитель? И когда?

— Он не уехал. Он в сарае живет, в бутылке.

— Что ты несешь? В каком сарае, в какой бутылке?

— Он себе из ивовых прутьев бутылку сплел большую и туда залез. Не бутылку, а вроде бутылки, корзину такую, как рыбу ловят. Он говорит, у них такие в речках ставят. Хорошо сплел. Морда называется. Он говорит: «Я человек — рыба, я сам сплелу себе ловушку, сам в нее попаду». Он в сарае, в этой ловушке лежит и ходить к нему не велит. Когда у нас еще деньги были, я баксы приглашал, чтобы лечить, чтобы шайтана выгнать. Я рубль баксы отдал; он на кобызе учителю играл, и в лицо ему плевал, и камчой его бил — не помогло. Баксы говорит, шайтан очень сильный, русский шайтан. От русской белой водки шайтан, белый шайтан. Я, говорит, его камчой бью, в лицо плюю, а он смеется, не верит, что не рыба.

Горячка. Алтынсарин поднялся, застегнул шубу.

— Он и сейчас там?

— Там, господин. Только он не велит туда ходить.

Алтынсарин двинулся сквозь все мертвые комнаты школы к выходу. Бейшара шел следом.

— Много учитель пил?

— Мало.

— Как мало?

— Одну бутылку в день. Осенью две бутылки пил,

когда начал. Теперь одну бутылку хватало. Он добрый очень, он мне предлагал, он говорил, что к нему жена придет с детьми, он мне жениться советовал. Он говорил, что жить хорошо будем, песни пел... Он и сейчас иногда поет.

Бейшара затянул по-казахски на мотив «Среди долины ровныя...». Алтынсарин отворил дверь сарая. В левом углу была выкопана глубокая нора, где лежала большая рыболовная верша, действительно похожая на бутылку. Сквозь прутья Алтынсарин увидел бледное широкое лицо, черные глаза Божебина; учитель был в полушубке и трюхе, руки засунуты в рукава, на ногах валенки.

«Он мертвый», — бросилось в голову, но верить в это было страшно.

— Господин Божебин! Юрий Иванович!

Сомнений не оставалось.

— Он давно здесь? — спросил Алтынсарин Бейшару.

— Месяц.

— Ел, пил? Ты ему носил?

— Я. Он потом велел не приходить. Очень плакал, если я приходил, говорил, что я его обижаю. Я, говорит, мечу икру, а ты мне мешаешь. Я перестал ходить.

— Давно перестал?

— Дня три.

— Почему ты никому не сообщил, что учитель заболел?

— Я волостному говорил, мулла Асим заезжал, на бутылку смотрел. Он говорил, что Аллах наказал учителя. И что меня накажет.

...Досмагамбет был сильным и настойчивым; всю ночь он копал могилу, а утром Божебина схоронили на склоне холма, навалили камень, постояли, сняв по русскому обычаю шапки.

— Кто тебя крестил, Николай Пионерох? — спросил Алтынсарин.

— Отец Борис.

— Знаю такого, его в Казань отзывали, а теперь он, кажется, в Кустанай вернулся. Хочешь, я возьму тебя в Кустанай?

— Я там с голоду помру. Тут у меня родичи есть, иногда дают что-нибудь.

— В Кустанае отец Борис позаботится. А вблизи родичей, вижу, ты тоже не очень жирный.

— Наши боятся мне помогать, потому что я крещеный. А то бы лучше помогали. У нас все дружные.

— Поедешь со мной,— решил Алтынсарин.— Ты пить водку не научился?

— Нет! Меня от нее рвет.

Домой Алтынсарин приехал вечером двадцать девятого декабря.

В пути из Тургая он растерял весь свой оптимизм и бодрость. Не выходил из головы Юрий Иванович Божбин, замерзший внутри сплетенной им самим для себя верши. Стоило закрыть глаза — виделась насквозь холодная, мертвая школа, желтые скамьи, желтые столы и каллиграфически написанное слово «ЧЕЛО-ВЕКЪ». Кто-то говорил Алтынсарину, что у пьяниц не бывает хорошего почерка. У Божбина почерк был образцовый. Для чего, для кого он написал на доске это слово? Для учеников, которых давно уже не было? Для Бейшары Пионерова?

Сквозь ивовые прутья черные глаза Божбина смотрели прямо в душу.

Вспомнилась густобровая жена учителя, ее строгий взгляд, две детские мордашки. Надо написать ей, а то, чего доброго, приедет. Как это он сразу не догадался!

Дома, к счастью, все было в полном порядке. Айганым — замечательная хозяйка и умная мать. Сразу после Нового года Алтынсарин собирался уединиться недели

на две, чтобы поработать над составлением хрестоматии по всемирной истории для детей старшего возраста, но пока были неотложные дела, разбор жалоб на инспектора Орской школы Безсонова в первую очередь.

...Он примерил парадный сюртук и брюки, шитые в прошлом году в Оренбурге, с огорчением и недоумением обнаружил, что располнел, брюки в поясе не сходятся. Айганым решила тут же послать за портным, но Ибрай сказал жене, что перед Новым годом единственный кустанайский портной наверняка очень занят и неловко отрывать его от серьезных заказов ради такой мелочи.

— Я сам заеду к нему. Он ведь рядом с канцелярией.

Петр Голосянкин появился в Кустанае недавно. Он арендовал саманный домик на главной улице и привлёк к себе внимание горожан узким клетчатым костюмом, странным велосипедом с рамой из стальных треугольников и женой Людмилой, которая, как вскоре стали говорить, вовсе была ему не жена, а всего лишь сожительница. Вскоре, однако, портной почему-то перестал надевать клетчатый костюм: велосипед, видимо, нуждался в починке, и лишь сожительница, которую все стали звать Людашкой, продолжала волновать умы кустанайцев. Это была неопрятная полная женщина, которая одевалась в то, что было ей впору лет, видимо, восемь назад, она красилась, румянилась, но крайне редко причёсывалась. Вульгарные манеры, громкий, визгливый голос и болтливость дали основание для толков, которые, однако, вскоре были опровергнуты. Вовсе не из публичного дома взял ее Голосянкин, а отбил у дунгана-фокусника. Говорили также, что она мусульманка, настоящее ее имя Фатима и что сам Голосянкин собирается перейти в ислам.

Все это соседки и первые клиенты Голосянкина знали от самой Людашки, которая могла заговорить с кем угодно и когда угодно.

И про портного многое можно было узнать от его сожительницы: одним она говорила, что Петр оказался в здешней гиблой местности не по своей воле, а в наказание за храбрые дела, другим намекала, что ее Петр не так прост и многие видные люди с Гороховой за руку с ним здороваются и скоро опять в Петербург позовут.

Алтынсарина все это не интересовало. Главное, что портным Голосьянкин был отличным и человеком приятным.

Приземистый саманный домик Голосьянкина внутри был обставлен как бы в память о лучших временах. Возле рябого трюмо стояло кресло, на столе лежали немисливо старые, замусоленные журналы и свежий номер «Тургайских ведомостей».

Когда Алтынсарин вошел в прихожую, первым, кого он увидел, был отец Борис. Он раздобыл, рыжие волосы его поредели, но глаза остались такими же яркими. Кусякин снисходительно беседовал с Людмилой.

«Обращает в православие,— про себя усмехнулся Алтынсарин.— Эту пусть обращает. С этой ничего не делается. Ее и в козу можно обратить».

Ничего предосудительного не узрел Алтынсарин в беседе иеромонаха с сожительницей портного, просто отметил про себя, что Кусякин, как и говорили, вернулся из Казани в Тургайскую область, что надо рассказать ему про его крестника Николая Пионера и сделать это надо тут же.

— Господин инспектор! — деланно обрадовался Кусякин.— Какая приятная встреча! А мы вот беседуем о нравах, о местной молодежи, склонной к разврату и распутству.

Алтынсарин поздоровался подчеркнуто сухо и почти сразу перешел к разговору о Бейшаре, об устройстве его дальнейшей судьбы.

— Да! Истинно так, как вы говорите! — время от вре-

меня вскрикивал миссионер. — Жизнь — жестокая вещь! А учитель сился? Вот видите! Это стечение обстоятельств... Нет, нет! Тут, без сомнения, есть толика и моей вины, моя скромная, так сказать, лепта. Знаете, матушка моя покойная торопыгой меня звала. «Эй, мол, торопыга!» Так и кликала в деревне при всех. Хотите верьте, хотите нет. Торопыга! Верно говорила. Я ведь поторопился тогда, первый блин — комом! Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я ведь и фамилию ему дал соответственную — Пионеров. Моя главная ошибка в том, что я недооценил значения моральной зрелости будущего неопита, его способности к нравственному совершенствованию, его духовного развития. Знаете, я вообще разочаровался в киргизах... Нет, я не так выразился, господин Алтынсарин. Простите и поймите меня, — я разочаровался в киргизах в смысле их способности к восприятию высших идей, я говорю, высших религиозных идей...

— Так как же будет с вашим первым крестником? — Алтынсарин неприязненно остановил Кусякина.

Тот смутился только на миг, но тут же затараторил:

— Я слышал, вы сегодня будете у нашего уездного. Там и поговорим за рюмкой... чая. Прощайте, вернее, до свидания!

Кусякин выскочил в дверь, будто вспомнил, что у него есть какое-то экстренное дело, а Голоснякин, худой и пронырый, в несвежей сорочке и клетчатой жилетке, утыканной булавками, уже ждал Алтынсарина.

— Полнее, господин коллежский советник. По чину положено, для здоровья вредно, — говорил он приятным баском. — Полнота вам не нужна, хотя с чинами человек должен полнеть. Если не ошибаюсь, коллежский советник в военной табели о рангах означает полковника. Полковник, вообще-то, в поясе еще на два вершка может быть полнее... Пусть ваш слуга зайдет через часок. Примерять больше не надо... Любочка, сколько раз я просил

тебя не заглядывать в примерочную без стука. Мало ли что можно увидеть... Не обижайся, Людочка. Простите, господин коллежский советник.

Дома Алтынсарина ждал мулла Асим. Сговорились, что ли, окончательно испортить предпраздничное настроение? Нет, наоборот, судьба хочет все неприятное оставить в старом году, чтобы новый предстал безоблачным. Успокоив себя таким образом, инспектор был любезен с муллой, спрашивал, как положено, о здоровье, о делах, о семье. И мулла был любезен.

— Я пришел к вам не как к инспектору школ Алтынсарину, а как к истинному мусульманину Ибрагиму. Мне не нужно вашего разрешения открыть медресе, ибо только Аллах может распоряжаться в таком деле. Мне нужно, чтобы вы не возражали против этого, не восставляли невежественных людей против богоугодного дела просвещения. Я очень на вас надеюсь, я прошу вас от имени всей степи, от имени наших умерших предков.

Алтынсарин молчал, и молчание это не предвещало согласия.

— Я имею право настаивать на этом, потому что русские миссионеры не дремлют, они вовсю стараются делать свое черное дело. Вы, конечно, знаете, что в Орске инспектор Безсонов зверски избивает мусульманских детей, морит их голодом, чтобы заставить перейти в православие.

Инспектор видел, что Асим хорошо подготовился и хочет многого. Но Алтынсарин задолго до этого дня решил, что никогда не благословит школу, которая будет готовить не учителей, а мулл.

— Вам известно о насилиях, творимых в Орской школе? — спросил мулла Асим. Невозмутимость инспектора медленно выводила его из себя.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, мулла Асим. Я давно хотел спросить вас о тех детях, которых вы по-

казывали господину Яковлеву и мне в Кайдауле. Вы не знаете, где они теперь, учатся ли, не бедствуют ли? Зима в этом году трудная.

— Представьте себе, что знаю! — Мулла понял, что инспектор настроен крайне враждебно. — Один собирается поступить в медресе, когда мы его откроем, другой стал охотником. Я видел его на базаре, он стоял, обвешанный шкурками хорьков и горностаев. Я говорю про того, который хотел стать шаманом и понравился вам.

— Очень за него рад, — сказал Алтынсарин, смягчаясь душой к мулле Асиму. — И рад, что вы не теряете из виду бывших учеников. Как звали того мальчика?

— Амангельды Удербает, господин инспектор. Но более интересен был другой — Абдулла. Он будет ученым.

— Помню его. Тоже хороший мальчик. Сообразительный. — Алтынсарин не хотел быть резким с муллой и потому сказал: — Мне было бы куда приятнее знать, что вы будете учить детей грамоте и счету, а не устраивать медресе. Нам нужны врачи, ветеринары, землемеры, нам нужны слесари, плотники... Религиозных наставников у нас хватает, мулла Асим.

Они сидели друг против друга: Алтынсарин в мундире с ясными пуговицами за письменным столом, мулла Асим Хабибулин в аккуратной белой чалме в кресле напротив.

— Вы не сказали, что думаете про безобразия в Орске, — сказал мулла. — Вы одобряете действия тамошнего инспектора?

— Не стоит преувеличивать неприятности, которые происходят в Орской школе, — сказал Алтынсарин. — Я полагаю, однако, что господин Безсонов точно так же вреден делу просвещения, как и господин Хабибулин. Так я думаю и не считаю возможным ни от кого скрывать свои мысли.

— Вы плохой мусульманин и враг своему народу, —

сощутив глаза, спокойно сказал мулла.— Вы хотите, чтобы его не стало совсем, чтобы он забыл свой язык, свои обычаи. Только к этому приведет русское образование. Я должен буду сказать об этом во всеуслышанье. Я в пятницу скажу об этом в мечети. Не говорите, что я не предупредил вас.

Мулла Асим встал первым, и Алтынсарин испытал облегчение.

— Спасибо за предупреждение, мулла Асим. Только вы ничего не скажете в мечети. Вы никогда не признаетесь перед моим народом, что я против вас. Вы всегда будете делать вид, будто я ваш союзник в главном, но не понимаю несколько сущих мелочей. Идите, мулла Асим, и знайте, что я категорически против медресе и собирать деньги с бедных аульчан не позволю. Их достаточно обирают без вас, их достаточно обманывают... Вот видите, я вас тоже предупредил.

Алтынсарин любил этот праздник, и ничто не могло омрачить его. Уездный начальник Петр Иванович Миллер с супругой Татьяной Порфирьевной в меру подчеркивали свою светскость. Стол был сервирован чрезвычайно подробно и педантично, салфетки перекрахмалены, тарелочек, вилок, ножиц множество, а закусок рыбных, мясных, соленых, копченых, вяленых и жареных еще больше. Гостей собралось человек двадцать, и скоро весь строгий порядок был нарушен. Из старых знакомых Алтынсарин с неудовольствием отметил ротмистра Новожилкина, который явился сюда с супругой, тридцатилетней, очень красивой, но бледной и какой-то не ко времени хмурой. Отец Борис Кусякин сидел рядом с ней и без умолку болтал. Он уронил на скатерть здоровенный кусок студня, тут же свекольно покраснел, но сделал вид, что это его несколько не смутило.

Часы пробили полночь, все стол выпили за Новый год.

Вскоре подали горячее, пить стали врозь, и Алтынсарин вышел в просторную прихожую. Два десятка пушистых шуб висело на вешалке, двадцать шапок лежало на полке, в углу сгрудились галоши. Шум застолья казался отсюда особенно дружным и согласным, слегка кружилась голова. Алтынсарин увидел маленький столик в углу прихожей, чернильный прибор с перьями, стопку бумаги и конверты. Видимо, кто-то из писарей работал здесь днем, может быть, писал от имени начальника уезда поздравительные письма. И Алтынсарин присел к этому столику, быстро набросал два письма. Одно Якову Петровичу Яковлеву в Тургай, другое — в Оренбург Василию Владимировичу Катаринскому.

О Василии Владимировиче Алтынсарин думал с тревогой. После каникул предстояло проверять состояние дел в Орской школе и обо всем подробно докладывать начальству. Это им с Катаринским расхлебывать кашу, которую заварил Безсонов. Писать ему сейчас про это или лучше умолчать? Разве в поздравительных письмах про такое пишут? Опять вспомнил о вдове учителя Божебина. Не забыл ли Досмагамбет отнести на почту письмо?

Когда он вошел в залу, там был ералаш. Ротмистр Новожилкин возле сдвинутой в угол рождественской елки наседали на отца Бориса.

— А на кой ляд? На кой, скажите мне, ляд вы хотите сделать их православными, на кой ляд хотите обрусить? Вам что ж — русских не хватает? Тоже мне Миклухо-Маклай. Ну ладно еще папуасы, они далеко, они за океаном, они Россию не проглотят, а эти-то рядом, они грядут на нас!

Миллер, видимо, издали следил за спором у елки. Он подошел, ловко неся в руках три рюмки и бутылку.

— Выпьем, господа. Выпьем за последний член в триаде, за народность! Я имею в виду русскую народ-

пость. Ей-худо сейчас. Во всех смыслах худо, и в духовном особенно. Вот вы, господин Кусякин, обращаете в христианство мусульман и язычников, а думали ли вы о погибающих русских душах, о том, как мало христианского в нашем народе?.. Вот я и говорю, господа, пусть каждый народ хранит свою веру, ибо у каждого народа свой единственный путь. Верно я говорю, господин Алтынсарин?

Алтынсарин, который вначале сознательно не хотел слушать ротмистра, как-то невольно вошел в круг собравшихся возле елки, когда туда подошел уездный начальник.

— Так что же думает об этом представитель киргизской интеллигенции? Очень хотелось бы услышать ваши слова, господин Алтынсарин. Я знаю, вы мыслите оригинально.

Все смотрели на него, ожидая «оригинальных мыслей». Голос звучал неожиданно тихо:

— Все возможное счастье для моего народа в настоящем и в будущем я вижу не в изоляции, не в познании Аллаха или Христа, не в самопознании, а только в наиболее полном равноправном нравственном и культурном сближении с русским народом. Я уверен, что здесь все выиграют, всем будет полезно такое общее духовное развитие.

Начальник уезда, по всей видимости, ждал какого-то другого ответа.

— Н-да! Точка зрения четкая, но спорная... А не перейти ли нам к чаю и кофе? Есть отличный шартрез.

Алтынсарин хмуро прихлебывал крепкий холодный чай, говорить ни с кем не хотелось, по сторонам он не смотрел и очень удивился, увидев прямо перед собой рыжее лицо Кусякина.

— Мы так и не поговорили с вами про моего Николая. Все дебаты, дебаты! Я вам скажу честно: устройте

его куда-нибудь сами. Человеколюбие угодно всевышнему, это вам зачтется, смею уверить. Вам легче его пристроить, нежели мне, я тут личность новая, пришлая, кто меня послушает.

— Понятно объясняете, — сказал Алтынсарин. — С Бейшарой покончено, кто следующий?

— Вы на эту писклявую намекаете? — Кусякин смутился. — Бестия, сущая бестия. Загнала своего Петю на край света и вовсе может погубить. Она ведь циркачка, по проволоке бегала, ноги выше головы задирала. Сама рассказывала. Она врет безбожно. И что Фатима она — брехня, и что мусульманка — брехня. А глазки какие, заметили? Жаль, что талии давно лишилась, а то ведь большой соблазн для других людей могла бы составить.

В передней, когда Досмагамбет подавал шубу, к Алтынсарину подошел молодой розовощекий чиновник. Его как-то вовсе не было видно за столом и во время танцев в зале.

— Простите, я хотел сказать вам, что совершенно разделяю ваше мнение относительно совместного развития народов. Только не обольщайтесь насчет всех русских. Мы не все одинаковы. Мне кажется, что вы думаете, будто все мы состоим из Пушкиных, Гоголей, Чернышевских и Щедриных. Это не так...

— Кто вы? — спросил Алтынсарин.

Молодой человек смутился:

— Я забыл представиться. Николай Токарев, бывший студент Московского университета. Ныне письмоводитель.

Алтынсарин протянул ему руку:

— Рад буду видеть вас моим гостем. И не думайте, что я обольщаюсь... Я же сказал: с русским народом. С народом. Тут нет ошибки? До свиданья!

Глава шестая

Амангельды давно правилась Зулиха. Когда маленькие были, вместе бегали наперегонки, потом вместе учились верхом ездить, даже в школу одну зиму ходили вместе. Не к мулле Асиму, к другому, который через год приезжал, тоже татарин.

Калампыр и Балкы эту дружбу одобряли, девочка им правилась, а невесту надо выбирать загодя. Отец Зулихи этому не противился, хотя в последнее время с матерью Амангельды стал держаться строже. Он понемногу богател, его родня жила близ Кустаная, а там творились большие дела.

В северных уездах Тургайской области баи торговали тем, что казахи извечно привыкли считать божьей собственностью. Там сдавали в аренду землю. Под распашку, под хлеб. Разве это плохо? Сами казахи землепашеством почти не занимались, кочевали со скотом: где трава — туда и овцы, куда овцы — туда и люди. Когда заходил разговор о цене за аренду, цифры поначалу назывались бессмысленные: тридцать копеек за десятину. Потом цены удвоились, утроились... Отец Зулихи всему этому радовался, а дядя Балкы и Калампыр спорили с ним и говорили, что, хотя и много бог дал казахам земли, но скоро и ей конец придет.

О русских переселенцах год от году среди кочевников говорили больше, но в южных уездах их почти не видели. Как-то Амангельды с Зулихой скакали ранним утром на конях из табуна ее отца и на берегу озера увидели трех оборванных русских, похожих на тех, каких водили в кандалах. Только кандалов им и не хватало, на взгляд Амангельды. Может, поэтому он и сжалился над ними и хотел показать им дорогу на Тургай, но они, оказывается, шли оттуда и заблудились. Идти же им надо было в

Кустанай. Их довели до аула, понормили, посоветовали, как лучше идти.

Никогда и не узнал Амангельды, что помог выбраться из беды не просто трем ходокам, а что один из этих трех — отец его будущего врага. Но правда и то, что дочь этого мужика сделала потом для батыра больше хорошего, чем ее брат плохого.

Это был Григорий Ткаченко из деревни Мироновки.

То, что радовало одних казахов и огорчало других, для статистика Семена Семеновича Семикрасова представляло интерес научный.

Семикрасов происходил из семьи военного фельдшера, человека строгого, честолюбивого и умного. Двух своих сыновей Семен Семикрасов-отец учил в гимназии. Старший сын, Яков, был врачом в Уфе, младший увлекся статистикой, хотя кончал курс по юридическому факультету.

Статистика как метод массового наблюдения и математического исследования важнейших сторон жизни представлялась Семену Семеновичу панацеей от всех общественных недугов. Экономические исследования, если в их основе лежали данные статистики, тоже интересовали Семена Семеновича. Карл Маркс, например, привлекал его основательностью в подборе материала.

Семикрасов работал добросовестно, не страшился бесконечных разъездов, ночевок где попало, жары летом, убийственных морозов долгой зимой и насекомых, грозящих болезнями и лишаящих сна. Не сразу понял статистик, почему киргизы северных уездов Тургайской области кочуют в пределах полусотни верст от зимовок, а в южных уездах летовки от зимовок отстоят друг от друга порой верст на четыреста. Все дело *только в том*, что в северных уездах пастбища лучше.

Труднее было понять цепь причин и следствий, приводящих к неуклонному, неостановимому падению поголовья лошадей и овец. Никакие аналогии с историей скотоводства в странах Запада не помогали понять причины приближающейся катастрофы, не помогали найти путь к спасению. Развитие земледелия, вопреки ожиданиям, не улучшало жизнь местного населения.

Будущее местного населения виделось Семикрасову все более плачевным. Чем больше он ездил по уездам Тургайской области, тем яснее видны были результаты постепенного вытеснения кочевников. Голодная Россия перла сюда, и при всем сочувствии переселенцу, бегущему от голода, Семен Семенович не мог согласиться с политикой правительства.

Слухи о «вольных» землях, где, сколько ни вспашешь, все твое, давно блуждали по русским деревням, где «я куренка некуда выпустить». Слухам верили тем больше, чем теснее и беднее жили. Есть вольные земли, только где они?

Неосмотрительно было со стороны переселенческих чиновников называть Кустанай местом, куда каждый может приехать, где каждого ждут.

К лету 1881 года тут оказалась тысяча двести семей, а к 1889 году население достигло восемнадцати тысяч. Пришлые крестьяне, оказавшись в городе, тут же переписывались в мещане, по себе зная, что в крестьянской России нет звания более низкого, чем крестьянин. Жить, однако, новые мещане продолжали по-старому: пахали землю и пасли скот.

Раньше новые хозяева тревожились потому, что никакой угрозы себе не видели, откуда беду ждать, не знали, а это непривычно уму и сердцу. Постепенно беда забрезжила, замаячила издали, потом вдруг приблизилась вплотную. «Степной чернозем тароват, да не силен». Нельзя было, оказывается, пахать без ума и порядка,

нельзя было несколько лет подряд сеять одну только пшеницу. Тут киргизы вдруг переменялись, поняли наконец, что пастбища их убывают, а там, где сильно землю маяли, теперь вовсе ничего не растет.

Семикрасов еще в самом начале переселенческой лихорадки предвидел эту беду и обратил внимание местного начальства на то, что и с юридической точки зрения такая аренда не вполне законна. Сделку совершают баи, тогда как земля принадлежит по идее целому обществу. Не по воле бая может быть сдана она в аренду, а только по приговору на общем собрании.

Семикрасов боролся за выполнение законов, кои писались в Петербурге, а на местах не только не выполнялись, но и не читались толком. Петр Иванович Миллер корил Семена Семеновича за буквоедство и за то, что он интересы киргизов отстаивает в противовес счастью русских людей, для которых водворение на новое место жительства не более и не менее, как обретение земли обетованной. Миллер не только не воспрепятствовал незаконную аренду земли у баев, но при случае умел нажать на степняков, применить, как он сам говорил, «энергичное воздействие».

При каждом удобном случае Семикрасов показывал начальству, к чему приводит вырубка прибрежных зарослей, как опасно распахивать песчаные места под бахчи и подсолнухи, как разрушается структура почвы, как сыпучий песок с каждым годом наступает на пахотные земли.

Миллер хмыкал: с его точки зрения, паника была напрасная, природа свое возьмет, а человек для нее не главной муравья.

— Вас послушаешь, Семен Семенович, сразу-то и поверишь. Вы на общие результаты посмотрите, на достигнутое.

— Именно про достигнутое я и говорю,— с ненавистью, которую не умел уже скрывать, говорил Семи-

красов.— Выгоны близ хуторов и поселков избыты так, что на них одна полынь родится. На сенокосных лугах, которые без разума пускали под толоки, пошла голая осока.

Иногда Миллер вроде бы и соглашался с Семикрасовым, но это было еще хуже. Выглядело примерно так:

— Вы статистик, регистратор фактов. Я же их творец, демиург. Вы разговариваете, а я кормлю целый уезд, а уезд мой кормит всю область. Вы осуждаете мужика только за хищность, я же его и вовсе терпеть не могу. Вы с него сознательности требуете, я же в каждом нашем новом вшивом пилигриме вижу лишь часть вшивой России...

Вшивые пилигримы, вшивая Россия, врожденное косопузие и наследственное слабоумие — излюбленные словечки Миллера. В устах этого стройного, щеголеватого и чисто вымытого бледнолицего чиновника констатация общеизвестных фактов выглядела оскорблением национального достоинства. Семикрасов смутно чувствовал это.

На пилигрима русского он нагляделся достаточно, так получилось, что видел его в начале дороги под Курском или Воронежем, видел в Оренбурге и Челябинске.

Один из таких вот злых переселенцев, худющий и рябой Ткаченко, при опросе сказал Семикрасову:

— Мы люди отчаянные, навроде беглых каторжников! Нас бы бояться надо, а нас не бояться.

Слова были на удивление верные, потому и запомнился этот Ткаченко. Звали его Григорием.

Которую весну подряд говорили в российских деревнях про то, что за Волгой в даях дальних есть земли немеренные, вольные, которыми никто не пользуется, ибо

нет поблизости мужиков, которые одни могут землю пахать да хлебушко добывать. Объясняли бывалые люди, что на этих землях давно когда-то жили при хане мухтарском либо бухтарском народцы-нехристи, но теперь ушли за реку Дарью.

И в Мироновке слухи о вольных землях бередили каждого. Особенно часто разговоры про возможное счастье вел Григорий Ткаченко, у которого было двое детей — Ванька, Варька — да больная, слабая и добрая ко всем жена Лизавета. Весной Григорий выходил за околицу, где пролегалла главная дорога на восток, завистливо провожал переселенческие обозы, иногда решался спросить что-либо, выведать тайное направление. Знали люди, да молчали. За свои кровные ходокон направляли, а эти бесплатно хотят выведать, в пути обскачут и займут все места... А Григорий не мог удержаться:

— Куда?..

Кто ж захочет отвечать на такой вопрос. Примета плохая: закудыкал, простофиля! Отвечали зло и с насмешкой:

— За кудыкину гору в мохнатую нору.

Впрочем, на вежливые, подходчивые слова иногда отвечали чуть щедрее, но тоже коротко: как ни много земли, а на всех-то не хватит. Вон какие голодные глаза!

Ткаченко сам вызвался пойти выведчиком и еще двоих уговорил с собой. Выбирать не из кого, те, кто покрепче был, поосновательней, из дому не хотели отлучаться, а с Ткаченко пошли не самые толковые да осторожные. Они еще с дороги, до Оренбурга не дойдя, по рассказам в кабаках да трактирах хотели отписать на родину про новые места. Ткаченко еле уговорил их самих повидать, про что писать будут. Ведь не только смотреть надобно, но и вымаливать участки у начальства. Одному начальство не поверит, а как одному тайные межи ставить?

В тот год Ткаченко с друзьями поставил тайные межи и прежде, чем к начальству идти, нашел грамотного человека и велел отписать своим на старину, чтобы ехали не мешкая. «Выбрали участок лучший: земля — голый чернозем, дуга богатейшие, лес рядом. Межи наделали так, чтоб никто не смог подделать». Потом направились к уездному, которого на месте не застали, но дело свое смело изложили статистику Семикрасову. Тот сперва показался им добрым, а потом обернулся злой змеей, потому что простое и ясное обратил в мороку и бессовестность.

Семен Семенович и впрямь хорошо встретил мужиков, а когда узнал, что они и межи поставили, и письмо отослали, то ужасно огорчился и стал объяснять, что все сделано неправильно, что дарственную на землю они не получают и никакого тайного указа на этот счет государь не подписывал.

Он говорил подробно, вначале вовсе не раздражаясь, полагая, что понять его не так уж трудно. Раза три повторял он, что земли, на которых ходоки поставили свои секретные межи, принадлежат по закону киргизам, что киргизы на этих землях зимуют, что участки переселенцам нарезаны в другом месте, да уж там нынче все распределено... Семен Семенович видел, что просители навеселе, но вопрос казался ясным настолько, что не то что слегка пьяные, но вовсе глупые обязаны были бы понять.

Стоя внизу у крыльца и глядя вверх на Семикрасова серыми ясными глазами, Ткаченко сказал:

— Мы дело знаем, не дураки. Много нас дурачили, теперь закона такого нет, чтобы неправду говорить. Мы первые межи сделали, — значит, дарственную нам пожалуйте. Новых писем писать не будем, а чтоб вы наше старое не перехватили, я за обществом сам поеду. Так что готовьтесь!



Товарищей Григорий оставил межи сторожить, а сам поехал в Мироновку. Собрались на диво быстро и легко. Даже старухи и те не больно плакали. На станции дали кому следует взятку, получили бумагу и погрузились на поезд, который назывался товарно-пассажирским, состоял из десяти товарных вагонов и десяти открытых платформ. Сухим теплым вечером прибыли в Оренбург, выгрузились на краю города и заночевали возле железной дороги.

За грязным мясным рынком, за серым от пыли кладбищем была пустошь. Все вытоптано, все загажено. По одному навозу конскому и человеческому видно, что людей здесь перебывали многие тысячи. Составив повозки в круг, как умные люди учили, мионовцы выпрягли лошадей, и Григорий Ткаченко, верховодивший всеми, повел мужиков на базар, чтобы с новыми местами ознакомиться, хлеба купить и овса, а больше — чтоб убедить общество, что не ошиблось оно, доверившись Григорию.

Ткаченко лишнего не говорил: пусть сами без указки удивляются иной жизни. Пусть поймут, какие радости ждут их по его милости.

Как не удивиться, коли за черный хлеб здесь просят четыре копейки за фунт, а за фунт белого, пшеничного, пышного, румяного, — всего две копейки.

Новая жизнь и раздольный город Оренбург мужикам понравились. Накупив всего, не пожалев денег и на сладости детям, пропустив по стаканчику хлебного вина — в здешних местах рожь для одних винокуров и сеют, — мионовцы возвращались на пустошь.

Ткаченко, которого в Оренбурге кто-то из мужиков впервые назвал по отчеству Григорием Федоровичем, учил мужиков:

— Деньгами не трясите, не размахивайте, поскромней будьте. Нам они еще ох как понадобятся. Детишек

бы сейчас побираться послать надо. Дальше православных не будет, христовым именем не подадут.

Когда возвращались, на самом подходе к табору увидели чуть в стороне на выгоне городском пламя красное, дым и толпу народа. От мироновских телег туда тоже бежали, впереди других Ванька Ткаченко, десятилетний сын Григория.

Мужики кинулись к толпе и содрогнулись, когда увидели, зачем люди собрались. В Курской губернии конокрадов кольями до смерти забивали в азарте да злости, а оренбургские позлей были: они жгли человека. Он уже мертв был, большая скирда прошлогодней соломы догорала, мало осталось от того, что было человеком.

— Конокрада жгем! — объяснили мироновцам. — Поймали и жгем. У нас от них спасу нет. Это башкирцы или киргизы. Осмелели больно. Жгем теперь. Степь шутить не любит.

Все кончено было, когда прикатил на бричке урядник, он долго орал, топал ногами, грозился всех услатить на каторгу за самосуд. Местные, еще издали завидя урядника, разошлись, а досталось больше всего мироновцам. Ваня Ткаченко будто и не слышал, что происходило вокруг: он стоял ближе всех к страшному черному пятну, к обгорелому человеческому телу.

Хмель у мужиков вылетел, как дым соломенный. Не так проста здесь жизнь, коли звереют люди до такого страха. Решили еще присмотреться денек и пойти к начальству переселенческому, чтобы оформить бумаги как следует. Степь шутить, видно, не любит.

Ткаченко и старики на другое утро собрались в канцелярию, но прежде Григорий Федорович деловито распорядился, чтобы жена Лизавета надела на Ваньку и Варьку лохмотья, рожи им сажей вымазала, и сам объяснил ребятам, какими улицами ходить, какими словами просить милостыню и куски. Лизавета должна была незамет-

но идти следом, чтобы ребят не обидели, а при случае заходить в лавки, приценяться к холсту и ситцу. Если дешево углядит, пусть покупает для себя и на семью. Дальше в степи этот товар дешевле не будет. Ткаченко объяснял домашним и посторонним, что Оренбург — это конец одной жизни и начало другой. Вчера погуляли, одну жизнь проводили. Сегодня другую начинаем.

Это Ткаченко верно сказал. Вечером мужики вернулись удрученные. В переселенческой конторе их долго ругали за глупость, за самоуправство, грозились назад отправить.

Очень напугался Ткаченко, когда разглядел среди чиновников того, который в Кустанае на него топал и велел письмо с почты обратно взять. Здесь, однако, кустанайский крикун молчал. Только головой качал, когда слушал разговоры. Ткаченко решил, что господин этот хитрит, шепнул мужикам, что взятку надо готовить большую. Предположение это стало подтверждаться, когда кустанаец даже вступился за мироновцев, сказав:

— Да что уж! Назад же они только в кандалах пойдут. Надо оформлять...

В последний раз Семикрасов видел Григория Ткаченко через полтора года, когда искал себе лошадей для поездки к Аральскому морю. Нужны были хорошие лошади и человек, знающий степь. Стояли морозы, и в холодном трактире на краю Кустаная было сравнительно пусто: два почтаря подкреплялись перед дорогой в Троицк, а в углу на лавке спал худой оборванец.

Хозяин трактира, увидев чиновника, стал гнать спящего. Тот не возразил, а с пьяной послушностью вышел на улицу, но вскоре вернулся за шапкой. Вот тогда Семен Семенович узнал в нем вожака мироновских мужиков.

Глава седьмая

Александр Григорьевич Безсонов, кажется, ждал от Алтынсарина одних неприятностей и только формально предложил остановиться у него.

— Если пожелаете, у меня можно... Я вам свой кабинет освобожу. Если пожелаете.

— Благодарю, у меня здесь родичи. Неловко обходить их. Знаете наш ритуал гостеприимства.

Отказ прозвучал убедительно, и сразу приступили к делам. Алтынсарин начал с проверки финансов. Тут все было в полном порядке. Во второй половине дня смотрели учебные пособия, классы, листали ученические тетради. Часов в пять сели обедать.

Безсонов — крепкий, широкий в кости, со строгими чертами лица — чувствовал себя уверенно, первый заговорил о неприятном:

— Если человек верит во что-то, если он свято верит, то и поступать должен сообразно своей вере, а не наперекор ей. Таково правило моей жизни, кое я считаю обязательным и для других. Лучший педагог, кто любыми правдами и неправдами внушает своим ученикам то, во что сам верит. Верю я, что дважды два — четыре, это и должен внушать другим.

— А если вы, к примеру, придерживаетесь иной точки зрения в арифметике? — спросил гость. — Если вы полагаете, что дважды два — семь, даже твердо уверены, что дважды два семь и только в крайнем случае — шесть с половиной, как вы тогда поступаете? Тоже правдами и неправдами будете внушать ученикам свою таблицу умножения?

— Бесспорно! Только так, господин инспектор! В этом я вижу свой долг.

Разговор сразу приобрел острый оборот, этого хотел

Безсонов. Алтынсарин не уклонился. Оба знали, что скрывается за примерами из арифметики.

— А если вы ошибаетесь?

— Так я же верю, что нет ошибки.

— А если?

— Никаких «если». Учитель не должен сомневаться, иначе начнут сомневаться ученики.

— Но ведь с сомнений начинается познание. Все подвергай сомнению, говорили мудрые.

Они обедали вдвоем, прислуживал школьный повар. Еда была вкусная, щи горячие, котлеты большие, легкие, упругие.

Они ели и спорили. Аппетит у обоих был хороший, натянутость исчезла. Все ясно. Они ни в чем не сойдутся, ни в чем друг другу не уступят. Это хорошо, когда война объявлена.

— Дух сомнения губителен для каждой нации,— продолжал спор Безсонов.— Киргизы погибнут, если тлетворный дух современной философии проникнет в степи. В том и состоит опасность европейского образования инородцев, что их неокрепшие умы легко могут быть развращены сомнительным образом мыслей. Знаете ли вы, господин инспектор, что даже в преподавании слова божия я ввел некоторые ограничения... Вы собираетесь говорить со мной о насильном моем методе, о том, что я заставляю учеников слушать беседы о Христе? Я сам расскажу все. Мне нечего скрывать от вас. Я считаю, что вдалбливать слово божие нужно, как и арифметику, силой. Важна роль привычки, механического исполнения вложенных с детства правил. Да, я ввел телесные наказания для не выучивших урок закона божьего... Если бы я был мусульманином, как вы, я бы так же строго боролся за Магомета.

— Тогда бы вы верили в Магомета?

— Тогда бы верил!

— А сейчас вы свято веруете в Христа?

— Не в этом дело, господин Алтынсарин. Я верю в необходимость строгой и единообразной системы взглядов. Только общая система взглядов создаст единство государства.

Алтынсарин умел слушать собеседника, а сейчас ему было особенно интересно. Не требовалось, кажется, говорить с учениками, выяснять, что правда в жалобах, что выдумка. Безсонов ничего не скрывал. Он признал, что силой хочет навязать ученикам православие, что применяет для этой цели телесные наказания и так же будет поступать впредь.

Нет, решил Алтынсарин, беседовать с учениками не следует. Плохо, когда жалобы детей долго остаются без ответа, разрушается вера в справедливость.

— Александр Григорьевич, — инспектор хотел еще раз проверить, не ошибается ли он относительно Безсонова, — значит, вы считаете, что единообразие мыслей есть конечная цель образования?

Безсонов быстро глянул на гостя:

— Да! Для инородцев — особенно.

— Вы всегда так думали?

— Всегда, но в последнее время особенно. Вы меня простите за прямоту, но ведь я знаю, что вы всему этому противник. Вы даже с цареубийцей знали и отца его публично одобряете.

Алтынсарин опешил. Это было нелепо и неожиданно. Не сразу догадался он, в чем тут дело, но и поняв, виду не показал.

— Александр Григорьевич, вы забылись. Такой ревнитель субординации должен помнить, что перед ним коллежский советник, представленный уже к статскому, что я начальник ваш и старше вас годами. Очень сожалею, что дал повод к столь фамильярному и, позвольте сказать, беспардонному вашему поведению.

В сенях школы инспектора ждал Досмагамбет. Он мгновенно надел на барина галоши и шубу, поддержал за локоть, когда Алтынсарин спускался по обледененным ступенькам. У Доса было хорошее настроение, потому что он чувствовал хорошее настроение хозяина. Он не ошибался. Алтынсарин был рад происшедшему. Плохо, когда нет открытой ссоры; получается, что все делаешь исподтишка. Еще он думал про то, как верно писатель Щедрин определял, что Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем... И тут вы найдете просветителей и просвещаемых, услышите крики «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки.

Прежде чем сесть за письмо, Алтынсарин долго ходил из угла в угол. Все было до чрезвычайности сложно и тонко. Конечно, инспектор татарских, башкирских и киргизских школ Оренбургского учебного округа Василий Владимирович Катаринский должен понять его правильно, но сумеет ли он воспользоваться таким письмом, сможет ли построить на нем доказательства для отрешения Безсонова от должности.

«Многоуважаемый Василий Владимирович!

Прискорбную весть приходится Вам сообщить. Наш Безсонов Александр Григорьевич спятил, кажется, с ума. Иначе не могу никак объяснить себе его решительно бестактные отношения к своим учащимся. Дело, оказывается, в том, что он начал в 3-м и 4-м классах учительской школы проповедовать Евангелие и Заповеди и, несмотря на нежелание учеников этих классов, продолжал эту затею в продолжение целого месяца, результатом чего вышли, с одной стороны, злобные, дерзкие отношения с учащимися, а с другой — отказ от учения. Дерзости первого, к прискорбию, дошли до обзывания своих питомцев мошенниками и проч.»

Господи! До чего похожи все эти ревнители безазбучного просвещения, благодетели и сеятели абстрактной лебеды! Вот и в Актюбинске так было, только усердствовал не православный, а мусульманский ревнитель — известный в степи мулла Хуббинияз Аблаев, удивительный тип обухарившегося казаха.

Нет, в бескорыстный фанатизм Алтынсарин верил не больше, чем в коблукраство из любви к быстрой езде. Он перечитал начало письма, огорчился, что в одной фразе написал «продолжал» и «в продолжение», однако исправлять не стал. Если хватит времени и сил, потом перебежит все письмо, а так нечего мараить.

Насилием над детскими душами никого нынче не удивишь, рукоприкладство не поощряется, но подразумевается в качестве меры необходимой. Нет, в письмо надо указать на возможность того, что история выйдет из стен школы, может быть, станет достоянием печати. Этого даже высшее начальство боится больше всего.

«...Не дай бог, чтобы огласились затей Александра Григорьевича между киргизами, к чему почин уже и есть в Орске со стороны татар,— писал далее Алтынсарин.— Спасибо еще ученикам 3 и 4 классов, что они тщательно скрывают от всех упомянутые проповеди Александра Григорьевича, боясь, чтобы родители не вызвали их назад и не прекратили путь к образованию. И таким путем ведь можно испортить вконец не только будущность учительской школы, но и всех вообще русско-киргизских школ».

Алтынсарин подумал, что мулла Асим, ранее многих осведомленный о скандале в Орске, вовсю этим пользуется.

«...Дело, по мнению моему, настолько важно, что медлить, Василий Владимирович, нельзя. Мне говорили два влиятельных киргиза в Орске, что намереваются подать жалобу губернатору и министру. Может подняться ужас-

ный скандал, могущий навеки повредить русско-киргизскому образованию. Устройте как-нибудь так, чтобы перевести (и как можно скорее) Александра Григорьевича куда-либо, и назначьте на его место другого. Иначе боюсь, что этот друг наш, быть может желая и добра киргизам, своею вечной бестактностью, но (извините за выражение), говоря прямо, просто сумасшествием насолит всем нам так, что горько будет после расклебывать».

Последние строчки Алтынсарин перечитал. Получилось запальчиво, даже в чем-то противоречиво. И слишком резко. Исправлять написанное опять не хотелось, рука писала дальше. Порой она сама знает, как лучше. Вот еще важный абзац она написала. Так полегче будет.

«...В сущности, едва ли не будете согласны и Вы с тем, что он отличный преподаватель для русского учебного заведения...— Надо же как-то подсластить пилюлю и подсказать начальству приемлемую мотивировку.— Но едва ли может быть хорошим администратором и инспектором инородческого населения, где на каждом шагу нужны такт и осмотрительность...»

У Безсонова, конечно, найдутся заступники. Высокие и высочайшие даже. Ведь те верноподданнические ~~вырши~~ учеников Безсонов послал в Петербург самому министру народного просвещения. А тот телеграммой сообщил, что всеподданнейше изложил содержание стихов в своем докладе государю императору, который соизволил собственноручно начертать слово «благодарить». Глупость, бред, дешевый трюк! Все так, но справиться с Безсоновым будет очень сложно. По образу мыслей и характеру этот держиморда как нельзя более отвечает требованиям начальства. Безсонов хвастал тем, что старается быть неотлучно при учениках, сам выводит их прогуливаться по городу и за город, особенно в ненастную, сырую и холодную погоду. Он, видите ли, считает это полезным для детей степи. За одно это ученики-подростки могли бы нена-

видеть его, но Безсонов ко всему еще во время этих тюремных прогулок проводит правоучительные беседы. Подобные же беседы устраивает во время чаепития, обеда и ужина, не оставляя детей в покое ни на минуту. Он сам присутствует в спальнях перед сном и часто читает вслух ученикам поучительные истории и басни...

Алтынсарин поставил дату и заклеил письмо, чтобы утром не перечитывать. Чтобы не передумать. Он лег в постель взволнованный, взял какую-то книгу, но читать не хотелось, решил просто полежать в темноте. Он думал, что долго не заснет, как это часто бывало, когда сильно возбудишься, но вдруг почувствовал, что волнение уже улеглось и глаза закрываются. Будь что будет, а дело сделано!

«А зачем сюда ездит Новожилкин? — подумалось еще. — Ведь не только по дружбе с Безсоновым ротмистр зачастил в Орск».

Про школу в Орске и про самого Безсонова в степи говорили. Смаил Бектасов, приезжая к отцу летом или на рождественские каникулы и встречаясь со сверстниками, рассказывал о мучениях и обидах, но и хвастал тем, какое будущее обещает своим любимцам господин инспектор школы, мол, лучшие ученики смогут стать чиновниками, офицерами. У инспектора связи огромные, ему в Петербурге сам царь верит.

Амангельды эти рассказы Смаила не нравились, он бы мог и не стерпеть обид... Нет, Амангельды хотел бы учиться у такого человека, как сам Алтынсарин. Не в Орске, а в Кустанае. Особенно захотелось ему этого, когда отец Зулихи неожиданно для всех в ауле увез ее в Кустанай. Увез к тетке и объяснил, что там она будет учиться; учителя наняли, чтобы ходил в дом, денег на это теперь хватало.

Сразу после отъезда Зулихи распространился слух, что дело не только в учебе: Зулиха, как поняли аульчане, сосватана за какого-то видного и богатого человека. Это было ударом. Конечно, никто не отдал бы девочку за Амангельды, за мальчишку. Хоть и дразнили их женихом и невестой, но сговора на этот счет не было, подарков за нее не брали. Да и какой калым могли бы дать за такую красивую и богатую невесту Балкы и Калампыр.

И все-таки это было как гром среди ясного неба. Потом стало известно про жениха. Он был заметным человеком, с большой родней. Служил в уезде, было ему около тридцати, но Зулиха шла к нему первой женой. То ли вдов он был, то ли не женился почему-то.

Амангельды переживал эти новости молча, рассказы про Зулиху слушал вроде бы краем уха, однако только теперь понял, что потерял. Зулиха снилась ему каждую ночь. Иногда он видел ее смеющуюся, иногда плачущую, но чаще — на коне. Амангельды догонял ее в зарослях возле реки... Это были те самые камыши, возле которых мальчик когда-то участвовал в избиении молодых волков. Воспоминания перемешивались со сновидениями, в этом было что-то особенно мучительное.

...Бейшара тогда еще только собирался жениться на Зейнеп, хвастал калымом, обещал всем, что поправит дела, разбогатеет и станет вровень с Яйцеголовым. Это Бейшара, которого еще звали все Кудайбергенom, хлопотал о той осенней охоте.

— Ненавижу волков, они сделали меня нищим, разогнали последний табун моего отца. Только скелеты находили мы в ту зиму... Я и теперь, когда вижу скелет лошади, знаю, что это из моего табуна. Осенью волков надо бить. Летом волки не так опасны, летние волки осторожны, потому что боятся ран. Волки знают, что летние раны нагнаиваются, в летних чаще заводятся черви. Червей этих и боятся волки больше всего.

Рассуждения Бейшары запомнились Амангельды, хотя дядя Балкы объяснял это проще: летом у волка много пищи, зачем рисковать, зачем приближаться к тому, что принадлежит людям?

Холодным октябрьским утром мужчины нескольких аулов собрались возле камышей у реки, куда к этому времени перешли из своих степных логовищ волчьи стаи. Говорили, что там теперь сотня волков. Или три сотни.

Ветер дул холодный и ровный. Он дул с севера. С запада была река, а вокруг камышовых зарослей встали охотники с ружьями, собаками, пиками, кинжалами и просто дубинами.

По знаку Кенжебая камыш подожгли одновременно в нескольких местах. Сначала интересно было смотреть, как бегут навстречу друг другу и соединяются вдаль дымы, как становятся они черной качающейся стеной, под которой бушует рыжее пламя. Как порох, горит сухой камыш, иногда языки пламени вырывались высоко и пепел уходил в низкие облака.

Амангельды стоял в цепи взрослых охотников рядом со старшим братом. У того в руках была пика, у Амангельды — железная палка с утолщением на конце — соил. Прискакал дядя Балкы, он был среди тех, кто поджигал камыши. Конь под ним тяжело дышал, весь в мыле: из байского табуна был конь, дядя его не щадил.

— Сейчас они там, в середине! Они в кучу собрались. Им страшно! Ох, ребятки, не хотел бы я быть на их месте. В сердце — холод, снаружи жар подступает, глаза от дыма слезятся, дышать совсем нечем... Так им и надо!

Когда огонь охватил всю середину камышовых зарослей, волки выбежали прямо на охотников. Они бежали нерешительно, много медленней, чем они могут бегать за добычей, много медленней, чем нужно спастись от опасности: они знали, что идут на смерть, и в спасение, наверно, верилось плохо.

Те, у кого были ружья, стали стрелять, потом по команде спустили собак. Казахская степная собака обычно легко вступает с волком в единоборство, но тут легкость победы была ужасной. Собаки рвали волков, будто были они не волки, а овцы в волчьих шкурах. До того это было странно, что Амангельды хотелось зажмуриться. Со стыдом подумал он про себя: «Наверно, я не мужчина, наверно, я один на всю степь, кому жалко волков».

Избиение продолжалось. Собаки пировали победу, они рвали волков и душили, охотники не стреляли больше, а кололи хищников пиками, кто-то из джигитов работал огромным кинжалом и весь с головы до ног был в волчьей крови.

С тех пор прошли годы, Амангельды часто видел большую охоту на волков, сам бывал участником, стоял с ружьем и стрелял в упор. Теперь на его счету был пяток матерых и целый выводок волчат.

Нельзя жалеть волков, каждый кочевник это знает; каждая лошадь, каждая собака, каждая коза и овца. Нельзя жалеть волков, но после отъезда Зулихи, Амангельды в снах своих жалел их до слез. Вот догоняет он Зулиху, и вдруг черный дым застилает ему все, трещит горящий камыш и нечем дышать. А дальше сразу началась та кровавая сцена, то осеннее небо, кровь на земле, люди в крови, собаки... Странно, что в этих повторяющихся сновидениях Амангельды видел себя то охотником, добывающим раненого молодого волка, то волком, которого без жалости добывает мальчишка. Но самое странное, что всегда ему было жалко волка. И тогда, когда сам был волком, и тогда, когда сам волка добывал.

А Зулиха смеялась в этих снах. Неизменно смеялась. Черный дым окутывал ее, а она смеялась, как умела смеяться только она. И над волком смеялась, и над мальчиком, который так неловко его добывал.

Амангельды никому не рассказывал про эти сны, хотя младшие братья, спавшие рядом с ним на одной кошме, приставали с расспросами: почему он кричал во сне, почему плакал?..

Мать жалела сына, дядя Балкы то хмурился, то неуклюже подшучивал.

Однажды вечером он усадил Амангельды рядом с собой и они долго-долго пили чай, говорили на равных. Дядя рассказывал о себе, о своем детстве, о былых временах и героях прошлых лет, а потом вдруг без видимой связи с предыдущим сказал, резко поставив на палас пиаду:

— Знаешь, сынок, что мы с матерью решили: жениться тебе рано, учиться поздно. Иди-ка ты в батраки. Я уже договорился.

В ту ночь Амангельды не снились волки в пылающих зарослях. И Зулиха не снилась. Он вообще не спал.

Из газет нынче на столе ротмистра Новожилкина только два номера «Московских ведомостей». Других, видимо, не поступало. Вообще почта работает из рук вон плохо. Это теперь, когда дороги содержатся в порядке и погода отличная. А что будет в апреле?

Новожилкин с неприязнью читал большие черные шрифты объявлений — одни инородцы и иностранцы:

«ЗЕРНОСУШИЛКИ, ИЗОБРЕТЕНИЕ В. АККЕРМАНА...»

Глицериновая ПУДРА — новое изобретение, освобождающее кожу, БРОКАРЬ и К^о.

Магазин К. Ф. АРОНШТАЙНЪ существует с 1874 года.

Московская частная опера. Сегодня с участием **Г. ФИГНЕРА «Травиата»...**

10-е симфоническое собрание, посвященное памяти Н. Г. РУБИНШТЕЙНА, в коем под управлением М. К. ЭРДМАННСДЭРФЕРА...»

То ли глаз так настроен, но выхватывает с листа только это и только так. Вот ведь и русские имена есть на тех страницах, тоже крупным отпечатаны, но в траурных рамках.

Софья Сергеевна БОТКИНА,
Илья Васильевич ПАТРИКЕЕВ,
Федор Васильевич ОМИРОВ.
Некрологи.

Грустно! Грустно это сопоставление имен.

На второй странице — будто в дополнение ко всему — статья по прибалтийскому вопросу. Весьма интересное наблюдение сделано газетчиками: враждебные России элементы находят деятельное сочувствие в русской интеллигенции, в доброй половине всего чиновничества. Газета говорит, что русское население Риги состоит из трех частей: простонародья, онемечившихся «русских интеллигентов» (конечно, из господ либералов) и, наконец, небольшой горсти настоящих русских людей...

Новожилкин видел в газетной статье подтверждение своих давних мыслей. Значит, не только на востоке империи. И на западе точно так. Это в природе «интеллигенции», это — наследственная болезнь, вроде сифилиса.

Далее в заметке говорилось: «То, что такую презренную роль союзников враждебных всему русскому инородцев играют какие-то онемечившиеся русские купцы, мы можем еще понять, если не объяснить. Но что сказать об этой половине русского чиновничества, сочувствующего врагам русской же государственности!»

В столовой задвигали стульями. Жена пришла с сыном. Слабые на вид существа, а шум от них огромный. Скрип какой-то особенный, звон, по стеклу будто нарочно скребут железом.

Газета не сообщила ничего нового, она лишь подтвердила то, о чем ротмистр Новожилкин думал по долгу службы и склонности душевной.

Новожилкин достал из сейфа голубую папку с черными завязками и сел за отчет. Это был даже не отчет, а подробное и приватное письмо в Петербург в министерство внутренних дел, где ротмистра давно отметили как чиновника толкового и проникательного. Нужно сказать, что был в министерстве человек, который охотно протезировал Новожилкину, ибо приходился ротмистру двоюродным дядей.

«Ваше превосходительство! Дорогой и высокочтимый дядя!

Ваша исключительная прозорливость позволяет Вам видеть здешних людей насквозь даже из далекого Петербурга. Вы смогли узреть сами и указать мне то, что я и вблизи разглядеть не сумел. Да что я! Даже чиновники умнее и опытнее меня в Оренбурге не видят и не хотят видеть того, о чем Вы предупреждали. (Я имею в виду прежде всего статского советника Василия Владимировича Катаринского.)

Смыкание, о котором Вы предупреждали меня, происходит точно по Вашему пророчеству. С одной стороны, смыкаются низы, голытьба, смыкаются земледельцы русские и скотоводы-киргизы. Они смыкаются, забывая все, что разъединяло их прежде. Нравственно необходимый и политически разумный национальный антагонизм не находит места в буднях хозяйственной жизни. Споры и свары меж туземцами и поселенцами возникают крайне редко, значительно реже, чем злобные недоразумения и драки с убийствами внутри каждой из этих групп. Религиозные различия также имеют менее значения, нежели ожидалось. Тут опасную роль против своей, вероятно, воли играют наши миссионеры. Они проповедуют среди

кочевников мысль, что все люди — братья во Христе, а Христос — это пророк Иса, чтимый в Коране.

Мудрая Ваша мысль «разделяй и властвуй» не может быть исполнена, если кочевникам внушают такие идеи. В этом деле мне кажется более полезной миссионерская деятельность мусульман, которые весь упор делают на различие меж православными и мусульманами, а не на сходство...»

Ротмистр подошел к окну. С крыш капало, колея посреди улицы просела и почернела. Прекрасное утро! Как хорошо дышится, как хорошо пишется. Новожилкин любил весну. Вот вышла жена с сыном. Куда это они? Вспомнил — к портному.

«К глубочайшему моему прискорбию, мнение скромного жандармского офицера не принимается во внимание чинами гражданских ведомств. Я имел смелость неоднократно подчеркивать тщательно скрываемую политическую неблагонадежность инспектора киргизских школ г-на Ибрагима Алтынсарина еще в донесениях из г. Тургая и совсем недавно в связи с представлением его к чину статского советника. Не кощунство ли, что киргиз будет иметь пятый класс табели о рангах? Говорят, что граф Дмитрий Андреевич благоволит к нему. Проверьте, любезный и высокочтимый дядюшка, так ли это, не сам ли Алтынсарин распускает подобные слухи. Вскоре после раскрытия злодеяния, готовящегося первого марта 1887 года против священной особы государя императора, я писал по инстанции, что Алтынсарин сам говорил в моем присутствии, что знаком был с отцом цареубийцы Александра Ульянова Ильей Ульяновым и отзывался о последнем не только без должного осуждения, но и весьма лестно.

За последнее время в наших краях все больше опасности представляет увеличение количества политических ссыльных и их ближайших родственников. Они селятся

семьями, и каждая такая семья — рассадник злонамеренных речей и мыслей. В качестве примера, любезный дядюшка, могу привести семью Токаревых, коя состоит из трех мужчин и одной женщины. Опишу мужчин. Старший, Токарев Алексей Владимирович, дворянин, не копчил курса в Петербургском университете и отбывал каторгу и ссылку за распространение пагубных идей, после чего служил в солдатах и вышел в отставку прапорщиком. Под его пагубным влиянием выросли двое племянников — дети умершего от чахотки брата. Старший племянник, Александр, — механик по сельскохозяйственным машинам, младший, Николай, исключенный из Московского университета, служит ныне письмоводителем в канцелярии уездного пачальника. Семейство Токаревых ведет себя крайне осторожно, но держит и дает для прочтения желающим книги, кои каждая в отдельности выглядят безобидно, а вместе образуют определенное и вредоносное направление. Имеется там также множество книг на иностранных языках, кои наш агент не знает и потому названий авторов привести не может.

С семейством Токаревых в последнее время сблизился г-н Ибрагим Алтынсарин и на мой прямой вопрос об этом ответил, что каждый образованный и порядочный русский человек — клад для его бедного неграмотного народа. На слове *порядочный* г-н Алтынсарин сделал ударение...»

Сведения о семье Токаревых поступали от сожительницы Голосьянкина. Ротмистр вспомнил ее и усмехнулся довольно: верно заметил отец Борис насчет ее собачьего взгляда снизу вверх, как из подворотни. Очень точно определил миссионер — не поймешь, куснуть хочет или колбаски просит. Не зря говорят, что порочность больше всего и соблазняет, чуть не попал в ловушку, когда встречался с Людмилой тет-а-тет. Голосьянкину не позавидуешь. Ротмистр легко представил себя на месте портного. В конце монцов у них много общего, они в одном пример-

по возрасту и воспитывались в кадетских корпусах: Голосянкин — в Тифлисском, Новожилкин — в Нижегородском графа Аракчеева.

В последний свой визит к дядюшке в министерство внутренних дел ротмистр поинтересовался личностью загодочного портного, и дядя кое-что приоткрыл.

Петр Голосянкин, еще будучи в кадетском корпусе, связался с какими-то подозрительными молодыми людьми, читал и давал читать товарищам книги и книжонки предосудительного содержания. Это было замечено офицерами-воспитателями, личная переписка кадета подверглась изучению. О некоторых корреспондентах навели справки и натолкнулись на обстоятельства крайне неприятные. Оказалось, что отец кадета в чине подпоручика служил надзирателем в казематах Петропавловской крепости и умер давно, а вдова вышла замуж за сомнительного коммерсанта, с которым вместе содержала мебельную лавку, а один из домов сделала просто публичным.

Пока все это выяснялось окончательно, мудрый жандармский полковник Иванов побеседовал с юношей, наметнул на темные стороны биографии, на промысел, кормящий мать и отчима, похвалил ум, талант, широту взглядов и развернул картину службы по министерству внутренних дел. Не раз встречались полковник и юноша, подолгу беседовали, пили чай, однажды и херес пили. В результате Петр дал согласие сообщать наиболее интересные свои наблюдения (не факты — это было бы доношением), а наблюдения и размышления в виде писем за подписью «Черномор». Это имя полковник сам подсказал кадету, ибо предположил в кадете любовь к высокой поэзии.

Полковник был опытным организатором провокаций и знал, что крамольники, соглашаясь сотрудничать с полицией, в глубине души надеются перехитрить власть, потому так легко идут в силки.

Первые донесения Черномора подтвердили, что и он такой. Однако полковник верил, что свое в конце концов получит. К сожалению, не все зависит от жандармов. Окончательное выяснение происхождения кадета Голосянкина привело к выводам такого рода, что оставить его в стенах корпуса было невозможно. Единственное, что мог сделать жандармский полковник для молодого человека, — это вывести его из корпуса без огласки. Потом по прошествии времени он же и помог ему обосноваться в столице.

Отчим, имени которого Голосянкин никому никогда не называл, дал сыну денег на собственное дело. Бывший кадет открыл магазин готового платья и мастерскую, образованную на манер той, которую описал Чернышевский в знаменитом романе. Петр Голосянкин оказался способным к шитью модной одежды разных фасонов и мастеров обучал быстро.

У него можно было встретить самых разных людей, и все чувствовали себя свободно, говорили без оглядки. И сам Петр часто говорил очень смело. Исключения составляли те вечера, когда он знал, что в гардеробной, отгороженной от столовой тонкой оклеенной розовыми обоями дощатой стенкой, на кушетке лежит кто-то из сыщиков, а то и сам полковник.

Иванов считал особенно важным вникать в строй мыслей и фразеологию либералов, а для собирания фактов использовал другие каналы. Так он говорил Голосянкину, и тот верил полковнику.

Впрочем, он верил полковнику только на четверть и самое сокровенное скрывал. Ему казалось, что Иванов ничего не знает о его связи с видным деятелем и членом исполнительного комитета Дегаевым. И даже Дегаев не знал, что Голосянкин на каждого своего знакомого завел папку и лист за листом строит «дела». Бывший кадет верил, что нет в мире более верного способа быть в силе,

чем хорошо обоснованный шантаж. Было среди «дел» Голосянкина и «дело» Иванова. Не мог Голосянкин знать, что Дегаев — агент куда более высокого ранга, а все его «дела» сожительница Людмила аккуратно показывает полковнику Иванову.

Прочитав собственное «дело», полковник разгневался чрезвычайно, заставил Голосянкина рыдать и на коленях просить прощения. Во всем чистосердечно покаявшись, он уехал в Тургайскую область без обозначения срока. Ссылка окончательно вывела Голосянкина из-под подозрений, которые на его счет уже имелись среди либералов. Незадолго до истории с «делами» возник слух, что арест и высылка одного иностранца, не то немца, не то англичанина, — дело рук Голосянкина с Людмилой и будто в вину тому иностранцу ставятся разговоры, которые он вел у них дома. Сам портной и его сожительница опровергали это весьма определенно и виновником выставляли некоего Георгия Подурского, тоже бывшего кадета. Тот отрицал это, но вскоре повесился, чем все худшие подозрения подтвердил.

Высокопоставленный дядя сказал Новожилкину:

— Ни в коем случае не проболтайтесь. Если Голосянкин узнает, всех нас поубивает. Самолюбие бесовское... У них все бесовское. Это Федор Михайлович подметил неопровержимо.

«Бесов» Новожилкин штудировал усердно по прямому указанию начальства: роман Достоевского хотели сделать действенным средством для ограждения молодежи от влияния революционных развратителей. Пусть юнцы, мечтающие о свободе, равенстве и братстве, видящие в своих вождах подвижников и героев, взглянут на грязь их дел, на чудовищность их замыслов. В чинах полиции роман великого писателя должен был воспитывать и воспитывал чувство нравственного превосходства над теми, кого они ловили и карали.

Сначала Яйцеголовый посылал Амангельды подпаском в дальние урочища, зимой приучал пасти скот на тебеневках, натаскивал подростка, обещавшего скоро стать настоящим пастухом. Тут ведь не в возрасте дело, а в таланте и выносливости. В смелости еще.

Теперь у Амангельды свой кош — острокопечная, как чум, маленькая юрта, свой казан, свой табуи лошадей. Хорошие есть кони, очень хорошие.

Не беда, что все это свое не свое, зато нет никого, кто понукал бы и командовал. Хорошо стать настоящим табуищиком! Правда, в последнее время опять все чаще стал думать про учебу.

В отличие от других своих сверстников, начинавших учиться, но испугавшихся учителей, Амангельды знал, что бродившие по аулам наставники — люди случайные: он по глазам угадывал в них неудачников, большей частью алобных, наиверившихся в себе и потому все вымещающих на других. В этом отношении с муллой Асимом ему все-таки повезло: тот был незаурядной фигурой, потому, наверно, и перестал учительствовать, а стал только поучать.

В Орске у Бевсонова Амангельды учиться не хотел. Пусть Смаил Бектасов терпит, его отец заставляет.

Амангельды рассчитывал только на собственное упорство и — втайне ото всех — на инспектора. Это очень хорошо, что удалось передать ему поклон, что инспектор помнит его. Но главное — упорство. Когда смотришь на тебеющих лошадей, каждый раз удивляешься их упорству. Снег выше брюха, а они тонкими своими ногами пытаются его разгрести. Кажется, безнадежное дело, копыто не лопата, а все-таки за несколько часов табуи может очистить поле, пасется на нем, и похрустывают лошадки льдистой травой.

Впрочем, зиму лучше не вспоминать...

Нарочный прискакал внезапно. Это был хозяйский шу-рин, парень быстрый и деловой, к Амангельды он относился по-доброму.

— Собирай манатки и мотай в аул,— сказал он.— Мне велено подменить тебя. Там какой-то большой начальник приезжает, ты ему можешь понравиться. Давай!

Никакому большому начальнику, кроме Алтынсарина, он не мог понравиться, это ясно. Так думал Амангельды, когда увидел новенькую рессорную пролетку возле большой светло-серой, почти белой, юрты хозяина.

Близко туда он не стал подъезжать, остановился возле юрты, где жили другие батраки, соскочил на землю.

— Что за начальник? — кивнул он на пролетку.

— Большой,— ответил старый Тулеген.— Золотые пуговицы. Шапка с козырьком.

— Казах? — спросил Амангельды.

— Ты что? Какой может быть казах? Я говорю: большой начальник, русский начальник. Наверно, разрешит хозяину землю продавать или пахать разрешит.

«Зря гнал коня,— подумал Амангельды и тут же утешил себя: — А вдруг не зря? Вдруг это тот, кого посылал раньше инспектор? Только бривка слишком хорошая и суеты много».

— Скоро сурпу дадут,— сказал Тулеген.— Далеко не уходи. Если наш пахать начнет, нас запряжет, ему много людей будет нужно. Я сторожем пойду.

С каждым днем о продаже настибц переселенцам и о землепашестве в стени говорили больше. Амангельды это не интересовало. Он не имел и не мог иметь понятия о истинных трагических проблемах и перспективах, которые возникали в связи с переселенческой политикой царского правительства, обо всем том, что составляло заботу образованных русских специалистов, и Семена Семяковского в том числе. Откуда босоногому подростку в рваном чашане и косматой шапке из линючего корсачьего меха

было знать, что на его глазах происходит такое, что создает в степи не только новый уклад жизни и новые отношения между людьми, не только изменяет облик земли, но и саму землю.

Кликнули за сурпой. Амангельды получил большую деревянную миску, отошел в сторону, сел на плоский камень.

Сурпу не едят, а пьют. Пар от нее не шел, но бульон, заправленный овечьим сыром, был огненным под толстым слоем золотистого жира. Целый баран варился нынче в хозяйском котле. Конечно, неплохо бы и сурпе и мяса хоть кусочек. Но мясо разрезали в мелком деревянном корыте и унесли в юрту.

— Какой он на вид? — спросил Амангельды.

— Кто? — старый батрак уже управился с сурпой и как-то устал. Со стариками бывает: от еды у них сила не прибавляется, а убывает. — Кто «на вид»?

— Начальник на вид какой?

— Пуговицы золотые, — опять объяснил старик и показал на себе, где эти пуговицы пришиты. — И плечи золотые. Сам долгий, белый, без усов... А тут золото и тут золото.

Старик замолчал и прикрыл глаза, кажется, заснул с чашкой в руках.

На лугу возле аула паслось с десятков лошадей. Сразу выделились усталостью три, принадлежавшие русскому начальнику, выпряженные из его пролетки. Остальные были молодняк, в основном жеребцы.

— Это начальнику подарок, — пояснил старик. Он уже перестал спать и следил за взглядом Амангельды. — Сказали, суюнши надо начальнику.

Под видом суюнши давно уже прятали обычную в русском и казахском быту взятку.

Амангельды подумал, что его могут послать сопровождающим, гнать этих лошадей тому начальнику.

— Откуда начальник приехал? Из Тургая?

— Нет,— старик со значением поднял палец.— Из Кустаная.

Ну что ж, это кстати. Даже очень. Чтобы разведать все точно, Амангельды подошел к очагу, где копошились две жены Кенжебая; обе они были нелюбимыми, и обе ненавидели мужа за побои и унижения.

Амангельды спросил, не знают ли они, зачем его вызвали. Старшая жена сказала, что не знает, но велела никуда не отлучаться, потому что «сам» уже спрашивал.

Время тянулось медленно. В трех часах пути отсюда жила мать Амангельды, и он мог бы съездить навестить ее, однако ослушаться Кенжебая нечего было и думать.

Гостем Яйцеголового был ротмистр Новожилкин. Он редко выезжал в степь, а выехав, чувствовал себя полным хозяином всему и всем. В этом, с его точки зрения, состояла вся прелесть службы в туземном захолустье. Формальной целью его поездки в данном случае была проверка политического доноса, организованного несколькими баями, но он ничего и не хотел проверять, а лишь собирал дань, которую ему тащили без всяких просьб и намеков. И Амангельды был ему не нужен, пастуха вызвал сам Кенжебай, по своему разумению.

Ротмистр пил и ел. Впрочем, ел он не так много, и только самые лучшие куски. Когда хозяин понял, что гость скоро свалится в беспамятстве, он все-таки позвал мальчишку. Ему казалось важным, чтобы донос имел подтверждение. Давно уже хозяева степи использовали царскую администрацию для сведения личных счетов, давно тут наушничали друг на друга, но последний донос был на чиновников, один из которых был русским. Что будет, никто не знал, такой донос вполне мог навлечь беду.

Амангельды стоял в недоумении. Длиннолицый и бледный начальник сидел на атласных подушках без мундира. Рубашка его была в сальных пятнах.

— Вот,— показал на Амангельды Кенжебай.— Этот

тоже может подтвердить. Это хороший парень, храбрый, смелый, джигит настоящий.

Кенжебай говорил по-казахски для высокого гостя и для Амангельды одновременно. Больше для Амангельды, чтобы тот не робел.

— Скажи, сынок, приезжали чиновники? Зачем приезжали, что говорили? Говори, не бойся.

Амангельды молчал, он ждал чего угодно, но не этого.

— Говори, сынок, не бойся.

— Это твой сын? — спросил бледный длиннолицый.

— Нет, это настух.

— Хороший у тебя сын, — сказал ротмистр по-казахски с татарским акцентом. — Ты молодец, Кенжебай. А ведь мне говорили, что у тебя одни девки родятся.

Это было самое больное место, самое неприятное, что можно было сказать Яйцеголовому. Сыновей бог ему не посылал.

— Хороший сын, — твердил свое Новожилкин. — Очень хороший. Неужели такой же будет бандит, как ты. Как тебя зовут, парень?

— Амангельды.

— Ты знаешь, Амангельды, я киргизов люблю. У меня тоже есть сын... Ты знаешь, как твой отец живого человека в землю закопал?

Амангельды стоял у входа, смотрел на пьяного человека и не собирался отвечать на его вопросы.

— Расскажи начальнику, что говорили чиновники, когда приезжали к вам. Что говорили?

Кенжебай гнул свое, но и на его вопросы Амангельды не хотел отвечать.

— Садись к нам, — пригласил его ротмистр. — Садись, выпей. Это коньяк. Конь-як. Конь и еще як. Як — это бык такой косматый, в горах живет. Садись, привыкай. Ты сын славного бая, тебе надо научиться пить. Я вот не умею.

— Он слышал, он знает, господин, — настаивал на своем Кенжебай.

Амангельды понял одно: кто-то что-то донес начальникам. Или тех приезжих где-то обидели и теперь выясняют почему. В любом случае надо молчать.

Ротмистр протянул ему берцовую кость, лакомый кусок, но Кенжебай дал знак, и Амангельды вышел.

Он спустился с бугра к юрте батраков и только тут пожалел о большом куске сочного мяса. Пожалел и сплюнул.

Оставалась надежда на то, что хозяин заставит его гнать в Кустанай лошадей, подаренных начальнику. Однако наутро выяснилось, что начальник, протрезвев, лошадей брать отказался, сказал, что так много ему не надо.

— Золотом взял. Они любят золотом теперь...

Это стало известно от байских жен.

Глава восьмая

Уездный начальник вышел из-за стола навстречу Алтынсарину. Протянутую ему слабую руку крепко пожал двумя: подчеркнул, что казахский обычай ему знаком и что именно с Алтынсариним он здоровается по-казахски.

— Рад видеть вас молодым и здоровым. — Миллер и в самом деле отметил, что инспектор выглядит несколько лучше, чем месяц назад. — Уверен, что господин военный губернатор примет вас в числе первых, и не сомневаюсь, что ваши дела самые важные... У каждого дела самые важные, не правда ли?

Алтынсарин не сердился на долгие и неужные речи уездного, на то, что Миллер поминутно вскакивал и выбегал из кабинета, чтобы отдать какие-то пустяшные распоряжения по устройству дома, где остановится губернатор.

— Итак, я обещаю, что доложу о вас, милейший Иван Алексеевич. Не сомневайтесь.

На крыльце, уже простившись, Миллер спохватился.

— Батенька мой! Как это так, все о завтрашнем да о завтрашнем, а про сегодняшнее и забыл. Так рад вашему бравому виду, что и забыл про грустное. Граф Толстой скончался. Не слышали? Да, да! Никто не ждал от него. Нынче у нас панихида.

Миллер говорил быстро, прервать его было невозможно, и Алтынсарин только по каким-то особым интонациям уловил, что речь идет не о Льве Толстом.

— Значит, я первый, кто сообщил вам это пренеприятнейшее известие? Умер Дмитрий Андреевич. Покинул нас. Вы ведь знали его еще на посту министра народного просвещения.

Граф Дмитрий Андреевич Толстой, который прежде был министром народного просвещения, а в 1882 году занял более ему приличествующий пост министра внутренних дел и шефа жандармов, поныне оставался косвенным начальством Алтынсарина, ибо и на новом поприще не отрешился от руководства умами, состоял президентом императорской Академии наук. Именно в этом качестве опекал он орского держиморду Александра Григорьевича Безсонова. Именно поэтому Безсонов адресовался к нему. Впрочем, Алтынсарин случайно знал, что пишет Безсонов не на академию, а на министерство.

Обо всем этом Алтынсарин думал на панихиде и стыдился своих мыслей. Смерть министра не вызывала в нем мыслей грустных и высоких.

Тринадцать лет назад, узнав от Николая Ивановича Ильминского, что министр хочет видеть молодого кандидата на пост инспектора, Алтынсарин обрадовался и взволновался. Он всегда верил Ильминскому, верил и в то, что граф Толстой — человек выдающийся.

Алтынсарин хорошо помнил свою встречу с минист-

ром. Назначенная на полдень, она переносилась раза два и состоялась лишь вечером, когда граф вернулся с парадного обеда в Дворянском собрании, пребывав в сонливо-благодарном расположении духа и на представленного ему чиновника глядел снисходительно. Кажется, он испытывал даже род умиления оттого, что киргиз этот хотя раскос, скуласт и желт лицом, но «твоя-моя» не бормочет, предлогов в речи не опускает, говорит без акцента, надежных окончаний и родов не путает.

Министр даже в подпитии умел скрывать свои чувства, и, видимо, чревоуещанию он удивился бы не больше.

Алтынсарин министру понравился, министр Алтынсарину — нет.

Панихида наконец кончилась. Он двинулся домой. Солнце садилось, тени домов достигали середины улицы, а на солнечной стороне сидели на лавочках старухи и, щурясь, лузгали семечки.

— Иван Алексеевич, господин Алтынсарин, здравствуйте! — Николай Токарев догнал его на перекрестке. — Я и не знал, что вы в церкви. Выходит, и вас заставили, невзирая на вероисповедание.

Все хорошие молодые люди похожи друг на друга, подумалось Алтынсарину какой-то чужой мыслью, чужой интонацией. Молодые люди убеждены, что все вокруг только и ждут удобного момента, чтобы с ними согласиться.

— Какое лицемерие подобные обязательные панихиды! — Токарев, видимо, был уверен, что найдет понимание. — Причем очевидное лицемерие!

Даже в несдержанности этой было обаяние. Так и рвется все оценить, все расставить по местам.

— Интересно съездили? — спросил Алтынсарин.

— Весьма. Господин Койдосов и я, пожалуй, впервые увидели народ завтрашнего дня. Кстати, нашли того мальчика, который, по вашим рассказам, собирался стаг баксы. Кажется, планы его изменились.

Алтынсарин улыбнулся:

— В этом я не сомневался еще тогда. Я посоветовал ему стать батыром. Как насчет батырства?

— Батырачит у бая. Проходит школу классовых отношений. Приготовительный курс.— Токарев внимательно посмотрел на Алтынсарина: интересно, что тот думает о классовой борьбе. Николай Васильевич все больше увлекался Марксом и не мог удержаться от того, чтобы не говорить об этом со всеми, чьим мнением дорожил.

Оказалось, что Токарев и Койдосов без всякой подсказки Алтынсарина пришли к тем же мыслям, что и он. Делу образования мешает не только пехватка начальных школ, не только чрезвычайно низкий уровень преподавания, но и крайняя трудность продолжать образование. Каждая новая ступень создавала препятствия, почти непреодолимые. А чего стоит такое образование, которое кончается чтением простейших текстов и счетом в пределах четырех действий? Значительный процент из тех, кто в молодости научился читать, в зрелые годы вовсе становился неграмотным. Вместе с тем Токарев говорил об удивившей его тяге именно к русскому образованию.

— Этот несостоявшийся баксы Амангельды Удербает, например, сказал, что с удовольствием пошел бы учиться в русское училище,— говорил Токарев Алтынсарину.— Я спросил его, на кого он хочет учиться. Он объяснил, что хочет стать ветеринаром.

— Так и сказал? — оживился Алтынсарин.— Он знает это слово?

— Нет. Он сказал, что хочет научиться лечить животных, как русские врачи. Слово «ветеринар» я ему подсказал.

— Вот видите. Он учится не классовой борьбе, а сразу всей жизни. Молодые люди не выбирают так уж определенно, чему учиться. Он хотел стать баксы, он хотел стать батыром. Теперь хочет стать ветеринаром.

Оказывается, Алтынсарин не пропустил ни слова в начале беседы, просто искал случая для весомого ответа по существу. И Токареву, видимо, не надо спешить с возражениями. Они стояли возле бревенчатого домика в три окна на улице.

— Хотите чаю? — спросил Токарев и сразу отворил калитку. — Заходите, дядюшка рад будет.

За чаем разговор как-то переменил направление. Алексей Владимирович Токарев давно ждал Алтынсарина, чтобы прочитать ему свои переводы из Цицерона. Новый человек крайне нужен в качестве беспристрастного судьи, а такой человек, как инспектор киргизских школ, смог бы оценить не только стиль перевода, но и полезность этого труда для воспитания юношества.

Не спрашивая согласия гостя, вернее, сказав только: «Если позволите, я прочту вам отрывок», Алексей Владимирович надел очки и принялся читать по толстой тетради. Томик Цицерона лежал на подоконнике.

— «...природа человеческого духа проста и не содержит ничего лишнего, отличного от него и ненужного ему. Дух не может делиться на части, не может погибнуть или исчезнуть. Важным доказательством того, что люди многое узнают еще до своего рождения, служит то, что они еще в молодости при изучении сложных наук понимают трудные вещи так быстро, что кажется, будто они не узнают про все впервые, а вспоминают лишь то, что знали ранее».

Все, что касалось образования, занимало Алтынсарина сразу и полностью. Это ошибка, что дети столь многое узнают еще до рождения. Никто не родился с умением писать, читать или считать, но многие учатся этому быстро и тем успешнее, чем раньше начато образование. В стенных школах это особенно заметно, младшие по возрасту часто легко обгоняют старших, если учитель им понался хороший. Может, беда в том и заключается,

что запаздывали мы с первоначальным образованием.

Токареву-старшему было лестно внимание Алтынсарина. За окном стемнело, чтение закончилось, они сели возле самовара и стали говорить о значении сказанного древними, о врожденных знаниях и знаниях приобретенных, о том, на каком языке дети кочевников будут общаться к всемирной литературе.

— Когда мне сказали, что скончался граф Толстой и будет панихида, я так огорчился, что не смог понять: по писателю официальной панихиды никто устраивать не станет,— сказал Алтынсарин.— Странно живем мы, если авторитеты народные не всегда совпадают с государственными. Для меня Лев Толстой и Федор Достоевский — имена святые.

— Вовсе не странно,— возразил Токарев-старший.— Это закономерно и даже необходимо. Коли уж человек противопоставлен государству, то их взгляды на добро и зло совпадать не могут. И еще не устраивает меня в вашем суждении, что вы рядом ставите Толстого и Достоевского. Один из них — последовательный противник русской государственности, другой — ее апологет.

Старик высказывался напористо. Он не назвал роман «Бесы», но прямо «Бесов» касалось рассуждение о том, что моральные потери и деформация личности в тесных крамольных кружках происходят отнюдь не по внутренним «имманентным» причинам, не потому, что в революцию идут люди порочные, а потому, что организационная обособленность мелких сообществ внутри порочного русского государства приводит к такому высокому внешнему давлению на них, выдержать которое могут лишь герои.

Алексей Владимирович продолжал говорить, а Алтынсарин, следя за его аргументами, думал о том, что когда-нибудь и у его народа будут люди, могущие так страстно и остро спорить на отвлеченные темы. О чем спорят соотечественники? О пастбищах. О скоте. О скачках. Об охоте.

— Вы читали «Записки из мертвого дома»? — спросил старик. — Ну и прекрасно, что читали. Вот выводит он в своих «Записках» татарина Газина. Хорошего в этом Газине на самом деле крайне мало, был он наш подпольный целовальник и буян страшный, однако не следовало и под сомнением даже писать, что он детишек малых терзал. Мол, заведет ребенка в лес, напугает до смерти, поиздевается и зарежет с наслаждением. Страшно каждому, что есть такие люди, но наш-то татарин вовсе в этом не виновен, осужден был за пьянство, кражи и отлучки из казармы, он из солдат.

— Достоевский был писатель, а не регистратор, — напомнил дяде Николай Васильевич. — Значит, надо ему было показать глубину падения человеческого.

— Надо, так показывай, что есть, а не пужай выдумками. Или вот еще, — продолжал Алексей Владимирович. — Помните, описывает он старообрядца, маленького, седенького, тихого на вид и со взором ясным и светлым. Описал его Достоевский подробно и любовно, чтобы поправился старообрядец читателю, а потом вдруг обозвал его фанатиком и оклеветал, обвинив в поджоге православной церкви.

— Оклеветал? — с недоверием спросил Алтынсарин. — С какой целью? Признаться, я плохо помню, в чем он обвинялся.

— Я же говорю, обвинил в поджоге. Вам ли не знать, господа, что зажигательство в нашей деревянной стране стоит рядом с убийством, разбоем, грабежом, и даже прежде делания фальшивой монеты.

Теперь и племянник внимательно слушал дядю. Этих аргументов он ранее не знал.

— Между тем, — продолжал Алексей Владимирович, — был хороший, работающий старик, пользовался уважением, официальное православие не принимал, ибо оно власти божьей предпочитает власть царскую, вот и все... Но ведь

и в самом деле нет, пожалуй, в мире другой такой холуйской церкви, как наша... А сослали человека в каторгу без срока: за неприсутствие при закладке православной церкви. Не пришел на торжество,—значит, в каторгу! Нет, дорогие друзья мои, писатель должен униженных защищать от государства и сильных мира сего, а не порочить их в глазах людей несведущих. И еще более стыдно, что именно так государство и церковь обычно обвиняют решительно всех религиозных протестантов. Кстати, еще пример, если позволите. Был там у нас один еврей-ювелир с клеймами на щеках. Тип мерзкий. Обвинялся он в убийстве, и нет причин не верить этому обвинению. На совесть писателя описывать того ювелира так или иначе, но Достоевский сообщает, что ювелир был крайне верующим иудеем и под особым конвоем ходил в городскую еврейскую молельню. Достоевский подробно описывает, как молился еврей в казарме, как навешивал себе на лоб кубики, как справлял свой шабаш, как смешно и притворно рыдал, бия себя в грудь. Короче говоря, повода для глумления над чужой верой ваш любимый писатель не упустил... Об одном только забыл упомянуть, что Исай Фомич Бумштейн был православного вероисповедания, vykpeст, обратно в иудейскую веру не возвращался, да и не мог бы вернуться. Великое благо, конечно, что ни забулдыга Газин, ни его дружки журналов и книг не читают, благо, что и дедушка-старовер к новопечатному слову своего ясного взора не обратит... Но стыдно... И еще скажу: приглашал меня недавно для душевспасительной беседы ротмистр Новожилкин, фиглярствовал передо мной, в психологию залезал, Верховенского и Ставрогина вспоминал, примеры из жизни приводил, сны свои мне рассказывал... под знаменитого Порфирия Петровича работал. Я ему так и сказал: я, мол, не Раскольников, я старух не убивал, а вы не Порфирий Петрович. Он, знаете, очень удивился, что я угадал его кумира; так и сказал, что сравнение мое ему лестно,

Алексей Владимирович считал личную порядочность самой главной человеческой чертой, значительно более важной, нежели ум, способность красиво петь, хорошо рисовать или писать интересные книги. С этой, по мнению некоторых своих современников, упрощенной и даже примитивной точки зрения он и подходил ко всему, с чем сталкивала его судьба.

Напрасно бывший каторжанин боялся, что утомит гостя ненужными подробностями жизни русского общества. Разговор шел о нравственных проблемах, о добре, зле, милосердии и долге, и Алтынсарин не уставал волноваться, спорить, опровергать, соглашаться. Однако со стороны было заметно лишь то, как он слушает. Все споры, все аргументы, все диспуты проходили внутри него. Очень глубоко. И где-то рядом с мыслями по существу того, о чем говорил Алексей Владимирович, у Алтынсарина была другая мысль, посторонняя, казалось бы: вот передо мной человек, которому за семьдесят, ноги еле держат его маленькое и узкогрудое тело. В теле этом все давно уже безнадежно состарилось, и в каждом органе таится смерть. Все испортилось, все не так, а голова ясная, мысль четкая, сильная, в основе своей — добрая.

Военного губернатора Тургайской области генерал-майора Якова Федоровича Баранова сопровождала небольшая, но сердитая свита, которую возглавлял чиновник особых поручений, губернский секретарь Лев Львович Мартынов, по кличке Лев. Сам генерал выглядел на удивление мирно и даже нежно, ростом был невелик, голосом тих, лицом молод, имел узкую талию, нежные, холёные руки и небесно-голубые глаза.

Генерал собственной персоной вышел навстречу инспектору школ. Он провел Алтынсарина в кабинет, красивым жестом усадил в кресло, сам сел спиной к свету,

— Я слышал, у вас ко мне разработанная программа требований, меморандум, не так ли? Если позволите, господин Мартынов будет записывать основные ваши мысли по ходу их изложения,— и тут же сказал чиновнику особых поручений: — Не сочтите за труд, записывайте самое основное.

Программа у Алтынсарина действительно была. Он говорил горячо, обстоятельно и складно. Губернатор слушал внимательно, но вдруг бросил взгляд на Мартынова, и во взгляде этом было что-то такое, от чего Алтынсарин сбился. Он заметил, что говорит слишком долго, слишком громко, почувствовал, что вспотел, лоб мокрый и руки слегка дрожат.

— Вот, собственно говоря, все, что я хотел доложить, ваше превосходительство.— Алтынсарин на полуслове оборвал себя.— О выкладках своих готов представить справку

— Оч-чень хорошо.— Генерал опять глянул на чиновника особых поручений.— Очень хорошо, очень разумно. У меня лишь один побочный вопрос, господин Алтынсарин. Сознаете ли вы, что дело народного просвещения вообще и просвещения инородцев в частности, равно как проблема рождаемости, смертности, борьбы с эпидемиями, эпизоотиями и преступлениями, как вопрос об урожае и росте поголовья скота,— все это имеет значение лишь в применении к судьбам государства, в данном случае к судьбам Российской империи?

— Я это понимаю, ваше превосходительство. Интересы центральных губерний и инородческих окраин едины.

— Прекрасно, если это так.— Военный губернатор Тургайской области был ровен, вежлив и безоблачен, как и в начале аудиенции.— Государство есть единый организм, в нем все должно быть здорово, как в здоровом человеческом теле. Самое страшное, если мы с вами, друг мой, призванные следить за этим здоровьем, умышленно

или по легкомыслию, тут я разницы не вижу, будем чинить империи вред.

Алтынсарин не мог уловить, куда клонит губернатор. Он откинулся на спинку кресла, в левой лопатке кольнуло, боль поползла по руке к мизинцу.

— Я лично поддерживал ходатайство о вашем утверждении в чине статского советника, когда случились осложнения. — Баранов смотрел внимательно. — Таким образом, господин Алтынсарин, я связал свою судьбу с вашей судьбой, почему и позволяю себе задать вам несколько весьма неприятных, но необходимых вопросов.

— На все вопросы я готов отвечать, ваше превосходительство. — Алтынсарин будто впервые увидел генерала: фарфоровые щеки, фарфоровые глаза. Кукла. Не та кукла, в которую играют, а та, которая стоит на витрине за толстым стеклом.

— Вы знаете некоего Канашю Койдосова? — Голос губернатора стал чуть более высоким, говорил он быстрее, чем прежде.

— Знаю.

— Где сейчас господин Койдосов?

— Говорят, он должен вернуться на этой неделе. Я посылал его в степь для выяснения числа возможных кандидатов на поступление в сельскохозяйственные школы и Московскую земледельческую академию.

— Он ездил один?

— Нет. С господином Токаревым, коллежским регистратором.

— Известно ли вам, что эти господа во время поездки по степи вели nepoзвoлитeльнe бeсeды с аульной молодежью, призывали к неповиновению, вмешивались во внутренние дела родов и племен, позволяли себе критиковать существующие порядки?

Беседа, которая началась так хорошо, уже походила на допрос.

— Ваше превосходительство! Я впервые слышу об этом, но уверен, что ваши сведения не соответствуют действительности. Не далее как вчера я беседовал с господином Токаревым о результатах поездки. Опираясь на собранные господином Токаревым и Койдосовым сведения, я и прошу вас об увеличении числа стипендий.

Синие фарфоровые глаза глядели неотрывно.

— Несколько волостных, не сговариваясь, донесли об одном и том же. Несколько! Ваши посланцы подбивали молодых батраков требовать письменных договоров с баями, именно так обосновывали пользу грамотности. Названные господа призывали также к объединению батраков, противопоставляли богатых и бедных.

Алтынсарину легко было себе представить, что в донесениях, на которые ссылался губернатор, многое могло быть правдой. Все дело в том, как эти донесения толковать.

— Яков Федорович! — Алтынсарин заговорил с полным доверием к начальству, полагая, что будет понят правильно. — Но ведь и в самом деле письменные договоры надежнее устных. Разве этот аргумент в пользу грамотности плох? Деление людей на богатых и бедных тоже не Койдосовым придумано. Это есть в Коране, есть в Библии. А насчет того, что баи писали, не сговариваясь, — ошибка. Именно сговариваясь. У нас такие гадо-сти сообща делают.

Генерал опять многозначительно посмотрел на Мартынова и спросил Алтынсарина:

— Вы знаете, где сейчас находится Койдосов?

— Николай Васильевич Токарев говорил мне, что господин Койдосов чуть раньше покинул степь, поехал в Оренбург и Казань...

— Койдосов арестован, — сказал генерал. — Он изо-бличен в связях с подпольным студенческим кружком. При обыске у него обнаружена запрещенная литература. —

Баранов глянул на листок. — Книги: Н. Каменский «О материалистическом понимании истории» и А. Кирсанов «К вопросу о роли личности в истории». Вам знакомы эти книги?

Теперь все стало на свои места. Переход от беседы с умным и деловым администратором к допросу, который бывший наказной атаман устроил учителю, закончился. Алтынсарин вспомнил Безсонова. Тот легко найдет понимание у военного губернатора.

— Я не знаю книг, которые вы назвали, ваше превосходительство. Более того, я убежден, что и Койдосов не мог знать их предосудительного содержания до той поры, пока не прочел их. Согласитесь, что это так.

Впервые за всю беседу генерал рассердился. У него порозовели щеки.

— Это формальная логика, господин инспектор. Только формальная. Он и шел к студентам за нелегальной литературой. За легальной в тайные кружки не ходят.

Алтынсарин стоял на своем.

— Молодые люди любопытны, а запретный плод сладок.

И тут генерал еще раз удивил Алтынсарина, будто прочитал его мысли, то, о чем инспектор думал несколько минут назад.

— Вот вы никак не хотите смириться с просветительскими методами господина Безсонова. Вам кажется, что он все делает не так, что он наносит вред делу русско-киргизского образования. Но господин Безсонов воспитывает верноподданность, а не вольномыслие. Пусть не лучшими способами, но он отучает учеников от запретных плодов, а вы, господин инспектор, и сами тяпаетесь к запретным плодам с непосредственностью ветхозаветного Адама. Не с этой ли целью вы просиживаете до поздней ночи в доме ссыльного старика Алексея Токарева?

Фарфоровый генерал встал, тут же поднялся и Алтынсарин. Он понял, что аудиенция кончена именно на той ноте, которая нужна губернатору, что губернатор хотел бы услышать смиренный и покаянный ответ, слова оправдания. Но ведь они оба уже стоят, и, пользуясь этим, Алтынсарин сказал:

— Разрешите откланяться, ваше превосходительство. Записку о расчете стипендий в Красноуфимском реальном училище и Московской земледельческой академии я доставлю вам завтра поутру.

На улице было пыльно, дул ветер. На перекрестке Троицкой городской махал руками на парня-казаха, который пытался прогнать небольшую отару как раз мимо дома, где остановился военный губернатор. Городовой показывал, что нужно обогнуть, а парень не понимал.

Алтынсарин объяснил пастуху, как надо поступить, и поехал домой. Теперь под лопаткой болело сильно, в ушах слегка шумело. Он с трудом добрался до кровати.

— Дос,— позвал слугу.— Дос. Поезжай к господину Токареву и скажи, что... Нет, скажи ему, чтобы пришел ко мне.

— Завтра?

— Нет, сейчас. Привези, если он свободен.

Токарев явился сразу. Оказалось, что он ничего не знал об аресте Койдосова, но адреса своих друзей в Казани, действительно, давал, книги привезти просил. Особенно о роли личности в истории, это очень интересные мысли, новая полемика. Николай Васильевич не сомневался, что Койдосова долго держать не будут, а доклады волостных совсем не удивили его. Да, беседы о справедливости они вели, да, бороться за свои права учили, пользу грамотности проповедовали. Хуже другое: среди молодых людей — а они ведь беседовали только с ними — нашлись такие, что тут же помчались доносить. От молодых хочется ждать бескорыстия и благородства.

Утром Алтынсарин чувствовал себя еще хуже, чем вечером. Однако встал, тщательно оделся, до полудня составил и переписал набело записку о стипендиях студентам-киргизам, расчет о количестве училищ для девушек, примерную программу сельскохозяйственных школ.

Баранов был сух с ним, но к вчерашнему разговору более не возвращался, расставаясь, протянул руку.

Глава девятая

Ладный деревянный дом Алтынсарина стоял в излучине Тобола, на высоком берегу, и был виден издавна. Дос торопил лошадей, сильно трясло на ухабах, толчки отдавались в сердце тупой болью.

Солнце садилось, и окна сверкали желтовато-слюдиным огнем.

Сквозь искреннюю радость Айганым, веселье детей, хваставшихся друг перед другом отцовскими подарками, проглядывало что-то темное, что ему, видимо, еще предстояло узнать, но что сейчас почти не тревожило его самого. Опять родня чего-то требует? Потом, не сегодня! Нельзя принимать близко к сердцу то, от чего в действительности следует быть подальше.

— Я должна тебя огорчить, — за чаем сказала Айганым.

— Почему должна? — улыбнулся Ибрай. — Кому должна ты огорчить меня? Ты никому ничего не должна. Особенно моей родне.

— Не в этом дело. Не в родне. Табунщик Адильбек хочет тебя видеть.

Абдулла, старший сын, которому шел девятый год, сидел рядом с отцом и тоже пил чай, стараясь не хрюстеть баранками.

— Это вчера случилось, — сказал Абдулла. — Ты не беспокойся, папа. Виножник наказан и изгнан отсюда навсегда,

— Какой виновник наказан и почему он изгнан, сынок?

— Выкрест будет изгнан. Потому что из-за него на твой племенной табун напали волки.— Адильбек-табунщик старался говорить спокойно, но голос его дрожал.

Выходило так: прошлой ночью на дальнем пастбище злые духи отомстили за то, что табунщики-мусульмане едят из одного котла с выкрестом Бейшарой, спят с ним на одной кошме и вместе пасут коней. Только злые духи могли подстроить такое, что заснули сразу два табунщика, а любимая собака как раз накануне оценилась. В эту ночь злые духи привели волков к племенному табуну и разогнали коней по степи. Ни одна лошадь не далась волкам, потому что это были молодые волки, но мать табуна, несравненная Басре-бие, жеребая и осторожная, провалилась копытом в лисью нору, сломала ногу и истекла кровью на глазах у подоспевших табунщиков. Это было страшное зрелище, и никто не решился прекратить страдания кобылицы-матери.

Табунщик Адильбек ускорил шаг, чтобы не упадаться на глаза хозяину. Он знал, что виноват не меньше Бейшары, а больше, много больше, потому что нельзя было и близко подпускать выкреста к племенному табуну, нельзя было разрешать ему даже издали смотреть на Басре-бие. Кто не знает, как легко сглазить кобылицу-мать, когда она на сносях, кто не знает, что Басре-бие — символ счастья, а с гибелью ее может погибнуть счастье дома и здоровье хозяина.

Адильбек любил Алтынсарина преданно и бескорыстно, жизни своей за него не пожалел бы.

Бейшару Адильбек не жалел совсем. Чего стоит жизнь горемыки, отказавшегося от веры отцов. Да и не убил же он его, а только хотел убить: выволок в степь, отстегал камчой и разрешил идти, не оглядываясь. Правда, тот не мог идти: может, от страха ноги отнялись, может, слиш-

ком сильно бил камчой. Разве удержать руку, когда сердце рвется из груди? На другой день Бейшары на том проклятом месте не было, значит, ушел, уполз, добрал куда-то. Иначе говорили бы люди, слух бы прошел, если бы помер в степи. Человек не суслик.

Алтынсарин чувствовал себя все хуже. Мысли упрямо возвращались к самому неприятному: к Бейшаре, к губернатору, к Койдосову, который вовсе не давал о себе знать. Как ни отгонял он дурные мысли, плохое находило щели, просачивалось, сырой землей наваливалось на грудь. Доносы, среди которых жил, вечные обиды родичей, разговор с военным губернатором, Петр Иванович Миллер, почему-то еще портной Голосянкин. Но главное — случай с Бейшарой.

Чего стоит вся просветительская деятельность в степи, все его хлопоты, хрестоматийные сочинения, устные увещевания и споры, если дома он не может приучить ближних к простому человеколюбию, к милосердию, к естественной жалости. Взять того же Адильбека — натуру цельную, благородную, можно сказать величественную. В нем многое прямо от Кобланды-батыра, от героя эпоса. В нем ум, сердце, горячая кровь... Может, кровь виновата? Нет, не кровь, а голова. Голова, забитая суевериями, голова, в которой причины и следствия перепутались между собой, как волосы в колтуне. Алтынсарин вспоминал виноватое лицо Адильбека, бесконечно повторяемые слова про Басре-бие, про свою оплошность, про свою глупость, про то, что любую кару примет и сочтет справедливой. Имени Бейшары он не упоминал вслух и, судя по всему, помнить про него не желал.

— Но пойми, что я говорю, — втолковывал Алтынсарин. — Как же ты мог, из-за лошади чуть человека не убил? Я что тебе говорю, понимаешь?

— Это же Басре-бие! — Адильбек утирал слезы. — Это же Басре-бие! Пусть бы весь табун ноги поломал, лишь бы Басре-бие жива осталась! Басре-бие!

— Пойми, Адильбек, у лошади нет души, поэтому мы можем есть мясо животных и делать из него колбасу, а у человека есть душа. У самого плохого человека есть душа, а у лошади только шкура снаружи и навоз внутри.

Адильбек твердил про Басре-бие. Он мог бы возразить хозяину, что у лошади, даже у самой плохой лошади, душа есть, и во многих случаях она ни капли не хуже, чем душа человека. А вот тот, кто отрекся от своего народа, у того души, возможно, и нет. Адильбек мог бы возразить, но не возражал,— знал, что виноват. Ведь и Бейшара не возражал, ибо знал, что виноват в самом страшном грехе: не только кобылу погубил, но и все счастье хозяина подверг опасности.

Домашние в глубине души тоже считали, что болезнь хозяина связана с гибелью кобылицы-матери. Айганым подтвердила это, когда муж спросил, что думают слуги о Бейшаре. Айганым понимала: мучает мужа не только то, что случилось дома. Главное не здесь, а там, где он в мундире, застегнутом на все пуговицы, должен неделями быть среди чужих людей. Она пыталась отвлечь его рассказами о детях. Иногда ей это удавалось, он смеялся, чаще улыбался медленной улыбкой с закрытыми глазами. Вскоре, однако, лицо его вновь мрачнело, одышка усиливалась.

Местный врач Мухамеджан Карабаев ничего хорошего не пообещал, сказал только, что нужно оберегать от дурных вестей, не допускать к больному тех, кто ему и в здоровье был неприятен, и лучше всего уехать на летовку в Аракарагайский бор.

Погода стояла дождливая, в бору оказалось не полетнему сыро, дышалось труднее. Алтынсарин не мог уже лежать ни на спине, ни на боку. Он сидел днем и ночью и, кажется, совсем не спал.

Доктор Карабаев приехал следом за больным и был еще мрачнее, чем прежде,

... — Надо надеяться, — говорил Карабаев. — Надо надеяться.

Так он уговаривал Айганым, так он уговаривал себя, потому что знал: мало надежд было на самом деле. Сердце Алтынсарина билось учащенно, с перебойми, отеки угрожающе нарастали, дыхание было тяжелым, появились опасные хрипы.

Мухамеджан Карабаев был одним из первых казахских врачей, окончивших курс в Казани. Он знал свое дело, но по молодости верил, что есть секреты, которые знают только те, кто проработал всю жизнь. По этой причине или из желания разделить ответственность за жизнь больного Карабаев обрадовался, когда Айганым спросила, не пригласить ли врача из Троицка.

В Троицк поехал Адильбек, он привез почтенного седовласого и долговязого доктора Гана Эдуарда Ивановича.

Ган начал с пульса и, как показалось Карабаеву, считал его долго, может, до тысячи. Потом долго выстукивал, выслушивал, глубоко и безжалостно пальпировал вздутый живот, смотрел горло, язык.

Он утомил не только больного, но и окружающих. Карабаев едва мог скрыть раздражение, но ничем не выдал себя, почтительно вынес Гану полотенце, когда тот стал мыть руки возле юрты.

Карабаев на латыни спросил Гана, каков прогноз, тот на латыни же ответил, что летальный исход неминуем в самые ближайшие дни. Ничего нового не сказал троицкий лекарь, и Карабаев рассердился на него не за академическую невозмутимость, не за спокойствие, с которым тот объявлял приговор, пусть и самой природой вынесенный, а за то, с какой серьезностью Эдуард Иванович выписывал молочное лечение, как предостерегал от употребления сырой озерной воды. Никто не возразил, что сырую воду здесь не пьют, никто не объяснил, что грубой пищи

давно уже не дают больному. Все видели, что это не более как болтовня. Перевозя Алтынсарина на летовку в бор, Карабаев больше всего надеялся именно на погоду, на воздух, на красоту природы, иногда успокаивающую сердце. Как назло, дожди не прекращались. Пятого июля Айганым решилась переезжать в свой дом на берег Тобола и в первые же дни воспрянула духом. Мужу стало заметно легче. Он уже мог спать, лежа на правом боку,

Надежды, о которых твердил доктор Карабаев, начали, казалось, сбываться. Отеки уменьшились, дыхание стало более спокойным, пульс сильнее. Алтынсарин попросил Айганым почитать ему вслух из тетради Алексея Владимировича.

Речь шла о том, что многие великие люди прошлого решались на подвиги, которые вызывают восхищение потомков, только потому, что верили в способность новых поколений помнить то, что было до них, верили в славу,

«Но моя душа почему-то всегда была в трудах и направляла свой взор в будущее, словно намеревалась жить, когда уже уйдет из жизни. Если бы души не были бессмертны, то едва ли души лучших людей так сильно стремились бы к бессмертной славе. Ведь известно, что все мудрейшие люди умирают в полном душевном спокойствии, а все неразумнейшие — в сильном беспокойстве. Не кажется ли вам, что та душа, которая различает больше и с большего расстояния, видит, что она отправляется к чему-то лучшему, а та, чье зрение притупилось, этого не видит?..»

Алтынсарин прервал чтение и долго лежал, прикрыв глаза влажной ладонью. Людям так необходима вера в бессмертие, вера во встречи после смерти. А верил ли в это он сам, Алтынсарин не мог сказать точно. Кажется, все-таки не верил. Слишком часто сомневался, и во многом. Даже в пользу религии сомневался. А разве не безнравственно насаждать веру, когда сам не веришь?

Неужели древние верили в бессмертие без сомнений? Он опять попросил почитать ему.

«Если же я заблуждаюсь, веря в бессмертие души, то заблуждаюсь я охотно и не желаю, чтобы меня лишали этого заблуждения, улаждающего меня, пока я жив. Если я, будучи мертв, ничего чувствовать не буду, как думают некие философы, то я не боюсь, что эти философы будут насмеяться над этим моим заблуждением. Если нам не суждено стать бессмертными, то для человека все-таки желательно угаснуть в свое время...»

Весть о том, что инспектор киргизских школ при смерти, пришла в Тургай поутру, а к обеду мулла Асим, гостивший у брата Анвара, седлал лошадь. Анвар стоял на крыльце и упрекал младшего брата:

— Вот гордыня твоя дурацкая, куда спешешь? Без тебя некому хоронить? Там вашего воронья за подарками слетится полно. Только тебе зачем спешить за столько верст? То, что там получишь, я тебе здесь без труда подарю. А если жениться будешь, во сто крат больше приобретешь. Не будь дураком, оставайся.

— Надо, надо. Ты не понимаешь, брат мой. Я должен быть на похоронах. Я не учу тебя продавать бараньи кишки, ты не учи меня покупать человеческие души.

Мулла гнал лошадь не жалея; сам умаялся и ослаб, но, когда увидел высокий деревянный дом над Тоболом, с облегчением понял, что торопился не зря.

Несколько богато одетых всадников в цветных малахях во весь опор неслись к дому Алтынсарина, и высокий мужской плач звенел над стенью:

— Ой-бай, баурым! Ой-бай, баурым!

Это родичи, близкие родичи из тех, которые еще месяц назад не хотели простить инспектору его нейтралитет.

тета в родовой вражде. А вон еще кто-то скачет, видимо, соперники: эти тоже теперь вовсю хотят выразить горе. Пусть все видят, что они не меньше любили покойного.

— Ой-бай, баурым!

Асим скривился. Дикие нравы, языческие обычаи, все делают по-своему, слугителей Аллаха только терпят, но не любят.

Возле дома с громким плачем обнимаются родичи, обнимаются, несмотря на вражду, которая тлеет в душах и, быть может, через неделю вспыхнет новым огнем. Удивительная приверженность старине, ритуалу: отдельный плач на скачущей лошади — высшее выражение горя, отдельно — совместный плач с близкими покойного. Красивы эти плачи и по мелодии, и по словам, даже у постороннего и то сердце рвется.

Этого у них не отнимешь, этого не переделаешь! Мулла Асим тронул коня. Хорошо, что не опоздал. Пусть все видят, как любил он инспектора, как близок был к нему, как убивается нынче.

Мулла несколько раз хлестанул коня и закричал на всю степь:

— Ой-бай, баурым! Ой-бай, баурым!

Все муллы, которые прибыли на похороны раньше, беспропотно расступились перед муллой Асимом. Он был хаджи, совершил паломничество к святым местам, он образованнее всех, у него с русскими связи.

Тело Алтынсарина в белоснежном саване было обернуто лучшим персидским ковром, самые близкие родственники-мужчины понесли его на высокий берег Тобола.

Отец Борис Кусякин, стоя на взгорке, сказал:

— Сотен девять мужского полу.

Вместе со многими другими русскими жителями Кустаная он издали наблюдал за происходящим.

— Тысячи полторы, не меньше, — сказал Николай Токарев. Ему показалось, что священник умышленно преуменьшает количество собравшихся на похороны Алтынсарина.

Отец Борис будто почувствовал этот смысл.

— Девятьсот. Не более. По их обычаю это очень много, очень. Я ведь близко знал покойного. Давно знал, хорошо. Еще по Тургаю. Он любил меня, мы дружили, беседовали часто. Умный был человек, хотя и магометанин.

Подошел портной Голоснякин с Людмилой, статистик Семикрасов, еще кто-то. Сказали, что Миллер тоже обещал быть, но задержался.

— Киргизы — народ щедрый, — говорил отец Борис. — Они тароваты к своим священнослужителям. Каждому мулле по барану дадут, а главным — по теленку или жеребенку. Хабибулину могут хорошую лошадь подарить, он у них вроде архиерея.

Ритуал предания земле у мусульман краток, и русские на взгорке удивились, как быстро все двинулись назад. Только мулла Асим остался на могиле Алтынсарина, один под высоким небом с легкими перистыми облаками, один на берегу реки. Один на один с богом. Он молился, принимая на себя все грехи покойного. Так только близкий может поступить, только бескорыстный, только святой.

Русские возвращались одной группой. Токарев увидел, что Семикрасов большими шагами уходит вперед, и решил, что надо догнать статистика. Николай знал за собой неукротимую жажду общения и стыдился этого, но сейчас нужно было унять тоску и безысходность. Ведь его не подпускали к умирающему, не дали возможности сообщить и то, что Канания Койдосов из-под ареста освобожден. Стыдно было признаваться себе, что сейчас в мозгу билась мысль, казавшаяся удивительно мелкой: не

пропала бы тетрадка дяди с переводами из Цицерона. Дядя очень о ней тревожился.

— Господин Токарев,— окликнула его сожительница портного.— Не делайте вид, что не замечаете меня. Зачем вы сплетничаете обо мне? Скажите, скажите-ка моему мужу.

— Простите, я тороплюсь.

— Нет! — Людмила решительно взяла его за рукав.— Я вас не пушу. Зачем вы сказали отцу Борису, будто я циркачка, по проволоке ходила...

Брезгливо высвободив рукав, Токарев сказал:

— В первый раз слышу, что вы ходили по проволоке, ничего плохого в этом не вижу, обиды вашей не понимаю...

— Это ложь! — взвизгнула Людмила.— Гнусная ложь! Петр! Ты слышишь, что говорят про твою жену?

Голосянкин укоризненно пробасил:

— Нехорошо, господин Токарев.

— Отец Борис,— позвала Людмила.— Отец Борис, можно вас на минуточку.

Кусякин набирал скорость, будто не слышал:

— Отец Борис, остановитесь, дело идет о чести женщины! — зывала сожительница портного.— Защитите честь женщины!

— Простите, спешу,— издали отозвался отец Борис и помахал рукой.— Очень спешу!

Токарев с недоумением и злостью смотрел на странную пару и думал: почему такие скромные, работающие и приличные люди, как Голосянкин, связывают свою жизнь с такими вот пустыми, вздорными и неопрятными бабенками? В чем причина?

Они уже шли по улице, из окон на них смотрели.

— Вы не смеете, не смеете! Мой отец личное дворянство имел, мой Петя кадетский корпус с отличием окончил, а вы говорите, что я по проволоке бегала...

Токарев разозлился.

— Мадам, — сказал он строго. — Предупреждаю, что отныне я всем буду говорить, что вы ходили по проволоке и даже танцевали на ней.

Навстречу в щегольской двуколке ехал уездный начальник.

— Господин Токарев? Почему не в канцелярии? Вы хоронили господина Алтынсарина? Разве вы мулла, господин Токарев?

Глава десятая

Интересно получается: кто больше всех кого ненавидит, тот больше всего тому и служит. Эту закономерность Бектасов вывел только что, слушая разглагольствования своего гостя — народного судьи Кайдаульской волости яйцеголового Кенжебая Байсакалова.

Яйцеголовый вернулся из Кустаная; он встречался с ротмистром Новожилкиным и теперь, криво усмехаясь, рассказывал про эту встречу и про то, как хвалил жандарм волостного управителя Бектасова за своевременное сообщение. Речь шла о вредных действиях тех двух молодых и ретивых чиновников, ездивших по степи якобы для сбора сведений о молодых людях, желающих продолжить образование в городах за пределами Тургайской области, а на самом деле для сеяния смуты и подстрекательства к неповиновению.

Яйцеголовый явил насчет этих чиновников и насчет всех, кто тянется к русским. Мулла Асим перевел на казахский пословицу, которую неверные придумали будто бы специально для мусульман, тянувшихся к русскому образованию: черную собаку не отмоешь до белой шерсти. И про самого покойного Ибрая русские так говорят, это

тоже от муллы Асима известно. Мулла Асим все время возле начальства крутится, он знает.

Кенжебай будто забыл, что Смаил, любимый сын востного, учится в Орской школе у Безсонова, того самого Безсонова, про которого только и разговору среди верующих мусульман, которым всех и пугают. Калдыбай по слухам давно решил сделать из сына большого начальника и ради этого готов отправить его хоть в Петербург, хоть в Москву.

— Черную собаку белой не сделаешь. Это надо же, как они про нас говорят! Это совсем совесть потерять, чтобы о людях так говорить! Это они о наших детях так говорят! Я спрашивал у ротмистра, правда ли? Он говорит: такие люди, как те, что приезжали весной, все могут сделать, все могут сказать, потому что власть не признают, старших не уважают, Сибири не боятся.— Кенжебай жадно жевал, глодал кости, высасывал из них мозг и не переставал дразнить хозяина.— Русские зря ничего не делают... У них на все умысел. Оказывается, не только мы сообщили об этих двух. Еще кто-то от нас отдельно сообщил, и даже подробнее... Эта длинная жандармская глιστα, наверно, других шпионов имеет. Мулла Асим намекнул мне, что как раз в Орске в школе, где учится твой Смаил, глιστα и подбирает своих шпионов. Хитрая глιστα, скользкая, изворотливая, везде пролезет!

Хозяин давно перестал есть, его мучило. Слишком часто и выразительно гость говорил о глисте, слишком старательно находил сравнения. Бектасов отодвинулся от дастархана, а гость нажимал вовсю. И куда только влезает: худой, жилистый, когда приехал, живота вовсе не было, впадина была. В ту впадину на глазах Калдыбая уместился целый баран. Со злым интересом смотрел хозяин, как насыщается гость. Бектасов не был скуп, и богатство его не могло истощиться от такой необходимости, как гостеприимство, но ведь и впрямь не оторвать

глаз от того, как насыщается Кенжебай. Кости будто сами вращаются у него в пальцах, становятся белыми, чистыми, как после собаки.

— Глиста говорит, что наши имена он назвал самому губернатору, и тот велел записать, чтобы потом наградить.

— Почему потом?

— Глиста сказал, что потом.

— Я спрашиваю, почему потом, а не сразу?

— Подлые люди! — Кенжебай пожал плечами. — Подлые люди всегда говорят так. Потом! В самом деле, почему это потом? Я ему подарки сразу привез, а он про награду сказал, что потом. Глиста белая! Я сразу как-то и не подумал.

— А подарков много отвез? — Бектасов сознательно бередил душу Кенжебая, мстил за намеки на сына, за то, как нахально досаждал ему гость.

— Пятьдесят рублей деньгами и узорную кошму. — Кенжебай врал. Он отвез не пятьдесят, а сто рублей, две кошмы и много другого.

— Неужели? Зачем их так баловать? Они совсем обнаглеют.

Кенжебай и сам так думал. Он помрачнел, даже перестал есть.

— Он про тот случай вспоминает, — выдавил из себя гость.

— Про какой? — хозяин усмехнулся.

— Когда мы из Сарысу коней угнали, а дурак табунщик за нами увязался. Он про того дурака намекал, намекал, что знает, где мы его закопали. За убийство, говорит, каторга в Сибири, несмотря на все уважение.

— Пусть докажет сначала. Он и тогда не смог ничего узнать толком.

— Он говорит, что пожалел нас. И за конокрадство мог судить, но не хотел. За конокрадство, говорит, по

вашему степному обычаю очень жестоко наказывают. Еще более жестоко, чем по русскому обычаю.

— Все равно слишком много дарить не следовало. Нельзя их баловать, они от этого еще наглее становятся и еще больше требуют.— Бектасов продолжал свою линию, как мог, досаждал гостю.

Некоторое время Кенжебай ел молча и остервенело: гасил в себе пламя ненависти к Бектасову и ко всему его роду. Хитрые люди — родичи Бектасова прежде часто выигрывали и нынче выигрывают.

— А того казаха-чиновника, наверно, в Сибирь пошлют. В Сибирь, в кандалах, бряк-дряк, бряк-дряк,— наконец нашелся Кенжебай, как продолжить беседу, как утешить себя чужим горем.

— Какого?

— Который весной с русским приезжал. Койдосов его фамилия. Его в Казани арестовали. Будет знать!

— А русский чиновник?

— Что «русский»? — не понял Кенжебай.

— А русский чиновник «будет знать» или «будет знать» только казах? — Бектасов не скрывал презрения.— Русские сошлют в Сибирь казаха по вашему доносу. Вы доносили на двоих, а пострадает только один, потому что он казах.

— По нашему доносу, а не по моему. Ваша подпись тоже там.

— Пусть так, но главный грех на вас, вы все придумали, вы все и провернули. Я сержусь потому, что за все должны расплачиваться казахи. Даже за русские выдумки. Не делайте вид, будто сами не понимаете, в чем дело! Чтобы понравиться русским, вы принудили вашего непутевого родича Кудайбергена отказаться от веры отцов, его окрестили в церкви на позор всему нашему краю, вы до отвала кормите любого заезжего чиновника, вы готовы выполнить любой приказ, направленный против са-

мых близких соседей. К чему это приведет? Вы спросили хотя бы, почему же русского чиновника не арестовали? Они вместе степь баламутили, вместе бунт готовили.

Нет, не подлость раздражала Бектасова, а только глупость. Разве с такими людьми можно думать о свободе? Они сами лезут в ярмо!

— Почему русского не арестовали, я не спросил. Он бы все равно не сказал мне правду. Наверно, русский откупился.

— «Наверно»! — Бектасов сказал это с иронией, но Яйцеголовый иронии не понял.

— Признаюсь, дорогой Калдыбай, — примирительно сказал гость, — меня это не очень интересует. Сейчас важней всего сделать так, чтобы никто посторонний не лез в наши дела. Двух-трех далеких начальников мы с вами как-нибудь прокормим и обманем. Главное, никто не должен указывать, как нам угонять скот и у кого, никто не должен вмешиваться в то, на ком нам жениться, сколько жен иметь и какой калым платить. Это позор, что даже в дела с нашими женщинами вмешиваются. Может, вы помните, как старик уездный заставил вас вернуть чужую жену? А ведь все знают, что вы любили ту бабу. Это же вспомнить смешно! Какой-то Бейшара для них важнее и главнее богатого и знатного бая. Позор!

Бектасов ладонью провел по лицу, глаза его опять были полуприкрыты. Он презирал Яйцеголового, презирал и потому не слишком был уязвлен безжалостным выпадом соседа. До чего же глуп! До чего слеп в своей злобе! Ведь знает, что я до сих пор приезжаю на могилу Зейнеп, знает, потому и говорит это с ухмылкой. Знает, потому и приберег удар к самому концу. Но ведь и я знаю, кто и через кого хлопотал перед уездным Яковлевым, чтобы отнять у меня Зейнеп! Зейнеп и сейчас часто приходила к Калдыбаю во сне. Снилось ее гибкое тело,

бесстыдные сумасшедшие руки, жаркое дыхание и белые крепкие зубы.

Много отдал бы волостной управитель, чтобы тут же наказать наглость народного судьи. Много бы отдал и многое отдаст, только сделать это надо без всякого риска, надежно, спокойно.

Они были вдвоем в юрте, никто не слышал обидных слов гостя, никто не видел, как смолчал хозяин.

Джигиты, сопровождающие Кенжебая, угощались в юрте Исы Минжанова. Иса — верный человек. К примеру, скажешь ему, что хорошо бы увидеть Кенжебая мертвым в камышах, и пристрелит он глупого и злобного соседа. Пристрелит — и никто не догонит его. Жаль, что люди в степи разучились молчать, болтают обо всем. Может и до русских дойти, а все знают, чей человек Иса.

Бектасов встал, чтобы распорядиться насчет чая, Ййцеголовый бесечно и нагло сидел на тигровой шкуре, на почетном месте. Он был доволен собой, угощением и пищеварением.

Чай пили тоже вдвоем. Они достаточно много сказали друг другу и теперь молчали. Мысли каждого были не для чужих ушей.

— Новое ружье купили? — нарушил молчание Кенжебай. Он давно хотел спросить про эту замечательную и легкую дустволку, каких в Тургае и Кустанае не продают. — Где купили?

— Иностранное ружье. Я не покупал, это подарок купца Анвара.

— «Подарок»... — недоверчиво повторил Кенжебай. — Пусть будет подарок. Может, съездим как-нибудь поохотимся? — Он будто сам напрашивался на выполнение недавних мыслей Калдыбая, о которых вряд ли мог догадаться.

— Может быть. — Калдыбай с интересом глянул на гостя. — Если Аллах этого захочет,

— У меня тут есть один на примете из батраков, хороший охотник. Через несколько лет не будет равных в степи. Батыр будет, как Кобланды.

— Это кто же такой? — Бектасов спросил назло. Он прекрасно знал, о ком говорит Яйдеголовый. Бектасов и сам подумывал о том, чтобы приручить юношу, хотел еще в прошлом году позвать к себе в работники, но спешить не стоило: молодые зазнаются. К тому же Амангельды когда-то учился вместе с сыном Бектасова у муллы Асима, и это мешало пока держать его на расстоянии, которое необходимо в таких случаях. — Вы говорите, уважаемый Кенжебай, наверно, об этом Амангельды? Не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь путное. Он сам не знает, чего хочет.

Кенжебай встал молча, резко сунул за пояс камчу, шагнул к выходу. Там на горячем летнем ветру стояли кружком и болтали молодые джигиты двух аулов, соперничающих между собой. Молодые тоже задирались друг с другом, только еще более грубо и откровенно, чем хозяева.

— Поехали! — народный судья Кенжебай Байсакалов едва простился с волостным управителем Калдыбаем Бектасовым. Почти одновременно вскочил в седло смуглый и ловкий двенадцатилетний племянник Кенжебая Кейки, остальные джигиты чуть замешкались и стегали коней, чтобы не отстать.

Бектасов смотрел вслед гостям и думал, что никакая общая корысть, никакая общая ответственность за прошлое, никакие виды на будущее не заставят его полюбить Кенжебая, а Кенжебай никогда не пересилит своей непаவிости к нему. Это мешает жить, но это так.

Кенжебай только в виду аула ехал степенной рысью, а потом погнал коня во весь опор, чтобы выдуло из души зпойным сухим ветром гнилое и липкое, чем вспотело у него все внутри. Он скакал впереди своих джигитов и

выкрикивал слова, которых нет ни в одной песне и которые все-таки были песней. Отдельные слова и ругательства находили свой ритм в ритме скачки, в ритме ударов камчи, в ритме ударов злого и сильного сердца:

О, проклятые собаки, собаки, собаки!
Все вы — проклятые собаки! Русские собаки,
Татарские собаки,
Узбекские собаки!
Собачьи собаки!
Ненавижу тех, кто умней меня, кто глупей меня.
Ненавижу тех, кто такой, как я!
Неужели нельзя
Всю жизнь скакать по степи, не встречаясь ни с кем?
Неужели нельзя быть совсем одному,
Чтобы только — солнце и полын,
Чтобы только — ветер и конь!
Собаки и свиньи! Собаки и свиньи!

Амангельды знал, что Яйцеголовый вернется со дня на день. Съездит в Кустанай, справит свои важные байские дела, даст кому надо взятки, купит себе порошу и дрови для летней охоты, купит для Амангельды передка и подошвы сапожные, как договаривались, а вернется, чтобы расплатиться за год работы. Юноша по-прежнему не любил Кенжебая, иначе как Яйцеголовым про себя не называл, но ждал хозяина с нетерпением и в хорошем настроении. Он знал, что бай дорожит им, надеется на него и не обидит при расчете. Не зря же ранней весной, когда кончился срок найма, Кенжебай долго уговаривал его задержаться до начала лета. Бай хвалил за толковость, разговаривал как со взрослым работником, обещал расплатиться от души:

— Ты меня ни в чем не обидел, я тебя ни в чем не обижу. Все тебе в счет пойдет: и пастьба овец, и помощь на охоте, и расчистка снега зимой в моем ауле. Неужели бросишь меня теперь, когда только окот прошел, когда нужен твой зоркий глаз, твои молодые ноги, чтобы сбегать приплод? Куда тебе спешить? Мать и Балкы одну

свою коровенку и сами сберегут, овец у вас — шапкой прикрыть можно, а ты вернешься в самое голодное время, вместо помощи сам сядешь на шею, объедать их будешь. Оставайся еще на месяц! Я тебе за это еще ягненок подарю. Не раздумывай, парень, не набивай себе цену. Перевезешь мое хозяйство на летовку, тогда гуляй в новых сапогах.

Амангельды согласился. Год назад уговор был только на десять месяцев, за что Кенжебай обязался помимо кормежки из своего котла дать жеребеночка, пару нового нательного белья, переда и подошвы для сапог. А тут еще ягненка пообещал. На таких условиях работать можно, и обижаться — грех. Амангельды помнил, как обманулся в расчете на крупный доход, когда занялся промыслом пушных зверьков для купца Анвара. Он и сейчас не упускал случая поохотиться, но на собственном опыте убедился, что одни только новые способы заработка ничуть не лучше, ничуть не вернее, чем батрачество, освященное обычаями отцов и дедов.

Год прошел хорошо, труды и трудности позади, расчет ожидался добрый, и Амангельды думал про то, что теперь он с чистой совестью может отпроситься у своих на две недели и съездить в новых сапогах в Кустанай к инспектору Ибраю Алтынсарину. Почему-то очень было важно явиться к инспектору хорошо и складно одетым, во всем новом и новых сапогах.

Посмотрит инспектор и подумает, что перед ним байский сын, что денег у него на учебу много, и пошлет учиться сразу в большой город. Только не знал Амангельды, стоит ли напоминать инспектору, что они знакомы, виделись уже; не знал, стоит ли напоминать, как осрамился, сказав, что хочет стать баксы.

Двое чиновников, которые весной объясняли, как полезно быть хорошо грамотным, поправились Амангельды тем, что преград никаких не ставили: каждый может всему

научиться, если только захочет. В это очень хотелось верить, именно для этого науки нужны, а не для того, чтобы с баями на бумажках договоры составлять. Это смешно. Это очень смешно, если учесть, что многие бая и сами-то ни читать, ни писать не умеют. Эти двое понравились Амангельды, понравилось, как внимательно они слушали то, что им рассказывали о себе совсем молодые ребята, как подробно объясняли про большие города, про устройство паровоза, про то, почему не тонет пароход, хотя он весь из железа, про то, какую пищу ест русский царь, на какой кровати спит, сколько у него жен и детей... Они не сердились, про все говорили серьезно, спокойно, но больше всего напирала на пользу грамотности и на необходимость отстаивать свои права, не позволять баям своевольничать. Как понимал Амангельды, на это больше напирал русский чиновник, казах поддакивал, уточнял то, что говорил его товарищ, приводил свои примеры. Нет, они оба — хорошие люди, только русский степную жизнь мало знает, смешно про письменные договоры рассуждал, будто в бумаге все дело, будто стоит на бумаге все записать — и хозяева станут точно по бумаге и поступать. Не в бумаге дело, а в силе. И еще смешно представить себе, как пастухи по степи с бумагами будут разъезжать. Чиновники о многом говорили, а он думал тогда, как придет к инспектору Алтынсарину, который и этих двух главнее и учнее, придет хорошо одетый, в новых сапогах и с книжкой, которую ему подарил инспектор; он скажет просто: «Вы, господин мой, подарили мне книжку, я выучил ее наизусть, теперь хочу знать все, что знаете вы». И сразу начать читать «Письмо Балгожи к сыну»:

Свет очей моих! Сын мой! Надежда моя!
Я пишу тебе, мыслей своих не тая.
На здоровье не жалуясь, мать и отец
Шлют привет, окрыленный биеньем сердец.

Ты, наверно, скучаешь и рвешься домой...
Поприлежней учись, грусть пройдет стороной.
Станешь грамотным — будешь опорой нам...

Амангельды не сомневался, что мать и дядя Балкы будут рады, если инспектор пошлет его учиться... Чиновники рассказывали интересно, но Амангельды иногда отвлекался от их речей, думал о своем и твердил стихи Алтынсарина. Вот и теперь, с часу на час ожидая приезда Кенжебая, Амангельды повторял почти вслух:

Если неучем ты возвратишься в свой дом,
Упрекать себя с горечью будешь потом.

День катился привычно и гладко, послушно паслись овцы, дул несильный северный ветер, речка блестела, камыши шелестели... Хорошие пастбища выбирает себе хозяин. Тут и чужой скот пастись весело.

Кенжебай с джигитами приехал перед закатом. Пока резали двух барашков, готовили еду, пока ели, никаких деловых разговоров быть не могло: Кенжебай молчал, и все молчали, когда же все было съедено, хозяин сладко потянулся и сказал Амангельды:

— Тебе, парень, небось не терпится расчет получить и к мамаше под подол нырнуть? Не спеши. Завтра поговорим о твоём будущем. Я тебя не обижу. Всю жизнь будешь у меня по правую руку скакать.

Амангельды не возразил, но и не поблагодарил — промолчал. Зачем затевать спор на ночь глядя, когда все он для себя решил. Хотелось спросить у бая про сапожные заготовки, не забыл ли про это, ведь для бая это мелочь, пустяк. Мог и забыть.

Утром Кенжебай сам позвал Амангельды и начал разговор с того, чем кончил вчера. Он говорил, что все кипчаки должны жить дружно, что среди сегодняшних одноплеменников много еще разброда, каждый в свою сторону тянет, а надо объединиться. Таких серьезных и

разумных речей от Кенжебая Амангельды никогда не слышал и не мог предположить, откуда у Яйцеголового такие мысли.

Разговор был родственно-душевный, и Амангельды не удивился бы, если бы услышал обещание бая женить его на одной из своих дочерей.

— Скоро, парень, настанет такое время, когда мне весь уезд подчинится, когда прогоню я с земли Калдыбая и с должности волостного управителя тоже прогоню. Мне верные люди будут нужны и умные люди. Если будешь со мной рядом, лет через десять — пятнадцать станешь бием — народным судьей, как я. Вот посмотри на Кейки. Он выбор сделал.

Про Кейки Амангельды решил возразить хозяину:

— Он не сам служит, ему отец велел.

— Вот, — как бы согласился Кенжебай. — Вот я и говорю, что Кейки еще глупый, а ты сильный и умный. Хороший табунщик в каждом жеребенке видит, какой конь получится. Я в тебя верю. Понял, про что речь?

— Да, — односложно ответил Амангельды.

— А ведь у меня дочерей много, — бросил последний козырь хозяин. — Представляешь, как рада будет Калампыр и как возгордится упрямый Балкы.

В этом Амангельды как раз очень сомневался. Дома Яйцеголового не жаловали, говорили про него брезгливо даже при младших детях.

— Скажите, пожалуйста... — Амангельды хотел перевести разговор в другое русло, но, как оказалось, сделал это не больно ловко. — Скажите, вы не забыли привезти мне заготовки на сапоги?

— Какие заготовки? — Яйцеголовый рассердился. Мальчишка не только не обрадовался равноправному разговору и лестным предложениям, но явно воротит нос. — Ты разве просил меня купить тебе заготовки? Не помню, чтобы ты давал мне деньги.

— Вы сами обещали мне еще в прошлом году. Переда и подошвы для сапог, еще жеребенка, пару белья. За дополнительную работу обещали ягненка.— Амангельды не поверил в удивление Кенжебая, он понял: над ним решили подшутить, но шутка была ему не по душе.— Уговор дороже денег.

Кенжебай подмигнул парню.

— Уж не хочешь ли ты предъявить мне письменный договор? — спросил он, давая понять, что ему многое известно.— На бумажке с печатью с двуглавым орлом?

Нельзя было переть на рожон, это Амангельды понимал.

— Я бы рад служить вам дальше, хозяин, но я должен уехать отсюда.

— Куда?

— Сначала в Кустанай к господину инспектору Ибрагиму Алтынсарину, а потом куда он скажет. Я хочу учиться в большом городе.

Кенжебай рассмеялся и позвал своих джигитов.

— Эй, ребята, подойдите поближе, поглядите на Амангельды: он собрался ехать к самому инспектору Алтынсарину. Он на тот свет собрался... Неужели ты не знаешь, глупая голова, что Ибрай помер и похоронен с почетом. На том месте лежит, где все его предки лежат, где почтенный Балгожа лежит. Ты опоздал, дурачок. Такие, как ты, всегда опаздывают, потому что думают медленно.

Кейки и двое других подтвердили, что инспектор помер: они как раз побывали на этих похоронах и видели много знатных людей.

Амангельды с ненавистью смотрел на хозяина, хозяин видел этот взгляд и злорадно думал, что теперь мальчишке не видать передов и подошв, они так и останутся лежать в мешке. Хорошие переда и отличные спиртовые подошвы.

— Знаешь, как в Кустанае говорят про твоего инспектора? Там говорят, что из черной собаки белой не выйдет. Так сами русские говорят про тех, кто хочет учиться по-русски.

— Все равно я поеду в Кустанай,— сказал Амангельды.— Я поеду к тем чиновникам, которые приезжали весной. Давайте расчет, и я поеду!

— К кому ты поедешь, дурак? Я же говорю, что ты всегда и везде опоздаешь, потому что думаешь медленно. Этих двух, что весной сюда приезжали, давно уже нет. Они в кандалах — дряк-бряк — в Сибирь шагают. Может, и ты за ними в Сибирь хочешь? — Кенжебай видел, что парень потрясен новостями.

— Не может быть, чтобы чиновников в кандалы. За что?

— За все сразу. За то, что против власти бунтовали, за то, что вас, дураков, бунтовать подбивали. За то, что царя убить хотели, за то, что одного купца на большой дороге совсем убили.— Кенжебай врал и наслаждался смятением собеседника.— Идут теперь в Сибирь. Дряк-бряк, дряк-бряк.

— Какого купца? — с надеждой спросил Амангельды.— Они Хабибулина убили? Когда?

— Нет. Если бы Хабибулина, я бы сам им спасибо сказал. Они другого убили, честного купца.

Амангельды почему-то вдруг отчетливо понял, что Яйцеголовый врет. Кто поверит в такое, чтобы двух грамотных чиновников из Кустаная, двух друзей самого господина инспектора Алтынсарина, вели бы на каторгу под конвоем. Амангельды видел однажды, как вели каких-то русских людей. Они были худые, грязные, в рваной одежде. Они сидели в пыли и били вшей. Таких можно на каторгу. А чиновников — никак нельзя! И еще неизвестно, умер ли господин Алтынсарин.

— Жирного барана ловить? — спросил он хозяина.— Или овечку?



— Двух овечек.

За едой разговаривали мало. Кенжебай налегал на молодое мясо и хвастал своим богатством, своими связями, своими покупками.

— Никто не прогадает, если всю жизнь у моего седла скакать будет. Вот Кейки с детства выбор сделал, с детства сыт, с детства его никто в обиду не дает: он под моим крылом растет. А ты под чьим крылом? Разве Балкы — защитник тебе? Разве брат твой, кузнец, может служить опорой в нашей суровой жизни? Кузнец подневольный, он заказы выполняет, по чужим желаниям живет. Заплатят ему — саблю сделает, заплатят — в кандалы закует... Не твой ли брат на дураков этих в ясных пуговицах железные браслеты надел? Не твой? А говорили, что твой брат Бекет... а?

Амангельды понял, что попал под дурное настроение хозяина, тут лучше отмалчиваться и соглашаться, потому что Яйцеголовый и сам себе лютый враг, если найдет на него желание поизгаляться над другим. За брата Бектепбергена обидно! Никогда он не позволил бы себе заковычивать людей в кандалы, обидно за себя, прислуживающего Яйцеголовому.

— Значит, договорились, дорогой Амангельды. Ты служишь у меня еще год и получаешь переда для сапог! Правильно? Потом еще год — подошвы! Потом еще год — голенища! Глядишь — к старости одет-обут, есть в чем хоронить. Ха!

Всю злобу, которую не удалось излить на Калдыбая, Яйцеголовый выдавал теперь мальчишке-пастуху.

Неудовлетворенность осталась после обеда у волостного, не было ощущения победы. Наоборот, народный судья понимал, что сильно навредил себе.

Амангельды изображал покорность, молчал, в глаза не смотрел, но один случайный взгляд хозяин все же перехватил и взвился с новой силой. Хотелось, чтобы маль-

чишка взбунтовался, надерзил, тогда можно было отхлестать его камчой по лицу. Понимая это, затихли прихлебатели, таращился бесшабашный Кейки, ожидая зрелища, а Амангельды все ниже склонялся над хозяйским дастарханом. Давалось это еще труднее, чем давние детские самоистязания, которым он подвергал себя, чтобы стать таким баксы, как Суйменбай. Единственное утешение, что от спокойствия пастуха Яйцеголовый стervenел все больше и больше.

Наконец он встал, вернее, вскочил, будто его шилом ткнули в тощий зад.

— Поехали отсюда!

Холун недоуменно поднялись следом, они надеялись ночевать, но теперь поспешно оседлали коней и ускорили в медленно сгущающийся сумрак длинного летнего дня.

Вряд ли Амангельды мог словами выразить то, что понял в этот вечер, это было лишь чувство, или, скорее, предчувствие своей силы. Поэтому он и был так сдержан. Бесноватость хозяина тоже происходила от предчувствия, от предчувствия слабости своей и проигрыша. Даже перед молодым батраком он в чем-то проигрывал.

Вскоре, не думая о последствиях, не страшась суда и мести, Амангельды совершил то, о чем в начале этого дня и не помышлял. Он оседлал лучшего из коней байского табуна, прирезал самого жирного барана, на свою лошадку погрузил собственный скарб и, бросив остальное стадо на произвол судьбы, поехал в сторону Байкунура. Почти не размышляя, он принял решение ехать к брату на рудник. Там среди рабочих, среди друзей старшего брата он будет лучше защищен от мести Кенжебая. Амангельды было шестнадцать лет, и вера в могущество старшего брата у него была еще почти детская.

Ночь висела над тургайскими степями, крупные звезды освещали путь молодого джигита, позади сбились

в кучу лошади из племенного табуна Кенжебая Байсакалова, на склоне холма замерли байские овцы.

Амангельды ехал рысью и пел великую песню о великом и славном батыре Кобланды. Он часто слышал эту песню и пел из нее отрывки, но сегодня начал с самого начала и собирался спеть всю. Силы хватало, голос звучал звонко, и степь слышала его.

В давно миновавшие времена
Жил каракипчак Кобланды.

С холма на холм ехал непокорный пастух Амангельды. Он знал, что дороги назад у него теперь нет, и был рад этому, ибо не любил ходить по своим собственным следам. Тот, кто выбрал дорогу, должен идти по ней всю жизнь. Горе, если смелый выберет путь трусости, но не меньшее горе, если трус выберет себе стезю героя.

Можно ли батыра бабой пазвать?
Как твой язык такое сказал?
Яйцеголовый дурак меня обозвал,
Никогда дураку надо мной не бывать...

Это Амангельды уже переделывал великий эпос на свой лад. Ему нравилось, как получается, нравилось ощущение магической власти над действительностью, которое давала ему эпическая песня.

Он еще не знал, что такую власть дает только творчество.

Потом он пел про переда и про подошвы для сапог. Про новые яловые переда и спиртовые подошвы, которые обещал ему Яйцеголовый-скряга, которые задолжал ему нечестный дурак. Он смело пел про Яйцеголового, который за все теперь заплатит и о многом не раз еще заплачет. Долго бай гулял над народом, долго Амангельды гнул спину перед уродом, однако пришла иная пора, другая пора, вольная пора. Настала пора не бояться вора!

Он весело пел, и на душе его было радостно и легко. Самое большое счастье, когда человек решится наконец послушаться голоса собственного сердца.

Врет Яйцеголовый, что инспектор умер. Такие молодые не умирают.

Потом Амангельды подумал, как удивится инспектор Алтынсарин, когда увидит перед собой того аульного парня, который говорил, будто хочет стать баксы.

О, инспектор, к тебе я скачу на коне,
Не забыл, что тобою завещано мне!
Прочитаю я много замечательных книжек,
Стану верной опорой для всех, кто унижен!
Стать хочу я батыром, но батыром ученым,
Чтоб в бою и в науке не быть побежденным!
Вот высокая цель и завидная доля...
Я скачу к тебе, мудрый, по чистому полю,
Я скачу, погоняя чужого коня,
И никто никогда не удержит меня!

Амангельды нравилась эта песня, получалось не хуже, чем у самого Ибрая Алтынсарина. Надо запомнить, записать и показать ему. Обязательно надо запомнить.

О, инспектор, к тебе я скачу на коне...

Второй раз пропел Амангельды свою песню, и ему не понравилась строчка, где «погоняя чужого коня». Почему «чужого»? Теперь это его конь, законно его, по совести.

Я скачу, торопясь вороного коня!
Нет! Никто никогда не удержит меня!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава одиннадцатая

Мало ли в степи бывает одиночных схваток, мало ли случаев, когда враждуют аул с аулом и кровь льется, мало ли что приключается между хозяевами и батраками, а про то, как пастушок Амангельды за пару спиртовых подошв и переда для яловых сапог угнал лучшего скакуна и не отдавал его, пока все волостное начальство не принялось за это дело, вспоминали долго. Вспоминали, посмеивались, хвалили мальчишку.

Причин тому было несколько: во-первых, с этого начался закат власти и авторитета Яйцеголового, всем надоевшего Кенжебая Байсакалова, а во-вторых, потому — и это было главным, — что Амангельды с того времени никогда и никому не давал себя в обиду. Чего бы это ни стоило!

— Он еще мальчишкой бесстрашным был. Ай молодец!

Он был не слишком высок, но коренаст и широкоплеч, смотрел на людей прямо и улыбался редко. Если уж начнет улыбаться, то непременно рассмеется. Смеялся он громко, иногда в самых неожиданных случаях. Однажды, например, он засмеялся так на выборах волостного, когда уездный объявил, что свершилась воля Аллаха и народа.

Самое интересное, что бывший волостной, Калдыбай Бектасов, и нынешний, сын его Смайл, недолго сердились. Простили почему-то, сделали вид, что не обиделись.

— Ай молодец,— хвалил его старик.— Ай молодец!

Особенно много в степи вспоминали историю с передами и подошвами из-за случая с аулом Бегимбай. Амангельды не называли еще батыром, он был просто джигит и любил ездить к бегимбаевцам, бывал гостем у хозяина аула знатока лошадей Адильбека, того самого, который служил прежде табунщиком у Алтыпсарина, а после смерти инспектора откочевал к Батпаккаре и стал жить самостоятельно. Амангельды с уважением слушал рассказы Адильбека, рад был встречаться взглядами с его приемной дочерью, высокой, смуглой девушкой по имени Раш, рожденной в семье кузнеца Сейдалы. Амангельды ни разу не заговорил с ней, потому что очень уважал отца, а тот, видимо, и не собирался говорить о свадьбе и калыме.

Аул стоял в красивом месте, укрытый от ветров высокими холмами у реки с густыми зарослями ивняка. Недалеко было озеро, где водилось много рыбы и дичи. Однажды Амангельды с тремя приятелями по дороге на охоту заехали сюда и с холма увидели жуткую картину. Бай Тлеухан из соседней волости и его джигиты разоряли аул Адильбека, давили посуду, выставленную для еды, разбили казан с дымящимся мясом, а двое спешившихся рвали кошмы и ломали скелеты юрт. Значение происходящего было понятно. Бегимбаевцев сгоняли с этой земли, с этих добрых пастбищ. Женщины, плача, старались выхватить и спасти хоть что-то из своего скарба, Адильбек стоял чуть в стороне, будто окаменев.

Амангельды прикинул только одно: четверо против девяти. Джигитам ничего не пришлось объяснять, он хлестнул коня, с криком «бей!» пустился вниз и даже не оглянулся, потому что в друзьях был уверен.

Он и сам удивлялся тому, как легко все получилось, как поспешно удирали погромщики, как трусливо озирался бай и даже не пытался грозить. Может быть, все это произошло потому, что у Амангельды и его джигитов за плечами были ружья, а скорей всего, потому, что удар оказался неожиданным. Звериный закон введом и людям, Тигр не возвращается туда, где хоть раз испытал настоящий страх.

Неделю прожил Амангельды в ауле Бегимбай, и старый табунщик сам решил вопрос о калыме, сам назвал день свадьбы и вопреки обычаю подарил жениху золотистого иноходца, точно такого, о каком тот мечтал в детстве.

И на свадьбе вспоминали, какой с детства бесстрашный был Амангельды.

— Ай молодец! Настоящий батыр!

Амангельды теперь жил самостоятельно, мать и дядя Балкы, младшие братья были возле него, а не со старшим Бектепбергенем. Зимовку он отстроил не хуже, чем у других, огородил камышовым плетнем, были у него и овцы, но особенно он ценил коней и оружие. Ездил же он чаще всего на золотистом иноходце, сыне того, что подарил тесть.

Иногда молодой батыр уезжал из дому на неделю, иногда на месяц, год прожил в Байконуре, ездил в Челябин и Ташкент, гонял скот в Оренбург, мечтал сходить с караваном в Китай. Правда, в последнее время он отлучался реже, разве что когда охотился или нанимался проводником или егерем к приезжим.

На ярмарку в Тургай он ездил обязательно. Когда-то ярмарки приносили немало пользы простым степнякам, теперь мелкая купля-продажа шла в течение всего года, здесь же вершились в основном крупные оптовые сделки между богачами, между купцами, наезжавшими из эмирской Бухары, из больших городов Сибири, лежащих да-

леко за Иртышом, из Нижнего, из Перми, Вятки и самой Москвы. В крохотном заштатном Тургае нынче устанавливались деловые связи между столь непохожими друг на друга народами, населявшими Российскую империю и сопредельные с ней территории. Жителям самого Турга ярмарка приносила доход от платы за постой, за еду гостям и корм скоту, а для рядовых степняков-кочевников она все больше превращалась в зрелище и развлечение. Выигрывали только перекупщики и оптовики.

Двадцать рублей приготовил Амангельды на подарки домашним, больше к весне не оставалось. На эти деньги только и можно что гостинцев купить да охотничьих припасов. Сначала батыр собирался поехать с женой и сыном, но Раш простыла, когда переходили на летовки. Она вообще часто болела.

Калампыр сказала:

— Поезжай, сынок. Так уж положено, мужское дело с мужчинами дружить, там все твои приятели будут. Поезжай. И еще замок купи для сундука. Теперь вон у всех замки.

Это было новой модой в степи — на сундук вешать замок.

Платки бумажные женщинам, пряники сыну и его друзьям, мягкие самаркандские ичиги для жепы, замок для сундука матери. Все это, конечно, только повод для поездки, но Амангельды собрался с легким сердцем. Он знал, что будет на ярмарке и байга со скачками, и борьба на поясах, но сам ни в чем участия принимать не собирался. Прошли те времена, когда его это занимало.

Он стал замечать, что живет одновременно по двум законам: по закону степных своих предков, трудному, но устойчивому, и по закону новому, чужому, наползающему на степь как железное облако. По первому закону жить было тяжело, по второму еще тяжелее, потому что устанавливали его пришельцы, враги скрытые, вроде купцов

и миссионеров, и явные, как полиция, армия и начальники. Интересную вещь заметил Амангельды: чем богаче человек, тем легче приспособиться ему к любому закону. И еще он заметил, что в нем самом есть два человека: бесшабашный степной батыр и рассудительный твердый человек, вроде бы тому батыру старший брат. Одному хотелось действовать, другому — понимать.

...Потом о тургайской ярмарке 1908 года говорили много, даже в газетах писали; умные люди спорили о поводах и причинах беспорядков и смертоубийства. Вышние власти журили местное начальство и долго-долго искали зачинщиков.

Дни стояли ясные, на холмах за рекой было красно от маков, а в городе с раннего рассвета до ночи стояла пыль столбом и дым коромыслом. Все двигалось, шумело, жарило, варило, ело и пило.

Амангельды ехал медленно, не пытаясь проникнуть в гущу народа, в пешую толпу. Солнце стояло высоко, но уже начало клониться к закату. Толпа была в азарте: самое время, последний всплеск.

Приезжая в Тургай, Амангельды старался бывать у Николая Васильевича Токарева. Знакомство аульного мальчишки с чиновником перешло теперь в дружбу двух очень разных и очень по-разному живущих людей, но в дружбу равную и уважительную.

Николай Васильевич вместе с женой Варварой Григорьевной занимал пятистенку, принадлежащий уездному правлению. Ни конюшни, ни хорошего двора при доме не было, и Амангельды никогда не останавливался у них. Разве мало родичей и знакомцев из своих же, разве мало теперь казахов, которые лепятся к русским поселениям, у них жить свободней и привычней. Со своих за постой берут по-божески.

Токаревых Амапгельды решил навестить вечером, посидеть у самовара, поговорить, узнать новости со всего мира, посоветоваться насчет аульных дел. А пока батыр ехал по окраине ярмарки и оглядывал ее, чуть привставая в стременах.

Золотисто-карий жеребец батыра ступал в густую глубокую пыль легко, голову держал высоко и, как хозяин, зорко поглядывал по сторонам.

Возле лабаза купца Хабибулина кто-то соорудил низкий деревянный помост, протянул над ним суровое полотнище вместо крыши, это была чайная. Там на полосатых паласах сидел один из новых волостных управителей Муса Минжанов, косноязычный, молчаливый и властный, как и его отец. Муса недавно воротился из дальних странствий и теперь угощал друзей.

Амангельды сразу узнал среди них Кейки Кукембаева, а тот, увидев батыра, встал ему навстречу, приветственно раскинул руки, пригласил к угощению.

Вежливым жестом Амангельды поблагодарил его и остальных, показал, что спешит, и проехал мимо. Муса угощал джигитов не только едой, но и водкой. Ее пили из пиял, предварительно опорожнив бутылки в фарфоровые чайники. Не нужно было глядеть, что пьют, видно было как. С каждым годом в степи пили больше и больше. Ислам и так слабо прививался среди казахов, но заповедь Мухаммеда не потреблять вина нарушалась в первую очередь.

Со стороны полотняного навеса звонко взвизгнула гармошка. Худой, узколицый человек в черной бархатной тюбетейке и в белой длинной рубашке, выпущенной из-под жилетки, играл для кутящей компании. Старался он играть казахские мелодии, но волжские переливы и лишние музыкальные завитки делали эту музыку странной, будто специально для ярмарки созданной. Такую музыку батыр не любил. Степные мелодии лучше петь под аккомпанемент глуховато гудящей домбры.

На безлюдном солнцепеке сгрудились простые повозки, телеги и арбы, чуть поодаль особняком стояли пролетки со сверкающими черным лаком крыльями, тарантасы с плетеными кузовами.

Амангельды привязал коня к одиноко стоявшей телеге без переднего колеса, эта долго простоит, снял с седла пустой мешок, перекинул его через плечо и пошел сквозь гомонящую толпу. Он не спешил ничего покупать, только отмечал про себя, что есть интересного, и задержался возле лавки, где торговали сбруей, седлами, уздечками, попонами. Этот товар Амангельды уважал и знал в нем толк. Он уловил в отдалении какие-то резкие крики, поняв, что где-то затевается драка, не спешил любопытствовать. Судя по всему, драка начиналась далеко отсюда, внизу, у самой реки. Не мальчик он, чтобы бежать на шум, ярмарка без драки, как свадьба без музыки. Амангельды сам бывал вспыльчив, и вспыльчивость сородичей ему казалась чертой благородной, хотя и обременительной.

Он все еще держал в руках наборную уздечку кавказской работы, серебро с чернью, когда со стороны реки раздалась выстрелы. Голоснув на выдохе, замолкла татарская гармошка.

От моста через реку Тургай, снизу, от огородов, расположенных в пойме и принадлежавших местной гарнизонной команде, с криками ужаса бежали мужчины и женщины. Это Амангельды увидел, вскочив на прилавок шорника.

Трудно было понять, что произошло. Обычно во время ярмарок вдоль реки располагались самые мирные и бедные люди, чаще всего приехавшие семьями. Там готовили себе еду в казанах, там резвились малые ребятишки, там купались и купали коней. Теперь за облаком взметнувшейся пыли Амангельды разглядел драку возле караульной избушки. На ее плоской крыше несколько солдат в

исподних рубахах размахивали пашками, один стрелял из ружья. Вокруг караулки с жердями, выхваченными из изгороди, бушевала толпа казахов: кто-то лез на крышу, кто-то кидал издали камни.

Пыльное облако загустело почти мгновенно, и тут совсем рядом с Амангельды раздался душераздирающий женский крик. Как по сговору, в разных местах ярмарки вспыхнуло несколько очагов драки, а от казармы с винтовками наперевес бежали солдаты. Кто-то из казахов успел вскочить на коней, Амангельды увидел среди них Кейки с другими джигитами, только что пившими водку под навесом, и сам пожалел, что его золотистый далеко.

Конные врубились в толпу, окружавшую мануфактурный ряд, там творилось что-то страшное, а со стороны, где торговали крупным скотом, с дубьем и ножами двигались на ярмарку бородатые уральцы-прасолы.

— Бей! — кричали по-русски и по-казахски одновременно. И также одновременно на тех же двух языках вопили: — Наших бьют!

Амангельды стал пробиваться туда, где к чужой телеге привязал своего коня, но толпа, шарахнувшаяся от чего-то, чего он не видел, тянула его в сторону. Он пробился все-таки и увидел, что телега опрокинута, а коня нет. Остро, до боли, пожалел Амангельды, что нет у него с собой ни ружья, ни кинжала, ни даже камчи, только чужая уздечка в руках, и обрадовался, что не взял с собой жену и сына.

Раздался залп. Амангельды понял, что происходит что-то ужасное, он кинулся к распахнутым воротам лесного склада и закричал по-казахски, чтобы люди бежали сюда, где можно укрыться за бревнами, за штабелями досок. Он сам удивился, что люди услышали его крик, попяли и кинулись в эти ворота, перелезали через забор. Солдаты стреляли. Амангельды показалось, что они целили поверх голов, но другие этого не видели. Может

быть, и не все стреляли в воздух. Несколько джигитов пробились к Амангельды и тоже укрылись в лесном складе; майдан, на котором только что было густо, как в муравейнике, опустел. Солдаты — их было человек тридцать или сорок — мерно шагали вниз по склону...

Чиновник, прибывший из Оренбурга в Батпаккару, а затем разъезжавший по аулам, был строг и надменен. Молодой, сильный телом, загорелый и беловолосый, он хорошо знал язык и обычаи казахов, с полуслова понимал, когда его хотели обмануть или увести в сторону от того, про что он спрашивал.

Знали, что он разыскивает всех пока еще не выявленных участников схватки на ярмарке, и всех, кто знает зачинщиков и подстрекателей. Местные жители не предполагали, однако, что это не просто уголовное расследование, а настоящий политический сыск, может быть первый русский политический сыск в здешних краях. Власти же отдавали себе отчет в происходящем с трезвостью, которая у чиновников царского правительства наступала только после длительного бесшабашного политического загула и не менее длительного тяжелого похмелья. Понадобилась война с Японией, позорное шапкамизакидайство, еще более позорное поражение в этой войне, революция с попытками заговорить ее, умаслить, задавить, залить кровью и опять умаслить, чтобы правительство захотело хоть отчасти понять, кто же виноват.

Полковник Новожилкин, признанный ныне специалист по работе среди инородцев, не устал утверждать, что высылка неблагонадежных на окраины империи противоречит основам всякой карантинной службы, что зараза не только не гаснет, но распространяется, как распространялся бы ящур или сибирская язва, если бы больных животных не убивали и не зарывали на месте, а перегоняли из конца в конец страны.

Давно быть бы полковнику генералом, если бы по два тормоза, случившиеся ему по пути. Первым был покойный ныне старик Яковлев, начальник Тургайского уезда, писавший наверх о лихоимствах ротмистра и умышленном сокрытии за мзду тяжких преступлений. И еще один тормоз — дело с фальшивыми ведомостями по уплате вознаграждений секретным агентам правительства среди киргизов. Подтверждений настоящих по последнему делу не было и быть не могло. Во-первых, секретность, во-вторых, кто разберется с этими кочевниками, кто их поймет из высшего начальства? А большинство новожилкинских агентов приучены правду про себя никому постороннему не сказывать.

До самого 1905 года оставалось подозрение относительно тех фальшивых ведомостей, когда вдруг заработала сеть шпионов и соглядатаев, когда сведения и предупреждения, поступающие из Тургайской области, оказались наиболее своевременными и точными, самыми точными в сравнении с донесениями из других областей, населенных инородцами. Особенно хорошо работала сеть среди ссыльных.

Молодой чиновник из Оренбурга чтит своего шефа и указания выполнял свято.

— Выявить наличие зачинщиков, узнать, кто и за что их поддерживает, есть ли сплоченные шайки, или бунтовщики объединяются от случая к случаю, — наставлял Новожилкин. — Особо следует обратить внимание на грамотных киргиз. Среди грамотных же опаснее те, кто владеет русским языком... Ты, Ткаченко, далеко пойдешь, если не вздумаешь хитрить против меня.

Два десятка лет назад в Кустанае среди зимы подобрал ротмистр Новожилкин переселенческого сироту Ваньку. Сначала он прислуживал по дому: дрова носил, сапоги чистил, на конюшню помогал, потом на жалованье в полицию посыльным взяли...

Среди многих качеств, которые определяли служебные успехи Ткаченко, в первую очередь начальство отмечало суровую добросовестность и беспристрастность в разрешении конфликтов между русскими и киргизами. Не каждый полицейский чин мог бы похвастать беспристрастностью, когда, с одной стороны, свои, православные, а с другой — полудикие басурманы. Ведь если что и решалось в пользу киргизов, то тогда, когда роль играли просто взятки, дружеские подарки или искательные подношения.

Иван Ткаченко всегда был беспристрастен, и в беспристрастии этом проглядывало порой затаенное злорадование, причины которого он и сам для себя не хотел сильно прояснять. Киргизов любить ему было не за что, а переселенцам он не мог простить отца, замерзшего в степи, не мог забыть, как одиноко умерла мать. Разве простишь, что не нашлось среди мироновских мужиков, обжившихся на новых землях, ни одного хозяина, кто приютил бы сирот Григория-вожака. А без него ведь никто бы не решился начать новую жизнь. Может быть, эта неприязнь связана была еще и с другими, не вполне осознанными воспоминаниями. С тем, например, как переселенцы под городом Оренбургом на глазах у малолетних Ванюшки и Варьки в соломе жгли несчастного конокрада. По правде сказать, Ивану никогда не снилось то рыжее соломенное пламя, то черное пятно и обгорелое человеческое тело, скрюченное в живой муке. Он никогда и никому про то не рассказывал, но сердце помнило все.

Более двадцати лет отделяло сегодняшнего Ивана Ткаченко от того дня, когда он, босоногий, ходил побирушкой по домам оренбургских мещан и купцов. Нет, не забудешь своего нарочно измазанного сажей лица, чужих лохмотьев на плечах, Варькиных искренних слез, когда просила она хлебушка кусочек и клялась, божилась, что сироты они с братом круглые.

Люди только мнят себя свободными, а по существу, они, как кони в упряжке или же как бараны в отаре. Им кажется, что они идут, куда хотят, потому что кнута не видят, привыкли к нему. А не только кнут заставляет, но и трава тоже. Силы человек над собой не чувствует только по глупости, по самомнению. Сила над людьми чужая, а страх собственный. Умный человек должен быть не против силы, а заодно с ней. Быть заодно с силой совсем не так просто, как может казаться, большую чуткость надо иметь и выдержку.

Среди допрашиваемых кочевников Ткаченко часто видел именно это, желание угадать силу, на которую можно понадеяться. Ведь не государь император реальная сила для степняка, а всего лишь волостной, бай, урядник, уездный. Для батрака нет силы высшей, нежели хозяин. Хотя и с богатыми приходится помучиться. Эти ловчат из высших соображений, а если и говорят что, то по выгоде, по расчету дальнему, который не всегда угадаешь.

Ткаченко листал исписанные ранее страницы и качал головой. Мало, очень мало, почти совсем ничего конкретного. Новожилкин рассердится. Там, возле кибитки, ждал своей очереди всего один свидетель, один из многих. Он не вселял надежд, потому что вид имел нелепый, взгляд злой и хитрый. Хорошо допрашивать добрых губошлепов, а злые болтать не любят.

— Входите, почтеннейший,— громко позвал он по-казахски.

Свидетель — это был старик с ввалившимся ртом, с длинной, как дыня, головой — вошел, согнувшись пополам, и тут же сел возле двери. Бешмет на старике был тонкого сукна, хотя рваный теперь и латаный во многих местах. Уже и заплаты кое-где были зашиты. А в руках у старика Ткаченко увидел камчу поистине драгоценную. Толстый четырехгранник самой плети прикреплен был к серебряной рукояти, украшенной крупными рубинами.

Ткаченко указал на табурет, стоящий подле стола, вежливо пригласил сесть. Тот встал и, не разгибая спины, перенес сухой старческий зад на зыбкие дощечки. Разогнуться сразу он просто не мог: как и все здешние старики, страдал поясницей. Старик сел, быстро глянул на следователя и чему-то усмехнулся. Бесполезно было гадать, чему он усмехается.

— Расскажите, что вы знаете про беспорядки на ярмарке, кто главные зачинщики?

— Да,— кивнул старик.— Да.

Ткаченко повторил свой вопрос медленно и внятно. Старик будто и не слышал, глядел перед собой и важно кивал:

— Да, да. Продолжайте, господин начальник. Все вы говорите умно и правильно. Очень хорошо!

На первый взгляд старик казался более сообразительным. Неужели прикидывается, хитрит? Нет, честолобцы дураками не прикидываются. Гляди, как камчу вертит, будто примеривается секануть, как смотрит зло.

Собственно уголовным следствием занимались другие люди, и Ткаченко в общих чертах знал об их скудных достижениях: копии нескольких показаний, добытых полицией и судебными следователями, лежали перед ним.

— Полковник Новожилкин лично передал вам привет и просил рассказать все, что знаете сами и что про это говорят в степи. Постарайтесь вспомнить, уважаемый.

Ткаченко раскрыл папку. Показания русских обывателей Тургая удивительно монотонно повторяли заметку, которую напечатала по следам событий «Тургайская газета».

«В третьем часу пополудни вбежала ко мне из садика испуганная и с выражением ужаса на лице моя супруга с ребенком на руках: «Иди скорей! Бунт, киргизы бьют солдат!...» — писал в газете судебный следователь Гавриил Бирюков.— Я выскочил на улицу, как бомба, и глазам

моим представилась следующая картина: поднялась страшная пыль, скачут и бегут к мосту по всем улицам киргизы; вот ведут под руки русского с завязанною и окровавленную головой, сзади на них на скакивают как бы взбешенные лошади капитана К. без седока и с распущенным недоуздом; вдали на берегу р. Тургай стекаются в одну кучу конные и пешие киргизы, видно и русских...»

Ткаченко понимал, что газета не только по глупости, но и по расчету напечатала невнятную эту статью. Уж лучше глупость сказать, чем правду выболтать. Недовольство среди киргизов росло исподволь, но пропорционально притеснениям и обидам, которым они подвергались. Подробности интересовали Ткаченко не для последующего суда, а для того только, чтобы, зная тайное, управлять степью и предвидеть.

— Господин Кенжебай, вам известно имя Кейки... или Кейты? — Ткаченко спросил быстро и резко. Он поднял глаза от газетного листа и увидел, что старый разбойник чуть не выронил из рук драгоценную камчу.

— Кейты? — старик глянул на русского чиновника снизу, одним вроде бы глазом. — Нет, я никакого Кейты не знаю. А кто такой Кейты?

Хитрость свидетелей и особенно хитрость доносчиков всегда или почти всегда видна внимательному следователю.

— Я сначала сказал вам не «Кейты», а «Кейки», почтеннейший. Значит, Кейты вы не знаете, зато имя Кейки вам знакомо.

Ткаченко опять уткнулся в заметку, теперь он не сомневался, что степной батыр по имени Кейки тоже причастен к бунту на ярмарке и — главное — к убийству учителя Колдырева. Более того, у него промелькнула мысль, не причастен ли к этому и сам свидетель Кенжебай Байсакалов.

— Вспомните, разлюбезнейший, все вспомните. Может быть, и про убийство учителя Колдырева что-нибудь знаете?

«В стороне, поодаль, справа, мелькнул белый китель уездного начальника и скрылся за караулкою,— писал простодушный Бирюков.— Гул голосов все увеличивает-ся, толпа растет. Что же там такое? Оглядываюсь и вижу, что из соседних домов повышли приезжие на ярмарку за скотом казаки. Спешу к ним: «В чем дело, братцы?» — «Ваше благородие,— обращается ко мне один из них,— пошлите команду, иначе огородникам плохо будет...»».

Ткаченко отметил про себя, что в глупой и туманной заметке все-таки проскальзывает правда. Ведь и в самом деле все началось с обиды, которую солдаты нанесли приезжим степнякам и которую те не хотели стерпеть.

— Кейты я не знаю, а Кейки у нас в степи есть,— сказал Кенжебай.— А про учителя ничего не знаю.

— Совсем ничего?

— Совсем.

— Все знают, а вы не знаете? Неужели вы так постарели и изменились с тех пор, когда помогали господину Новожилкину?

На длинном лице старика проскользнуло что-то вроде обиды, он втянул губы.

— Полковник Новожилкин говорил мне о вас с большим уважением,— сказал Ткаченко, чтобы подбодрить старика.— Рассказывайте, пожалуйста.

— Про кого?

— Двадцать седьмого мая сего года в Тургае во время прохождения обычной весенней ярмарки были устроены беспорядки, которые переросли в бунт неповиновения, бунтовщики захватили лесной склад купца Шишкова, где устроили баррикады, ограбили несколько лавок, убили учителя, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. Что вам известно о случившемся?

Ткаченко едва не выругался, когда старик вновь так же точно, как и раньше, кивнул и изрек:

— Я вас слушаю, господин. Я все понимаю, все понимаю. Продолжайте.

— Я из Оренбурга сюда не рассказывать приехал, а слушать. Что вы знаете про зачинщиков бунта, кого вы знаете?

— Я всех знаю,— неожиданно взмахнул камчой длинноголовый старик.— Всех знаю, все знаю, лучше всех знаю. Что другие еще не думают, я и это уже знаю. Я двадцать лет все сообщал, все тайны. Спрашивай, сынок. Я сам вижу, чего тебе надо. Я верю, что ты от полковника. Я всегда угадывал, что ему надо.

Теперь старик стал куда сообразительней, глупость исчезла вместе с притворством. Оказывается, ему важно понять, чего хочет приезжий.

— Бандитские сволош! Наш народ — сволош. Кто против власти идет — сволош! — Говоря русское ругательство, старик обнажил беззубые десны, злость, как зловоние, вырвалась из глубины его души. Чиновник перед ним был молодой, худой, жесткий. Загорел на нашем солнце, сволош! Лоб черный, волосы как солома, а глаза как небо зимой. Не серые, не голубые. Не поймешь. От таких глаз добра не жди.

— Меня интересуют зачинщики. Кто первый напал на русских солдат, кто командовал?

Ткаченко обратился к списку арестованных. Список был алфавитным, и Ткаченко начал подряд.

— Атамбеков Ибрай?

Старик сразу сказал русское слово «сволош». С помощью этого слова старик объяснял про всех.

— Большой сволош, бедный сволош, нахальный сволош.— Лицо свидетеля выражало презрение.

— Ауельбаев Есим.

— Тоже сволош. Все они сволош,

— Байсейтов Мейдахмет.

Старик отвечал довольно однообразно и презрительно. Список был человек в сорок, о каждом приходилось задавать много дополнительных вопросов, и это отнимало уйму времени. Старик ничего не скрывал, но все, что он знал, вылезало из него слишком медленно. Хорошего он ни про кого не говорил, характеристики начинались с высокомерной усмешки.

Ткаченко имел терпение выслушать и записать то, что представляло интерес не только для самого следствия по делу о бунте на ярмарке, но и для характеристики лиц, причастных или подозреваемых в причастности к смуте среди инородцев. Например, он заносил на листы все связанное с упоминанием русских имен, все о связях степняков-кочевников с киргизскими же рабочими рудников Байконура и Карсакпая. На это нацеливал Ткаченко полковник Новожилин. Он объяснял, что пролетаризованный кочевник, общался с русскими, научается не только водку пить и материться, но, что особенно неприятно, усваивает образ мыслей и противоправительственные идеи, которые для степняков с их незрелым сознанием совершенно губительны.

И о непосредственных связях киргизов с русскими ссыльными сообщал старик. Упоминались Иван Деев, Дмитрий Денисов и конечно же Николай Токарев. Ткаченко много знал о Токареве, хотя рад бы знать и помнить меньше.

Николай Васильевич Токарев лишил его сестры. Надо же случиться такому, что, взяв девочку-сироту в дом как прислугу, господин Токарев выучил ее грамоте, воспитал сообразно своим представлениям и женился на ней законным браком. Это случилось еще в Кустанае. Сестра жила хорошо, с мужем дружила, ходила по городу чистая, веселая, располневшая, а брату казалось, что она обманута, что она дурочка, которая верит врагам своим.

Варвара и впрямь казалась Ивану не вполне нормальной. Она не помнила зла, которого видела в жизни больше, чем многие другие, она простила мироновским мужикам изгнание несчастного их отца, смерть матери и то, что никто из бывших односельчан не позаботился о сиротах. Прежде чем стать прислугой в доме Токаревых, Варвара служила у Голосьянкина, и Людмила, скорая на руку, как все истерички, несколько раз была девочку. Но и ей дура все простила. Было известно, что Варвара дружит со ссылкой толстовцем Михаилом Новиковым.

— А еще говорят про жену Токарева, учительницу, — сказал старик, и слова его резанули Ткаченко. — Говорят, что она с нашим Амангельды... кое-чем занимается... Хе-хе...

Старик бы не постеснялся и проще сказать, что он думает про отношения каждого здорового мужчины и каждой красивой женщины, но чиновник так глянул на него, так сжал губы, что лучше было заткнуть себе глотку. Полностью сделать этого старик не смог, продолжал хихикать.

Уклопиться от этой темы Ткаченко, однако, не желал, не имел права. Амангельды, которого упомянул старик, наверно, тот самый Амангельды Удербает, который стоит в конце списка, но который интересовал полковника Новожилова, пожалуй, больше всех других, арестованных на ярмарке.

— Так что же вы можете рассказать мне про этого... Амангельды?

— Удербает. Амангельды Удербает. Иногда называет себя Иманов. Это по деду. Дед у него был Иман, большой бандит.

— Так и запишем: Удербает Амангельды, внук Иманов. Что вы можете рассказать о нем?

Старик неожиданно задумался. Выражение скабрёзности исчезло, глаза невидяще глядели куда-то вдаль.

— Про Амангельды я знаю все,— сказал старик. Он про всех говорил так, но тут в его интонации звучало что-то совсем другое.— Про этого я знаю все, он из моего аула был, моим батраком был, он...

Старик говорил шепотом и смотрел в стену:

— ...он первый при всех назвал меня Яйпеголовым, и с тех пор не стало бая Кенжебая Байсакалова, я стал Яйпеголовый... Я два раза хотел убить его, но баксы Суйменбай запретил мне это, потому что Амангельды находится под охраной сильных джиннов. Я убедился, что это так, я два раза стрелял в Амангельды, но мои пули пролетали мимо, хотя я стрелял с такого расстояния, с какого всегда попадал в бегущего суслика... Это сильный, хитрый, умелый сволош! Он дружит с русскими господами, он приятель Смаила Бектасова, он бандит, уничтожающий своих врагов, он певец, который может опозорить любого.

Из всего, что было сказано, Ткаченко заинтересовался прежде всего дружбой с Бектасовым. Он попросил старика рассказать об этом.

Оказалось, что нынешний волостной управитель Смаил Бектасов — сын бывшего волостного Калдыбая — учился вместе с Амангельды в мусульманской школе у муллы Асима, что старый Бектасов приручил Амангельды с молодых лет и использовал для борьбы с многими врагами. Именно покровительство волостного и его сильного рода не раз спасало молодого батыра от наказания. По словам Яйпеголового, получалось (теперь, когда Ткаченко узнал про кличку, которую придумал Амангельды, он не мог и мысленно называть бывшего бая Кенжебая иначе), что впервые разбойник и волостной объединились два десятка лет назад.

Рассказывая про Амангельды, старик распалялся все больше, и голос его обретал молодую звонкость. Он почти кричал:

— Самый ленивый был батрак и самый нахальный! За переда и подошвы увел коня! Это был золотой конь! Мать его была Басре-бие в табуне самого Алтынсарина, отец — из туркменских табунов. Я отобрал у щенка свое добро, как кость вырывают из пасти волкодава. Я приехал вместе с тогдашним волостным Калдыбаем, и тот смотрел со стороны, а потом объединился со щенком и вместе с ним стал мстить мне... Он мстил мне за все, что было и чего не было, он мстил мне за бабу, которую сам бросил, он мстил мне за то, что я дружу с русскими, он мстил мне, пока я был богатый, как он; он топтал меня, когда я стал бедным, как батрак! А начал все Амангельды...

Пожалуй, больше всего бывший бай переживал случай, когда Амангельды среди ночи пригнал ему тысячный табун краденых коней, рассказал, что хотел продать их Калдыбаю по рублю с головы, но у того не нашлось наличных, а ждать разбойник не хотел. И сам Калдыбай был тут, просил Амангельды погодить с уплатой денек-другой, просил не отдавать лошадей Кенжебаю.

У Кенжебая наличных было как назло больше тысячи. Только что получил, купец Анвар Хабибулин сразу за прошлый год выплатил. Если бы не Калдыбай, если бы не боялся Кенжебай упустить свое счастье на глазах соперника и недруга, не попался бы. Небрежно заплатил он Амангельды по рублю за коня и велел отогнать табун за Терисбутак. На свету, когда чужие уехали, Кенжебай стал разглядывать покупку, сначала рад был, что краденое досталось задаром, но потом вдруг понял такое, что упал на землю и долго катался в росе. Выл и проклинал свое рождение.

Амангельды продал ему его же собственный табун.

Хитросплетения степных интриг были знакомы выросшему в здешних местах Ивану Григорьевичу. Но и он удивился тому, как связаны совершенно разрозненные на первый взгляд люди. Оказывается, старик Бектасов не мог простить Яйцеголовому его дружбы с отцом Борисом, нынешним оренбургским архиереем. А сын Бектасова учился у муллы Асима, который нынче известен во всем мусульманском мире и был даже на торжествах по случаю коронации государя императора на Ходынке, где ему в толпе и панике сломали ногу. Более того, оказывается, именно Яйцеголовый как старший родич принудил креститься своего батрака Бейшару. Боже, до чего все перепутано в этом мире, до чего все люди между собой связаны.

— Удербает арестован и находится под следствием, — сказал Яйцеголовому Ткаченко. — Нам он интересен не сам по себе, а только своими связями. Вы упомянули Бектасова, продолжайте.

Вообще-то, следовало ожидать косвенного и тайного участия киргизской администрации в антиправительственных акциях: так она повышала себе цену одновременно вверх и вниз.

— Скажите, — прищурился старик. — Сами скажите, разве Бектасов Калдыбай — это царь, чтобы власть передавать по наследству? Сначала был один Бектасов... Между прочим, этот Смаил Бектасов тоже ездит к русской учительнице, у него две дочери учатся русскому языку. Она толстая и красивая, к ней многие ездят...

— Удербает женат? — спросил Ткаченко.

— Двое детей, такие же бандиты растут. — Старик плюнул на пол. — Он благодаря дружбе с Бектасовыми хорошо живет, он лучше меня живет, он богаче меня, он сильнее меня; у меня совсем денег нет.

Двадцать пять рублей разрешил полковник Новожилин выдать своему старому агенту Кенжебаю Байсака-

лову. Деньги эти были приготовлены, и расписка лежала среди бумаг, но Ткаченко не спешил, он полагал, что из старика следует вытягивать все до конца. Только дурак думает, что молоко можно долго сохранять в вымени у коровы.

Старик сильно устал и выглядел еще более жалко; камча в его руках не играла, не прыгала. Бывший бай рассказывал, как у него угоняли скот, как вытеснили с пастбищ, как оскорбляли. Еще он говорил о начальнике из Петербурга, который был здесь двадцать лет назад и все записывал и расспрашивал, а теперь опять приезжал, ездил по степи вместе с Амангельды, охотился... Может, он и подучил устроить драку на ярмарке.

Речь шла о наезжающем в степь профессоре Петербургского университета Семикрасове. Ткаченко понял это не сразу. Глупо думать, будто столичный профессор может подстрекать к драке на ярмарке, но для изучения самой крамольной паутины сведения были немаловажные. И еще вырисовывался облик этого самого Удербая: с Токаревыми дружен, с волостным кунак, на ярмарке бандит, собой, как видно, молодец, если в степи хотят верить его связи с русской учительницей. Интересно, что Семикрасов в проводники и спутники по охоте тоже выбрал именно Удербая. Выходит, прав господин полковник — основная фигура именно Удербая Амангельды.

...Кенжебай ехал домой довольный. Двадцать пять рублей — большие деньги, от русского начальника получил, Амангельды и Бектасовым досадила как мог и был рад к тому же, что голубоглазый русский чиновник отвлекся и перестал спрашивать про Кейки. Про Кейки и про учителя Колдырева. Пусть все валится на Амангельды и на его дружков. Так хорошо получается.

Русский учитель сам виноват во всем. Зачем сунулся в это дело, грозил полиции сообщить? Минжановы этого не терпят.

Глава двенадцатая

Голоснянкин перебрался в Тургай лет десять назад. Портняжничать он давно бросил, жил, как говорили, на капитал, полученный в наследство от матери, а здесь собирал у местных жителей всякую экзотическую домашнюю утварь, люльки, узорные кошмы, скупал кустарные девичьи украшения и все это посылал куда-то, говорили, в какие-то музеи. Все свободное время Петр Николаевич тратил на изготовление диких чучел. Для мастерской своей выбрал самую большую и удобную комнату, которая одной дверью выходила в спальню, а другой в столовую, отчего запах повсюду в доме стоял отвратительный.

К Голоснянкиным Ткаченко приехал вечером, его встретили радушно, Людмила зачирикала, защебетала, Петр Николаевич вальяжно басил. Сперва на стол поставили самовар, потом осведомились, не хочет ли гость кофею; покупные вина стояли на столе попеременно с настоекками домашнего приготовления. Пить Ткаченко ничего не стал, только за компанию с хозяином пригубил чуть-чуть из хрустальной рюмки, а к еде отнесся внимательно, ибо в аулах слегка оголодал по причине непреодолимой брезгливости.

— Сестру еще не видели? — как бы между прочим осведомилась Людмила. — Она, по всей видимости, хорошо живет, собой довольна и старых друзей вовсе забыла. А ведь ее взлет с нас начался, и книги-то она впервые у нас увидела... Ваша сестрица в глубине души человек добрый, простой, но муж и жена — одна сатана. Он нос задирает — и она важничает, он с киргизами якшается — и она заодно. А это до добра не доведет. Вот, к примеру, история бедолаги Колдырева. У нас слух был, что погиб он потому, что, не доверяясь полицейскому следствию, затеял свое следствие против тех, кто над девочкой-сирот-

кой из школы надругался. Это исмурзинская девочка, оп ее к Варваре Григорьевне когда-то направил. Не всем слухам верь, но не зря же девчонка удавилась в тринадцатъ-то лет. Мы все взрослые люди. Вот я и спрашиваю вашу Варвару Григорьевну про это: что, мол, правду ли говорят, будто ученицу какой-то джигит поймал, когда она в поле цветы собирала? Вы знаете, что она мне ответила? Она сказала, что это трагедия, что девочка-де была чистейшим существом и она не считает возможным продолжать разговор, начатый в таком тоне. Вот и этот Лукьян Васильевич по молодости лет тоже воспринял обычный случай как шекспировскую трагедию. С тысячами женщин такое случалось, с тысячами еще случится, и в петлю соваться можно только по глупости. Поверьте мне, я все про это понимаю, я такое видела...

Ткаченко отметил про себя, что обывателей больше всего интересует именно убийство Колдырева и все связывают его с самоубийством девчонки из женской уездной школы. Манит к себе «клубничка». Вспомнил он и про то, как забеспокоился длинноголовый соглядатай, когда его спросили про Кейки.

— А не кажется ли вам, что с этим может быть связан кое-кто из уже арестованных зачинщиков? Например, Удербает Амангельды.

— Это исключено,— категорически возразил до сих пор усмешливо молчавший Петр Николаевич.— Я его хорошо знаю, он охотник, рыцарь, если хотите, местный Робин Гуд, он на зверства не способен. Кроме того, у него сейчас тяга к цивилизации, видите ли, и на этой почве близость с господином Токаревым и Варварой Григорьевной. Я, между нами говоря, готов допустить, что Лукьян Васильевич сам виноват. Кого-нибудь ударил, ввязался в драку на стороне солдат и пострадал зазря. Может быть, конечно, и то, про что моя супруга так любит порассуждать.

Разговор вновь перекинулся на Токаревых. Людмила стала говорить про «типично русскую красоту» Варвары Григорьевны и намекала на то, что столь славный джигит, как Удербает, опасен в доме, где муж занят книгами, брошюрками и бесплатной адвокатской практикой.

— Не беспокойся, Людочка, понапрасну! Толстовцам ничего не опасно: ведь они всегда готовы подставлять вторую щеку, когда схлопочут по первой,— пробасил Голоснякин.

Все это не нравилось Ивану Григорьевичу, а бесконечные намеки на связь его родной сестры с ныне арестованным киргизом просто злили. Ткаченко нарочно стал зевать и часто моргать.

Постелили ему в столовой на широком диване. Он принялся еще раз перечитывать то, что относилось к цели командировки. Прежде всего опять взялся за «Тургайскую газету». Было в писаниях Бирюкова что-то притягательное, подкупающее то ли глупостью, то ли наивностью.

«Бегу... навстречу командир и за ним несколько вооруженных винтовками казаков спешат к мосту; тут заметил вышедшего к воротам судью и сообщил ему о происшествии. Идти туда он, видимо, не решился и мялся. «Пока я ничего не вижу»,— говорил он. Я убедил наконец его, что дело очень серьезное, предлагал ему себя в провожатые и уверял, что его присутствие произведет на толпу впечатление и что уже есть раненые и вызваны войска. Вдруг послышался выстрел, а затем раскатом другой из трех или четырех ружей. Детям и женщинам закричали: «Спасайтесь от шальных пуль за стены домов»; казаки же — прасолы — стали говорить, что и им нужно просить у начальства ружей.

После этих выстрелов толпа киргиз шарахнулась от огорода в стороны, большинство же к ярмарке, одна за мост с гиком и воем. Виднелись группы, их было до

50 человек, но за страшную пылью трудно было даже в бинокль рассмотреть, что там творится. Как теперь выяснено, бедного учителя Колдырева одна из этих групп разъяренных киргиз выхватила на глазах из толпы, где были и стражники-киргизы, и помчала в степь...

31 мая мы присутствовали на печальном обряде погребения этого мученика». Следователь Гавриил Бирюков весьма подробно описал труп, найденный вдали от Тургай, упомянул, что чулки на несчастном были изодраны, пересказал несколько речей, произнесенных официальными лицами над гробом Лукьяна Васильевича Колдырева, а свою собственную речь процитировал, видимо, целиком. Он призвал кары небесные для наказания убийц, кои по должности сам обязан был разыскать и наказать.

Официальное заключение выглядело довольно объективно.

«Из показаний командира полусотни подъесаула Угрюмова, некоторых мещан и солдат выяснились следующие обстоятельства, события 27 мая в г. Тургае. Рядовой Прокопий Мисик работал на гарнизонном огороде, который находится в расстоянии одной версты от гарнизонных казарм. Туда въехали несколько киргиз и, несмотря на запрещение, привязали лошадей к изгороди огорода и стали купаться. Мисик стал гнать киргиз, киргизы начали кричать. День был жаркий и душный. Лошади беспокойно метались на привязи, ломали жерди изгороди. Один из киргиз ударил Мисика по лицу. Мисик ответил тем же, тогда киргизы с диким криком бросились на него, но рядовой Мисик успел прибежать к караулке и захватить из нее казенное охотничье ружье. Несколько нижних чинов забрались на крышу караулки.

Киргизы обступили караулку и с криком лезли на солдат, стараясь сбить их с крыши. Фельдфебель Дырянин и огородник, казак Тиряков, шашками отбивались. Толпа киргиз кругом караулки и на мосту кричала и,

разобравши изгородь, начала жердями и палками избивать нижних чинов, стоявших наверху.

О происшествии было дано знать воинскому начальнику, по распоряжению которого была вызвана на огород воинская команда, заставившая киргиз отступить к ярмарке. Пострадавшими оказались фельдфебель и ефрейтор, у которых лица были залиты кровью, двум рядовым нанесены ссадины на голове, лице и плечах...

Приблизительно в это время около харчевни раздался душу раздирающий крик, на который диким же криком отозвалась вся киргизская толпа, воинственно махавшая палками. Воинской команде было приказано двинуться на киргиз; последние разбились на отдельные кучки. Один из киргиз замахнулся палкой на воинского начальника, но подоспевший рядовой Тартак ударил этого киргиза штыком ружья. Киргиз ускакал, штык оказался в крови. Киргизы под натиском солдат и казаков отступили и верстах в двух от ярмарки разбились на мелкие партии. Посланные для успокоения киргиз Турсунский волостной старшина и почетный киргиз, возвратясь, заявили, что киргизы начали разъезжаться. По удалении киргиз разнесся слух, что пропал с ярмарки аульный учитель Колдырев, поиски которого не дали ни в этот день, ни в другой день желанного результата. Только 29 числа труп Колдырева был найден в нескольких верстах от города.

Впоследствии, как выяснилось, во время нападения киргиз, были случаи грабежа лошадей и рогатого скота; караулка на огороде оказалась ограбленной, похищено много казенного имущества, постельные принадлежности и имущество огородников — сундуки с вещами и проч.».

Было очевидно, что причина всему этому безобразию — вышеозначенный рядовой Прокопий Мисик. Он первый ударил киргиза и конечно же первый схватился за ружье, когда получил сдачи. Если по-умному посту-

пять, то наказать надо именно этого дурака Прокопия, однако, как точно знал каждый в Тургае, на это никто из начальства не согласился бы.

Может быть, Ткаченко и ошибался, но порой ему представлялось, что прежде отношения между киргизами и русскими были более дружественными, драки куда чаще возникали в среде русских или в среде степняков, а тут чуть не войной готова идти нация на нацию. Куда бы лучше, думал Ткаченко, если бы киргизы между собой дрались или же с соседями-магометанами. Они ведь, каналы, как могут рассуждать: коли русские у себя бьют жидов, пришедших к ним со стороны, то почему нам не бить у себя русских пришельцев. Дурной пример опасен, особенно для диких людей. Ведь не в одном Тургае подобное происходит. Совсем недавно чуть не такая же история случилась в Атбасаре, это ближние соседи. Началось тоже на ярмарке, два часа сеча длилась, воинская команда была вызвана, раненых тридцать два, из них шесть русских. Умерло трое, один убит на месте. Это, на счастье, все инородцы. Конечно, за инородцев тоже спросят с полиции, но за своих спросили бы куда строже.

Лампа начала моргать и коптить: кончился керосин. Иван Григорьевич задул ее и накрылся одеялом. Сначала сильно завоняло керосиновой копотью, потом опять в воздухе возобладало амбре чучелодельной мастерской. Пахло камфарой, карболкой, пеньковым канатом и плохим мылом.

Варвара Григорьевна Токарева еще с вечера знала, что брат приехал в Тургай и остановился у Голосянкиных, но мужу она не сказала об этом. Николай Васильевич наутро должен был выехать в Оренбург по делу арестованных киргизов и до поздней ночи собирал, сортировал и укладывал в пачки свидетельские показания и собственные записки. Он не любил шурина, и, хотя не воз-



ражал против его встреч с сестрой, настроение у него портилось основательно.

Утром Варвара Григорьевна отправила мужа в дальнюю дорогу, а сама пошла в школу, где первым уроком был русский язык, самый трудный предмет для аульных детей. Именно сегодня Варвара Григорьевна собралась дать контрольную в третьем классе — хотелось узнать, что помнят дети после летних каникул.

Контрольная по русскому языку состояла из двух частей. Сначала письменная проверка написания отдельных слов, потом диктант. Варвара Григорьевна провела половину урока и облегченно вздохнула, увидев, что с переводом слов ребята справились. Слегка беспокоило, что брат не появляется.

— Теперь, ребята, мы проверим, как вы можете написать маленький и совсем простой диктант. Напишите заголовок: «Осень...»

...А Иван Григорьевич Ткаченко не торопился к сестре. Он сидел в низком деревянном кресле в мастерской Петра Голосянкина и пытался вытянуть из него что-нибудь ценное о жизни тургайской интеллигенции. Голосянкин еще по приезде в Кустанай от регулярного сотрудничества твердо и решительно уклонился, а Людмила при всей ее неукротимой общительности и болтливости не могла считаться надежным источником информации.

Петр Николаевич в длинной выцветшей блузе стоял у верстака, препарировал довольно крупного беркута и вел вежливую беседу с жандармом. Он был рад, что Ткаченко открыто остановился у него, это лишний раз доказывало: тайными агентами в управлении их с женой уже не считают.

— Моя мечта — создать коллекцию хищников. Всех хищников, которые обитают в России, — говорил Голосянкин. Он паклей забил беркуту клюв и отверстие клоаки,

разобрал на груди перья, острым ножом разрезал кожу и тут же присыпал крахмалом.— Только вот вопрос, кто есть истинные хищники? Это философский вопрос! Я приближаюсь к мысли, что все живое существует хищничеством, и поэтому, если попадается интересный зверек с целой шкуркой, я его тоже готов включить в свою коллекцию... Ведь если бы Лукьян Колдырев докопался до виновника самоубийства той юной киргизки, то пострадал бы тот и сам Лукьян оказался бы хищником... Вот и суди.

Ткаченко невольно следил за сильными пальцами Голосьянкина, снимавшими шкуру с перьями, как чулок. Он понимал, что разглагольствования Петра Николаевича имеют цель вежливо принять гостя, но не стать невольным доносчиком. Это интересная черта бывших сотрудников — очень хотят отгородиться. Желание искупить прежние грехи столь велико, говорят сведущие люди, что иной штатный провокатор от всего сердца и бомбу готов швырнуть в какую-нибудь высокую особу, чтобы в чужих глазах оправдаться, а еще больше для самоуважения. У эсеров так часто бывает. У других, наверно, тоже есть.

— Хищник хищнику рознь,— продолжал рассуждать Голосьянкин.— Не зря говорится: на то и щука в море, чтобы карась не дремал.

— Господин Голосьянкин,— набравшись духу, сказал Ткаченко.— Я ведь не сведения собираю, у вас сидючи. Я просто по знакомству хочу узнать мнение человека образованного, опытного, мудрого и глубоко порядочного, каким почитаю именно вас. Смотрел я, к примеру, подписной лист добровольных пожертвований, собранных, чтобы почтить память покойного учителя. Смотрел, а не расшифровал. Среди жертвователей Абен Тастемиров — 3 рубля, Алексей Андронов — 1 рубль, Кузьма Прошкин — 1 рубль 50 копеек, Андрей Федотов — 1 рубль

20 копеек, Смаил Бектасов — 3 рубля, а вот Муса Минжанов — 5 рублей. Спрашивается, почему некий инородец Тастемиров и другой инородец Бектасов жертвуют больше, нежели русские сотоварищи убиенного учителя? А почему Минжанов всех больше? Я не как официальное лицо, а как человек интересуюсь.

— Ежели как человек, то должны понимать, что Бектасов и Тастемиров — баи, а Прошкин и Федотов учителя. У них достаток другой.

— Только это?

— А что ж еще?

— Пожалуй, вы правы. Но вот еще вопрос. Почему по всем документам вначале проходит, что главным зачинщиком беспорядков на ярмарке был возчик Байтлеу Талыспаев, а потом мнение меняется, причиной всего зла называют Амангельды Удербаета?

— Я в полицейскую логику вникнуть не могу, не хочу и не имею возможности, — прищурился Голоснякин. — Но ваш вопрос свидетельствует о том, что вы не советуетесь со мной, а пытаетесь косвенно получить сведения, которые могут быть использованы не так, как я хочу. Поэтому скажу вам, как на допросе: Амангельды я знаю довольно изрядно. Он охотник, каких мало, птицу бьет влет пулей, а не дробью, то же со зверями. Шкурка остается целой, и для чучел покупать у него товар просто удовольствие. Кроме того, он не торгуется, а называет цену, от которой не отступает ни на копейку. Это тоже хорошо, ибо надоедает торговаться, а не торговаться здесь нельзя, дураком сочтут. В-третьих, господин Ткаченко, Удербает внутренне интеллигентен. Да-да! Именно так. Я знаю его не очень хорошо, но интеллигентность его очевидна. Не зря профессор Семикарасов так любит с ним беседовать и целую статью построил на его рассказах. Вы не читали, конечно? Зачем нам умные статьи читать, мы сами умные.

Голос Петра Николаевича звучал теперь вовсе не на басах, а чуть ли не тенорово. Ткаченко догадался, что бас у него наигранный, вроде специального покашливания. Когда же он забывается, то говорит совсем иначе.

— А там мудрая мысль высказана,— продолжал Голосянкин.— Семикрасов сравнил нынешнюю форму обложения киргизов с прежней покибиточной податью. Теперь вроде бы справедливей стало, ибо учитывается количество скота, однако на самом деле положение бедняков ухудшилось. Только в канцеляриях значится, что подати распределены по благосостоянию и сумма взноса богача в десять раз превосходит взнос бедного киргиза. На самом деле это фикция, обход закона, потому что бай всегда взыскивает разницу со своих батраков. Могу голову дать на отсечение, что господин Семикрасов сам бы этого скрытого от глаз европейца явления вовек не уловил, и смею уверить, что без совместных поездок с Удербаяевым никогда до этих выводов не дошел бы...

Голосянкин вдруг швырнул трупик беркута в угол и, хлопнув дверь, вышел из мастерской. Вернулся он минут через двадцать и заговорил обычным своим солидным баском:

— Очень сожалею, что отнял у вас время своими пустыми соображениями, а относительно дружбы профессора Семикрасова и этого охотника Амангельды — все это мои домыслы, так сказать, фантастические предположения. Сам я ничего подобного от Удербаяева никогда не слышал. Ссылаться на себя в любом случае категорически запрещаю. Подчеркиваю! Простите, если задержал.

Ткаченко шел в школу вполне довольный беседой с Голосянкиным. Он узнал больше, чем намеревался, и все рассчитал точно. Болтливость свойственна этому сорту людей. Даже зарекшись говорить лишнее, они все равно не могут удержаться. Понос у них на секреты. Ведь не

хотел, в самом деле не хотел Голосьянкин рассказывать историю написания Семикрасовым статьи о податной системе, а выболтал все или почти все.

Варвара Григорьевна в окно увидела брата и вышла на крыльцо. Она и вправду была очень хороша собой. Смуглая, со светлыми волосами, стройная, крепкая, чуть полноватая и такая же синеглазая, как брат. По-мужски протянула руку, сказала громко, заглушая в себе неловкость:

— Давно мы с тобой не виделись, Иван Григорьевич. Ты вроде бы и не меняешься вовсе.

— В прошлый раз ты называла меня господином жап-дармом...

— Я не знала точно твоего чина и боялась ошибиться.

— А теперь знаешь?

— Теперь я много о тебе знаю. Даже знаю, зачем ты приехал нынче и кем особо интересуешься.

— Кем же это? Интересно!

Варвара Григорьевна поборолла в себе неловкость произвольной фальши, которой человек боится в себе, когда вступает в слишком сложные и вынужденные отношения.

— Сегодня я могу пригласить тебя к себе,— сказала она.— Николай уехал.

— С толстовцами дружбу водит, а по отношению ко мне смирения и непротивления обрести не умеет,— сказал Ткаченко.

— Ты и про толстовцев знаешь.

— Ну, это не секрет. Толстовцы под нашим наблюдением. Муж твой, кажется, тоже пока не снят с учета... Так что же говорят о цели моего приезда? Что предполагают?

Варвара Григорьевна вовсе успокоилась. Брат не пробудил в ней родственных чувств, напротив, он умертвил все детские воспоминания.

— Обыватели большие выдумщики на наш счет,— криво усмехнулся Иван Григорьевич.

— Людмила Голосянкина сказала мне, что ты вчера весь вечер расспрашивал их за чаем про Амангельды Иманова. По-вашему — Удербаева. Она специально наведася в школу и выложила мне это на перемене. Она, вишь, подозревает, что у меня с Амангельды амурные отношения, и пыталась по выражению моего лица утвердиться в этой мысли.

— И утвердилась? — Иван Григорьевич понял, что Варя настроена на редкость враждебно, раз так вот в лоб рассказала о визите госпожи Голосянкиной. Досада на эту чудовищную сплетницу обернулась черствой расчетливостью в разговоре с родной сестрой.

Варвара Григорьевна провела его в кухню.

— Прислугу я отпустила на три дня.

Она думала о нем, как о постороннем. Что главное в его жизни, чем он живет и для чего? Не женат. Не пьет. Кажется, и не развратничает. Есть в нем что-то аскетическое, монашеско-католическое, вернее, иезуитское. Мысль о католических монахах и священниках тут же привела на ум соображение о тайных пороках. Странно, что и это не показалось ей неуместным сейчас, когда она разговаривала с родным братом, когда впервые за несколько лет видела его совсем близко.

— Я хочу тебя предупредить, Иван,— строго сказала Варвара Григорьевна.— Есть порядочные люди, которые не позволят вам вершить произвол. Я понимаю, вы хотите воспользоваться случаем на ярмарке, чтобы расправиться с людьми, вам неудобными.

— Какая глупость,— брат сокрушенно покачал головой.— Почему мы хотим произвола? Кто это за произвол? Властям произвол вреден.

— У нас сегодня обед будет из одного блюда,— Варвара Григорьевна оставила без ответа фальшивые вопросы

брата.— Суп с рисом. Мясо можно положить сразу, можно — в качестве второго блюда.

Ели не спеша, суп был горячий, хлеб отрезал от буханки каждый для себя; совсем по-простому, как раньше, но душевной близости не возникало.

— Случай с девочкой вам не удастся приписать никому из арестованных, потому что степь знает виновников. И вы знаете, только притворяетесь. Вам выгодно любые эксцессы объяснить якобы природным зверством степняков, вам не хочется отдавать под суд своих ставленников. Странное дело, все произошло на земле вашего волостного Минжанова, вблизи его летовки, но никто из его батраков до сих пор не вызывался для допросов. А ведь и Лукьяна Колдырева нашли в той же стороне... Конечно, вам бы хотелось приписать это именно Амангельды, потому что он неудобен вам больше других. Уж вы бы постарались! На беду свою вы сами создали ему алиби, постаравшись схватить его прямо на ярмарке. И свидетель Василий Рябов показывает, что в начале потасовки видел Амангельды, тот вовсе не собирался драться с солдатами, а покупал уздечку черкесской работы.

«Неужто и впрямь права эта сука Людмила, — подумал Ткаченко, слушая сестру и глядя в ее синие глаза. — Женщина ради плотского чувства способна на все».

— А ты убеждена, что знаешь истину? Бабы сплетни про Минжанова ничем не хуже, чем подозрения госпожи Голосянкиной о твоей связи с киргизом Удербаяевым.

Варвара Григорьевна продолжала, будто и не слышала обидных слов:

— Ты знаешь, что в этом году впервые в степи возник протест против сборщиков подарков, что впервые вновь избранные волостные управители, бии, или, как вы их называете, народные судьи, и аульные старшины лишились возможности вернуть то, что истратили на подкуп избирателей во время выборов. Ты понимаешь, что

это значит для законных грабителей, которые только и держатся связью с русской администрацией?

Сестра говорила правду, но он не хотел с ней соглашаться. Впрочем, он давно уже был занят следующим интересным наблюдением: в отличие от Голосянкина, сестра не назвала ни одного нужного ему имени и не связала имени Амангельды с борьбой против сборщиков подарков.

— Вся беда России в том и состоит, что никто не может причинить ей больше вреда, чем собственное правительство,— говорила Варвара Григорьевна.— Ты Салтыкова-Щедрина читал? Ну, хоть «Историю одного города»?

Глаза ее неожиданно потеплели, наверно, ей показалось, что брат ее не вовсе безнадежен, что есть вещи совершенно очевидные, и с них надо было и начинать. Салтыков-Щедрин, например, прекрасная точка отсчета для разговора о государстве, о насилии, о справедливости и несправедливости.

— К сожалению, сестричка,— громко вздохнул Иван Григорьевич,— жизнь есть жизнь, а книжки остаются книжками.

Он понял, что сестра окончательно погублена влиянием мужа и его дружков, что она враг и напрасно он так долго был щепетилен в отношениях с ней и ее драгоценным супругом. Кстати, вряд ли они хорошо живут при такой разнице в возрасте.

— Я слышал, что Амангельды дружен с Бектасовыми, а Бектасов дружен с учителем Дулатовым Миржакупом.— Ткаченко спрашивал не стесняясь.— Ты этого Миржакупа наверняка знаешь. Он ведь грамотей.

Сестра стала убирать со стола.

— Извини, что на кухне покормила. Мы с Николаем Васильевичем тоже иногда здесь едим, когда на скорую руку. Ты надолго в Тургай? Ах, сегодня же и уезжаешь? Понятно. Ну, что ж, приятно было видеть, что ты жив-

здоров, жаль только, что и в остальном не меняешься.

Она вышла на крыльцо проводить брата, смотрела, как он идет по улице в сторону тюрьмы, понимала, что этот разговор, может быть, навсегда отдалил их друг от друга, но все же почему-то крикнула вдогонку:

— Ты бы женился, Ваня!

Иван Григорьевич обернулся, и во взгляде его промелькнуло презрение. Он не любил, когда люди расслабляются, он не выносил, когда его жалели.

Глава тринадцатая

В тургайской тюрьме было девять камер: шесть больших и три крохотных — одиночки. Впрочем, двери всех камер постоянно были открыты настежь, арестанты целый день бродили по коридору и по тюремному двору, запирали их только на ночь. С весны двор был зеленый, поросший травой, возле конторы цвело несколько кустов шиповника, теперь траву посреди двора вытоптали, шиповник пожух и посерел, а начальник тюрьмы день ото дня становился все злее и злее, грозился запереть арестантов по камерам и выпускать только на opravку и прогулку, как положено. Угрозам начальника никто не верил, потому что штат надзирателей был неполный, а хлопот с отпиранием и запираанием дверей всегда множество.

Пожалуй, никогда эта тюрьма не бывала такой перегруженной. В прежние годы в ней одновременно содержалось человек по пять — семь, в периоды после ярмарок и выборов в местное управление — по десять или пятнадцать. Ярмарка всегда давала богатый улов, попадались заезжие конокрады, мелкие мошенники, пьяные прасолы из уральских казаков, заходные беспаспортные бродяги, ищущие земли обетованной, ну и, конечно, драчуны

всех национальностей. Обычно тюремное начальство каждому арестанту паходило занятие по самообслуге или, что еще лучше, приспособлявало для своих нужд. Преступники и подследственные довольно охотно за небольшую мзду и просто ради борьбы со скукой возделывали огороды начальника и надзирателей, делали саманные кирпичи, а наиболее спокойные иногда отпускались на всевозможный отхожий промысел с условием приносить оброк начальнику. В нынешнем году ярмарка дала улов огромный, сорок с лишним человек были взяты в один день, 27 мая, потом брали еще и еще... За неделю в камеры набили человек семьдесят. Кухня не справлялась с приготовлением баланды, в отхожее место с подъема до обеда стояла очередь, арестантов заедали вши, и нависла угроза возникновения сыпного тифа и других страшных болезней.

Великим благом оказалось, что заключенные все были местные, что передачи им возили регулярно, а конвоиры за рубль или два соглашались группами водить арестантов в городскую баню или на речку купаться. Всякий, знающий тюремную жизнь и нравы, понимает, как много значит тот порядок, который заключенные устанавливают для себя сами. Бывает, все вершится для грабежа слабых сильными, бывает, просто для измывательства, которое как-никак прогоняет скуку, а бывает, что заключенные устанавливают порядок такой справедливости, о каком и в некоторых семьях только мечтают. Все зависит от того, кто задаст тон, кто, как издавна говорят арестанты, «держит» камеру или даже всю тюрьму.

Тургайскую тюрьму «держал» Амангельды Иманов. Трудно сказать, чем была обеспечена его власть, но выражалась она в том, что среди истомленных неволей людей вовсе не возникало драк, что и скандалы гасли быстрее, чем обычно это бывает, что многие продукты из передач поступали в общий котел. Кстатц, на это лето

в тургайской тюрьме появился второй, дополнительный к казенному общий котел. Он стоял в углу двора, и готовили в нем национальную пищу. Амангельды устроил так, что арестантов стали водить в баню; через Токарева он добился, чтобы еженедельно в тюрьму приходил врач и два раза в неделю — фельдшер.

Если бы не строгие предупреждения областного начальства, начальник тюрьмы в благодарность за наведение порядка отпускал бы Амангельды домой на день-два, как делал это обычно за подарки или по просьбе знакомых. К сожалению, Амангельды находился на особом положении, и единственное, что можно было сделать для него, — беспрепятственно разрешать свидания с женой и детьми.

Домашние приезжали к нему часто, начальник выпускал арестанта на лужок перед конторой и сам смотрел на чужое семейное счастье, которое притягательно и очевидно каждому, даже смотрящему со стороны.

Семейство Иманова занималось своими делами, отец играл с сыновьями, боролся, возился, сидел над какой-то книжкой. Потом они все вместе ели привезенную из дому пищу и вообще чувствовали себя словно на пикнике.

В камере Амангельды был ровен со всеми, сдержан и слегка ироничен. Ко всему вокруг он приглядывался чрезвычайно внимательно, и это, видимо, скрашивало для него долгое и тяжелое безделье. Он умел внимательно выслушивать рассказы других арестантов, редко вмешивался в разговоры и вовсе не старался быть в центре внимания. Только когда он брал в руки домбру, все затихало вокруг и все арестанты, включая двух цыган — мужа и жену, арестованных по подозрению в сбыте фальшивых ассигнаций, русского бродягу, не помнящего родства и собственного имени, беглого каторжника с бельмом на глазу и прасола Сукина, в драке убившего своего двоюродного брата, — все арестанты слушали его песни.

И конвойные любили слушать песни Амангельды, и сам начальник тюрьмы иногда подходил к камере, не понимая, что может быть хорошего в длинных и быстрых речитативах, сменяемых бурными перебивками с резким отыгрышем. Начальник в детстве пел в Вязьме в церковном хоре, но не знал, что настоящая, пусть даже самая необычная музыка завораживает любого, у кого есть способность слышать.

Как это ни странно, Амангельды заметил, что не слишком тяготится пребыванием под стражей. Ему многое открывалось впервые, он впервые видел людей так близко и так непрерывно.

Говорят, что дети умнеют во время своих болезней. Дело, видимо, в том, что неподвижность физическая создает иные углы зрения, иначе видится то, что раньше не привлекало внимания. Вот и тут, в тюрьме, Амангельды впервые увидел превращения, о возможности которых прежде не подозревал. Взять хотя бы того же Байтлеу Талыспаева. Прежде это был спокойный и положительный, осевший на постоянное жительство в Тургае казах, который никогда ни в чем противозаконном не замечался. Полагали, что он, получая жалованье из казны за работу возчика почтовых грузов, имея скот на ближних пастбищах и большую бахчу, выбьется в настоящие богачи, заведет торговлю или станет домогаться какой-либо выборной должности. Какая сила толкнула добропорядочного Байтлеу в самую гущу событий, что заставило его вступить за приехавших из степи пастухов, по незнанию привязавших коней к изгороди, окружающей казенный огород?

Теперь, в тюрьме, Байтлеу то полностью отрицал свое участие в потасовке, то говорил, что вмешался, чтобы умиротворить обе стороны, то вдруг разъярялся и кричал, что всех русских надо гнать из степи, надо привязывать их за ноги к конским хвостам и волочить до

самого Оренбурга. Объяснялось это, по-видимому, не только истеричностью характера, которую в нем прежде не замечали, но еще и страхом, который нагнал на него следователь, поначалу собиравшийся сделать его главной фигурой обвинения. Когда Байтлеу надеялся избежать смертной казни, обещанной следователем, он пытался даже в разговорах с товарищами преуменьшать или вообще отрицать свою вину, когда же он приходил к мысли, что его повесят или расстреляют, то он испытывал неодолимое желание погибнуть не зря.

Амангельды наверняка знал, что смертная казнь Байтлеу не грозит. Ни в каких насильственных действиях он изобличен не был. Лишь солдатик Прокопий Мисик, заморыш и трус, показывал, что возчик требовал, чтобы русские солдаты стали на колени перед мятежниками.

В одном из разговоров с Токаревым, который в последнее время часто заходил в тюрьму и беседовал со многими, чтобы выработать стройную систему защиты на предстоящем суде, Амангельды высказал предположение, что Мисик потому указывает на Талыспаева, что лицо его было ему прежде знакомо, тогда как других участников потасовки он видел в первый раз. Немаловажно и то, что Байтлеу говорил по-русски: Мисик понял, чего тот от него хотел, и запомнил это. Удивительным было, однако, не только то, как спокойный и тихий почтовый служащий превратился в одного из главных бунтарей, но и то, как теперь из этого человека вылез совсем другой, то не в меру разговорчивый, то неделями молчащий. Он и внешне очень изменился, несчастный Байтлеу: ужасно исхудал, хотя жена приносила ему передачи, и все время молился. Он явно поглупел в тюрьме, потерял себя, и причина, как казалось Амангельды, заключалась в том, что, вмешавшись в чужую драку, он нарушил плавное и целенаправленное движение своей хорошо продуманной жизни. Слишком резко повернул!

Большинство людей в тюрьме умнело. Особенно заметно это было на самых простых, кто прежде ничем не выделялся. Вот например, три батрака, три друга: Есим Аульбаев, Сейдахмет Байсеитов и Хакимбек Мусеров. Видно, никогда прежде не было у них времени обдумать самые простые вещи, не было возможности поговорить друг с другом, посоветоваться. Они на воле не были друзьями, а здесь всегда держались вместе и говорили всегда об одном и том же. Каждый рассказывал истории из своей жизни, и, хотя эти истории были до смеха одинаковые, они не уставали их обсуждать. Сюжет всегда сводился к тому, что бай нанимал работников за одну цену, а когда наступала пора платить, то за кормежку, одежду и падеж скота удерживал добрую половину того, о чем договаривались. И продолжение этих историй всегда было одинаковое: пошел бедняк к бию, к судье, тот взял подарок, три месяца тянул разбор жалобы и решил тяжбу в пользу хозяина.

Батраки только здесь поняли, что на воле их за людей никто из сильных мира сего не считал.

В середине лета, в послеполуденную жару, когда обитатели тургайской тюрьмы томились вынужденным бездельем и до ужина никаких развлечений не предвиделось, во двор ввели новичка, который надолго завладел мыслями арестантов и стал центром внимания. Это был совсем старый и дряхлый, но еще более знаменитый, чем прежде, баксы Суйменбай.

Амангельды выделил старику лучшее место на нарах у окна, дал хорошую кошму для подстилки, угостил душистым чаем.

Суйменбай прибыл в тюрьму вместе со своим драгоценным кобызом.

В первый день Суйменбай ничего никому не объяснял, и никто ни о чем его не расспрашивал, но на другой день старик сам заговорил, и тогда в камеру набилось

столько народу, что вскоре стало нечем дышать. Кто-то предложил выйти на воздух, но баксы отказался рассказывать о себе и своих делах на глазах у неверных.

Говорил старик довольно внятно и разумно. Оказалось, что забрали его по настоянию главного русского муллы из Оренбурга. Мулла этот много раз бывал у баксы и в прежние годы, когда Суйменбай, молодой и глупый, ни от кого не скрывал своих связей с джиннами и шайтанами. Тогда и этот русский был совсем молокосос, весь был в веснушках, он ездил тогда по степи, угощал ребятешек желтыми ледышками, и всякий, кто такую ледышку съедал, обязательно предавал закон и обычаи предков.

В речах Суйменбая факты жизни обретали какое-то свое значение, становились в один ряд со сказочными чудесами и почти не отличались от них. Все было равно правдоподобно в его словах, и все было неправдой. Старик явно преувеличивал свое значение, когда рассказывал, что сам главный русский мулла из Оренбурга ездил к царю за разрешением забрать старого баксы, что царь согласился на это, но предупредил, что ни в коем случае нельзя отбирать у баксы его священный кобыз, потому что джины и шайтаны могут обратить свой гнев на север, и тогда всем русским будет худо.

Амангельды понял главное: старика посадили по настоянию главного миссионера Бориса Кусякина.

Как бы то ни было, но прибытие в тюрьму баксы Суйменбая дало почву для новых антирусских настроений, разговоров, для глупых анекдотов.

Амангельды не вмешивался в эти разговоры, хотя мог бы прекратить их разом. Он мог бы напомнить этим людям, что сейчас у них вся надежда именно на русского человека Николая Токарева, что по их делам он за свои скудные деньги ездит бог знает куда, ищет справедливости, нанимает адвокатов, старается, чтобы судьбой тур-

гайских арестантов интересовались русские журналисты из русских же газет. Он сказал бы своим сокамерникам, что русские люди — фельдшер Костюченко и шорник Рябов — были самыми важными и добровольными свидетелями в их пользу, а волостные вроде Минжанова и Бектасова свидетельствуют против или делают вид, будто их все это не касается.

Люди должны высказать то, что хотят. Пока будут говорить, кое-что сами поймут, когда замолчат, выговорившись, еще чуть-чуть прибавят к своему пониманию, ну а остальное надо объяснить. Можно объяснить. Только без нажима.

Вскоре неприятные Амангельды разговоры иссякли как бы сами собой. Дело в том, что старый шаман привык быть в центре внимания и, утратив его, когда арестанты слишком увлеклись русским вопросом, вновь привлёк к себе интерес рассказом о своей жизни и о том, как он стал великим баксы.

Рассказ изобилует множеством очень точных подробностей и выглядел весьма достоверно. Старик увлекся сам, импровизировал, даже помолодел от радости, что его слушает так много народу.

— Мой отец, дед, бабушка, прабабушки и прадеды до двенадцатого колена были баксы. Когда умер отец, джигны выбрали своим повелителем моего старшего брата, но он не захотел быть баксы, он хотел быть баем. Зачем ему играть на черном кобызе, зачем ходить из аула в аул, зачем слушать невежд и отвергать подозрения недоверчивых? Так думал мой старший брат, потому что отец наш оставил большой табун лошадей и много овец. Иногда я думаю, что мой старший брат не верил в свою колдовскую силу, а может, он не верил в силу джигнов. Не верил — и поплатился жизнью. Его нашли удушенным в ложбине за зимовкой. Пошел по нужде и не вернулся. Жена побежала, смотрит: он лежит на спине, будто над

звездами смеется. На шее след от аркана, а самого аркана нет.

Все богатство наше досталось второму брату. И он при таком хозяйстве наотрез отказался служить людям и духам. Однажды возвращался он на пегом иноходце и уже подъехал к аулу — дело было летом, — и жена уже видела его, и детишки. Вдруг как закричат мой брат: «Джинны, джинны!» Проезжая мимо юрт, опрокинул бочонок для кумыса и скрылся в степи. Потом нашли его в колодце с разбитой головой.

— Человек не верит предостережениям оттуда. — Баксы показал себе за спину. — Мало ли что! Любая лошадь может понести от крика. И я не понял предупреждения. Взял я хозяйство в свои руки, хотел и жен моих погибших братьев взять в свою юрту и быть баем. Это было лет сорок назад, был я молодой, холостой. Однажды на закате пошел я в камыши поискать верблюдов. В камышах застали меня сумерки, и вдруг вижу: с неба белый свет падает на озерную гладь, а по ней, как посуху, идет полчище мулл в огромных белых чалмах, а с другой стороны идет какое-то войско на белых конях с золотыми уздечками и черными крестами.

Когда я оглянулся, стояла темная ночь. А тут стало светло, хотя луну закрывала очень круглая туча. Вспомнил я все и пошелся домой. Медленно шел, а в душе горе и страх. Хотелось бежать, но сил не было, ноги не слушаются, голова кружится. Ах, думаю, пропали мои верблюды.

Баксы замолчал, как бы вспоминая все, что было, и переживая подробности. Слушатели тоже молчали и тревожились, что Суйменбай уйдет в себя и не захочет продолжать. Старик не торопился, знал, что паузу не нарушат, и наконец опять заговорил:

— Лежу в юрте, не могу уснуть. Сердце стучит, в жар кидает. И мулл боюсь, и войска боюсь. Вдруг слышу за

кошмой кто-то дышит, шорохи какие-то, шаги тихие. Неужто, думаю, верблюды вернулись? Выглянул я наружу — никого. Опять лег и тут голоса услышал: «Ты, Суйменбай, третий сын нашего умершего повелителя, будешь нашим хозяином. Ты будешь лечить больных и изгонять пайтанов».

— Скажите, пожалуйста, — спросил Байтлеу. — А какая разница между джиннами и шайтанами?

На него посмотрели так, будто он спросил глупость, будто все тут знали эту разницу.

Однако баксы не обиделся, не рассердился.

— Скажу тебе, сынок, попроще, попонятней. Я подчиняюсь джиннам, а шайтаны подчиняются мне.

Такого объяснения никто не ожидал, выходило, что морщинистый старик находится в одном роду с нечистой силой. Амангельды был доволен ответом, старик нравился ему все больше, талантливый старик. Амангельды и сам любил, чтобы все и всегда становилось на свои места.

— «Соглашайся, Суйменбай», — говорят джинны, — колдун нараспев продолжал рассказ. — «Соглашайся, а то будет плохо». Я бы ответил джиннам, попросил бы дать мне три дня на размышление, но тут сам собой заиграл черный кобыз моих предков. Заиграл кобыз, зашел и заковылял от стенки юрты прямо ко мне.

Баксы показал, как шел кобыз по земле. Потом под музыку старик продолжал свой рассказ:

— «Эй, Суйменбай, нет тебе иной дороги! Иди и лечи людей». Я, конечно, взял кобыз и заиграл на нем эту вот мелодию.

Колдун замолчал и только наигрывал тихую песню без слов. Пауза была долгой и волнующей.

— Значит, шайтаны подчиняются вам, вы — джиннам, а джинны Аллаху? — совершенно серьезно спросил Амангельды.

Баксы кивнул и продолжал играть.

Все слушали старика затаив дыхание, но один из арестантов и впрямь был как заколдованный. В продолжение рассказа он сидел на корточках с прямой спиной, глаза выпучены, рот полуоткрыт. Это был почтовый возчик и глава еще недавно такой счастливой семьи Байтлеу.

— О великий баксы! — хрипло, даже с каким-то горловым клекотом заговорил он. — Вам известно будущее каждого человека и каждого живого существа, не так ли?

— Нет, сынок, — после долгого молчания ответил баксы Суйменбай. — Мне неизвестно будущее людей и даже будущее баранов. Джинны знают это, и шайтаны о многом догадываются. Они и говорят мне о будущем, если я хорошо попрошу... Нет, сынок, сам я ничего не знаю о будущем. Я знаю только капельку больше, чем ты, потому что я стар и много видел. А чтобы погадать, надо много-много крепкого чая. Если напьюсь я чая, тогда сила моя заставит шайтанов открыть мне твое будущее. Силой их заставлю. Силой духа.

Поздно вечером Байтлеу робко подошел к Амангельды:

— Батыр! Мне свидание дают раз в неделю, еще четыре дня ждать. Не одолжишь ли ты мне осьмушку чая, чтобы баксы мог предсказать будущее?

Амангельды дал пачку хорошего «фамильного» чая, потому что нельзя отказать человеку, который так жаждет узнать свое будущее. И еще интересно было, что скажет великий баксы. Суд над всеми участниками беспорядков не за горами, и проверка предсказания не заставит себя ждать.

В тот вечер, однако, старик гадать не стал. Пачку чая спрятал и наутро тоже отказался гадать Талыспаеву:

— Погоди, сынок. Не торопи судьбу.

Варвара Григорьевна попросила начальника тюрьмы дать ей свидание с подследственным Имановым-Удербаявым Амангельды. Она явилась официально, оделась тщательно и даже торжественно. Начальник тюрьмы — уволенный в запас подпрапорщик Иван Степанович Размахнин — любовался ее горделивой осанкой, толстой косой, уложенной вокруг головы, и медлил с ответом. «Как много позволяют себе женщины, когда знают, что красивы, — думал он. — Она пренебрегает тем, что про нее подумают начальники школьные, как отнесется попечитель учебного округа, она вовсе не считается с тем, что ее осудят наши местные облезлые кошки — чиновницы. Уж тут разговоров будет до весны».

Угадывая мысли начальника, Варвара Григорьевна повторила свою просьбу, изложив ее более пространно и в стиле письменного заявления:

— Мой супруг, известный вам Николай Васильевич Токарев, прислал из Саратова письмо с поручением побеседовать с его близким другом господином Имановым, который по явному недоразумению арестован и находится под следствием. Надеюсь, что из уважения к моему супругу и ко мне вы сделаете это одолжение.

— Где бы вы хотели встретиться с Имановым?

— Там, где вы сочтете это удобным для себя, но там, где нас не смогли бы слышать посторонние.

— И видеть тоже? — начальник чуть было не подмигнул Варваре Григорьевне, вовремя этого испугался, но игривость его тона все же была замечена.

Взгляд госпожи Токаревой был холоден. Начальник подумал, что, будь у него такая жена, он бы и пить бросил, и, может, уехал бы из этой дыры в родную Вязьму. С такой женой его бы там уважали. От жены многое в жизни зависит.

— Я лично очень хорошо отношусь к Иманову, хотя он и под сильным подозрением. Я могу предложить вам

свидание на лужке возле моей конторы. Тут он обычно встречается со своей женой и детьми. Вас это устроит? Табуретку я велю для вас принести. А он на земле сидит.

— Может быть, и скамеечка у вас в хозяйстве найдется? А нет — я свою принесу. — Варвара Григорьевна знала, как надо разговаривать с этим сортом людей. Наглость у них перемешана с трусостью, похотливость — с целомудрием, любезность — с лъстивостью.

Скамеечка в тюремном хозяйстве нашлась. Ее поставили перед окнами конторы, шагах в двадцати, сначала начальник смотрел на беседующих, потом ему наскучило. Может, следственное начальство и недовольно будет, что Иманов получил свидание без их на то особого разрешения, но ведь и запрещения никто не определил. Кроме того, начальник знал, что ссориться с Имановым нельзя. Тот, кто «держит» всю тюрьму, много может принести неприятностей, если штат к тому же не укомплектован, надзирателей не хватает.

Варвара Григорьевна была горда, что добилась свидания, что в точности выполняет поручение мужа.

— Значит, повторяю, — она держала в руках письмо мужа и заглядывала в него. — Николай Васильевич просил вас прежде всего учесть следующее. Свидетельские показания говорят о том, что солдаты огородной команды первыми начали оскорбление действием и первыми же без достаточных оснований начали стрелять. Запомните, пожалуйста, и объясните вашим товарищам, чтобы на это делали упор. Существуют непреложные «правила употребления полицейскими и жандармскими чинами в дело оружия». Они весьма четко очерчены. Первое: оружие можно применять для отражения вооруженного нападения. Этого не было. Второе: для отражения нападения несколькими лицами. Но ведь в самом начале число солдат и киргизов было равным. Затем — для обороны других лиц,

задержания преступника и т. д., что к нам не относится. Более важно специально оговоренное условие, что к действию оружием можно приступать только после трехкратного громкогласного предварения неповинующихся отом, что начнется действие оружием. Понимаете?

Амангельды сидел на скамеечке, локтями опершись на колени, глаза его смотрели на носки собственных сапог и улыбались. Он не хотел, чтобы Варвара Григорьевна видела эту улыбку, ведь могла подумать, что он подсмеивается над ее пунктуальностью, над ее серьезностью. Это было не так. Просто Амангельды был счастлив сейчас. Счастлив, что его судьба и судьба его товарищей так близко принята людьми посторонними, что адвокаты Самары и Саратова будут привлечены к защите, что эта красивая женщина сидит с ним рядом на скамеечке перед тюрьмой и ей безразлично, что скажут про нее другие русские женщины, как осудят ее, как будут коситься. Амангельды давно уже выработал линию защиты, и она в целом не отличалась от той, про которую писал теперь Николай Васильевич.

— А что слышно о деле несчастного учителя? — спросил Амангельды. — Что-нибудь проясняется?

Варвара Григорьевна была готова к этому вопросу.

— Тут вы можете не беспокоиться. Этого они вам приписать не смогут. У вас алиби, и все ваши близкие друзья арестованы вместе с вами. Установлено также, что учитель был убит не ранее двадцать восьмого мая, то есть на другой день после вашего ареста. Николай Васильевич ничего про это не пишет, но, по моим представлениям, власти вообще хотят замять это дело, потому что следы ведут к кому-то из волостных. Вы же знаете, ваши соотечественники не любят выступать в качестве свидетелей, тем более в русских судах и против своих волостных. Тут поиски не привели бы к результату и при вполне добросовестном ведении следствия.

— А если свидетеля найду я? — спросил Амангельды. — Если у меня найдется хотя бы косвенный свидетель?

— Это было бы прекрасно. Во всяком случае, они этого очень испугаются.

Амангельды сказал, что за полный успех не ручается, но попробует. Потом они говорили о том, что некоторых тяжело больных арестантов надо перевести в больницу или освободить из-под стражи, что в связи с приближением осени следует организовать сбор средств для семей арестованных, которые фактически лишились кормильцев в самое ответственное время. Варвара Григорьевна знала, что Амангельды и его друзья в тюрьме не голодают, но по давнему русскому обычаю все же принесла пирогов, которые сама испекла, дюжину крутых яиц, крынку сметаны и заодно книжку сказок Льва Толстого. Книжка эта была издана за границей, но Токарева почти не сомневалась в том, что начальник тюрьмы при ней не станет обыскивать Иманова, даже не заглянет в сумку. Поэтому она проводила Амангельды до самой конторы, попрощалась за руку и только, когда он прошел во двор, обернулась к начальнику:

— Иван Степаныч, вы читали сочинения графа Льва Николаевича Толстого?

— Может, и читал, — ответил Размахнин. — Я читал книги, когда молодой был. Может, и Толстого читал. Как называется?

— Ну, к примеру, «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение».

— Этих чтой-то не припоминаю. И не слышал.

— Я вам на днях принесу книжечку одну, тоненькую. Там всего один рассказик, «Чем люди живы» называется.

— Не запрещенный рассказик-то? — спросил начальник. — А то ведь я не знаю, говорят, нынче половина книжек — запрещенные.

Варвара Григорьевна удивилась себе. Что за страсть такая всех обращать на путь истинный? Тюремного этого чурбана и то просветить захотела. Глупо!

— Разрешенная книжка, Иван Степаныч! Божественная, с моралью.

— Стихами написана или сплошняком? Я больше люблю сплошняком. Вы не смейтесь, Варвара Григорьевна. Я ведь три зимы в школу ходил. Ваш братец, конечно, талант, чтобы из крестьян в ротмистры. Вот и вы тоже ничего, партию себе хорошую сделали, книжки читаете, другим даете, с арестованными за руку здороваетесь... Я вам честно скажу, прочитаю вашу книжку, но навряд чего пойму. Я, когда книжки читаю, непрерывно о жизни думаю, такая, видно, привычка. Книжка — про одно, а я — про другое. Все думаю, думаю, думаю... Да вы садитесь, побеседуем. Или спешите? Конечно, вам домой надо, а я на службе...

Варвара Григорьевна простилась с начальником и по дороге домой решила книжку с рассказом Льва Толстого ему не носить. Одними книжками мир не исправишь. Он ничего не поймет, он ведь и в самом деле может думать только о своем. А интересно, собственный ее родной братец Иван Григорьевич читал ли Толстого. И если читал, про что в это время думал?

Почтенный баксы Суйменбай в углу тюремного двора беседовал с Амангельды. Он сразу смекнул, о чем его спрашивал батыр, но делал вид, что не понимает, выгадывал время, чтобы обдумать ответ. Не то чтобы он ловчил, вовсе нет! Старик не хотел перед батыром ударить в грязь лицом, а в силы свои, в способность быстро принимать решения старик уже не верил.

— Вы говорили, почтенный, что джинны иногда раскрывают вам тайны степей и такое говорят, о чем люди и думать боятся. Вы даже намекнули на смерть одного

неверного, и я подумал, что про русского учителя вы говорили. Вроде бы вы сказали, что убитый — мужчина, а на нем чулки рваные. Мужчина в чулках...

— Да, батыр! Ты верно говоришь про мысли свои. Слушаешь человека, а думаешь про себя. Русские мужчины, оказывается, иногда надевают чулки, но не такие чулки, какие надевают женщины... Вы, молодые, всегда хотите получить скорый ответ на быстрый вопрос. Погоди, батыр. Не могу я так сразу. Я обещал погадать Байтлеу; он совсем плохой стал. Сегодня я погадаю Байтлеу, завтра отдохну, а послезавтра спрашивай опять.

Осмушка чая, которую Талыспаев выпросил для гадания, вся ушла на заварку. Чай пили только двое: тот, кто хотел узнать свое будущее, и тот, кто должен был приподнять для него завесу грядущего. Пили не торопясь, молча и только изредка посматривали друг на друга.

Остатки из чайника старик аккуратно разлил в обе пиалы, свою отставил в сторону, а пиалу Байтлеу взял в руки, поднес к глазам и сказал:

— Тебе на роду написано было жить долго, счастливо и скучно. Я знаю твое прошлое, ибо помню твоего отца и твою мать, я ровесник твоего деда и на три года старше твоей бабки. Что мне заглядывать в ушедшее навсегда, да ты и не просил об этом. Ты просил меня узнать, как поступят с тобой русские судьи за то, что ты кричал русским солдатам. В пиале нет ответа на твой вопрос. Я не вижу ответа. Цвет чая и чайники, лежащие на дне, говорят: никто не может навредить Байтлеу больше, чем Байтлеу сам может навредить себе. Никто не сможет убить Байтлеу, если Байтлеу не захочет убить себя сам. Тут говорится прямо, и уши мои слышат это, как глаза видят: «Пусть Байтлеу боится самого себя».

Дело шло к вечерней поверке, надзиратели, однако, еще не собирались пересчитывать арестантов и запирать камеры. Байтлеу спросил:

— Почему, почтенный Суйменбай, ты так долго думал обо мне и так мало сказал? Неужели не видишь ты указаний более четких и простых? Как я могу бояться себя, если я никогда не захочу причинить себе зла?

Баксы ответил недружелюбно:

— Я мог ответить тебе только то, что сказала осьмушка чая, которую ты получил от батыра. Принеси ты мне свою осьмушку, может быть, она скажет про тебя подробней. Иди. Я устал, Байтлеу. Иди, я не могу долго думать про одно и то же. От тебя у меня плохие мысли лезут в голову.

Всю ночь старый баксы не сомкнул глаз. То ли чай был очень крепкий, то ли думы слишком тяжелые, но утром он сказал Амангельды:

— Я хотел говорить с тобой завтра, но ты не спешил получить ответ на свои вопросы, значит, ты не будешь торопить свою судьбу и судьбы тех, кто тебе окружает.

Они сели на травку в углу тюремного двора. Старик держал в руках кобыз, но пускать его в дело, видимо, не собирался.

— Иногда меня посвящают в такие дела, что даже моя кемпыр-джинн, старуха девяноста лет, такая огромная, что одна губа у нее до луны, а другая волочится по земле, даже эта старуха стыдится слышать и пугается. Может, и ты, батыр, испугаешься того, что расскажу я тебе. Чтоб не страшно было, предупреждаю: может, не явь поведаю я, а сон, который привиделся старику. Может, это сон, который я смотрел всю эту ночь, ни разу не сомкнув моих глаз. Не боишься ты чужих снов?

Амангельды молча сидел возле старика и знал, что сейчас нельзя перебивать рассказ, нельзя спрашивать и лучше всего даже на вопросы не отвечать.

— Не боишься, так я расскажу тебе, как позвала меня к себе старшая жена волостного Минжанова, его глупая, как кизяк, байбише. Она просила, о чем многие жены

просят, чтобы дал я ей приворотного зелья или сам приворотил к ней мужа. Она молода, эта байбише, ей всего двадцать восемь лет, десять лет живет с мужем, за десять лет он только семь раз спал с ней. И то пьяный! У Мусы есть еще две жены, но и к ним он ходит не чаще. Только первые две-три ночи он проводит с женой, а потом... начинает придумывать такое, что даже старуха кемпырджини плюется... Что ты смотришь на меня, батыр? Я старый человек, я много знаю про людей, но не все вмещает моя голова и не все может выговорить язык. Погоди, батыр! Погоди! Ты поверь мне на слово, что это так. Много встречается такого, во что невозможно поверить. Мне рассказывали, что некоторые люди не едят мяса. Им дают мясо, а они отказываются. И рыбу не едят. И даже яйца не едят. Только хлеб и разные травы. Ты не веришь, и я не верю, однако такие люди есть.

Старик говорил спокойно, осторожно выбирая слова и боясь, что ему не поверят. Но Амангельды, с трудом понимая, что ему говорит баксы, почему-то не сомневался ни в чем. Никогда он не слышал от Суйменбая таких разумных и деловых слов.

— Люди, которые отказываются употреблять в пищу мясо животных и рыб, есть,— сказал Амангельды.— Я даже слышал слова, которым их называют, но не запомнил его. У господина Токарева останавливался один такой очень милый человек. Так что тут вы правы, почтенный Суйменбай. Я слушаю вас. Но какое отношение все это имеет к смерти учителя в чулках?

Старик кивнул, показывая, что именно об этом он и хочет говорить, но не все можно объяснить сразу.

— Байбише эта еще молода, и кровь кипит в ней, как у каждой женщины, у которой нет мужа. Может быть, она врет, но она глупа и не смогла бы придумать тех подробностей, которые выложила мне.

Амангельды вспомнил, что Смаил Бектасов однажды

со смешком отозвался о семейных делах Минжанова, но тогда это ни на какие подобные мысли не наводило. Смаил часто хвастал в кругу приятелей своей мужской силой, а над многими в степи подсмеивался.

— Есть мужчины, которые мерины от рождения,— продолжал Суйменбай.— Признаться, я не все понял, что говорила глупая байбише, которая ко многим безобразиям привыкла, но по глазам ее черным видел: многое ей и самой пришлось по вкусу. Она сказала тогда, что Муса с джигитами стал охотиться на маленьких девочек! За такое убивают! Она боится, что мужа убьют. Она думала, что его заколдовали, просила расколдовать. Минжанов этот в детстве в Хиве жил, дядя его там служит, а тетка — повариха в гареме. Насмотрелся. «Что хорошего в маленьких девочках? Одни тонкие кости, как у дохлой перепелки. Только колдовством можно заставить мужичку отказаться от сочного женского тела...» Она очень боялась, что его убьют за девочек.

«Правильно делает, что боится,— спокойно подумал Амангельды.— Я бы мог сразу, у меня бы рука не дрогнула».

Старик замолчал, потому что к ним подошел Байтлеу.

— Чего тебе? — строго спросил Суйменбай.— Я тебе все объяснил.

— Простите, что помешал,— прижимая руку к груди, почтительно прошептал Байтлеу.— Там, за воротами, стоит почтенная Калампыр, мать нашего батыра... Я хотел...

Амангельды вскочил с земли и мгновенно взобрался на крышу тюремной кухни. Можно было бы просто встать на один из подоконников, как часто делали арестанты, чтобы поглядеть за довольно низкие стены уездной тюрьмы.

— Эй, слазь с крыши! — Солдат на угловой вышке крикнул громко, но Амангельды не услышал его. Мать

стояла шагах в десяти от тюремной конторы и, видимо, не решалась подойти ближе.

— Слазь, кому говорю! — крикнул солдат и снял винтовку с плеча.

— Мама! — крикнул Амангельды. — Мамочка! Я здесь, я живой, здоровый, подойди к конторе, не бойся!

— Слазь, стрелять буду! — солдат на вышке знал, кому грозит, но порядок есть порядок. Ежели каждый арестант будет на крыши лазать, зачем тюрьмы строить? Солдат щелкнул затвором и вскинул винтовку.

— Мамочка! — кричал батыр и махал рукой. — Мамочка! Иди сюда.

Калампыр плохо слышала в последние годы, а после смерти Балкы слух почему-то стал еще слабее. Может быть, не ухудшился, а просто словам стало труднее преодолевать расстояние от уха до самой головы, до мыслей.

Солдат громыхал затвором, но знал, что стрелять внутрь двора он права не имеет. За это нынче могут наказать. Вот Прокопия Мисика за стрельбу на огороде мало того, что киргизы поколотили, а еще и начальство перевело в Кушку, где жара, одни азиаты и край света. Солдат продолжал грозить и даже вскидывал винтовку, но больше надеялся, что из конторы заметят непорядок и надзиратели сами сгонят арестанта с крыши.

Наконец мать поняла и двинулась к воротам, а Амангельды прыгнул с крыши и постучался в контору со двора. Оказалось, что по случаю воскресенья начальник тюрьмы уехал на рыбалку, а разрешить свидание без него никто не хотел. Разрешение не в пример обычному обошлось не в рубль, а в целых три, потому что Амангельды не мог долго торговаться с заместителем начальника: очень жалел мать. Ему казалось, что старушка вот-вот умрет от какого-то страшного горя, написанного на ее лице.

Как маленький, прижался он к матери, стоял перед ней на коленях и спрашивал, спрашивал, спрашивал, старался понять, почему она так внезапно явилась сюда, одна, без сыновей.

— Как братья? — спрашивал батыр. — Все здоровы? Бектепберген, Амантай... А дети? Так что же случилось?

Мать не отвечала, плакала, утирала слезы и смотрела на сильного своего сына, будто не верила глазам. Она приехала из самого Байконура и всю дорогу думала, что не зря людям снятся сны. Она всю жизнь боялась снов!

Оказалось, что три ночи подряд ей снился один и тот же страшный сон. Три ночи! Она никому ничего не рассказывала и тайком от сыновей поехала в Тургай.

Матери приснилась зима, заметенные снегом кусты и камыши возле речки Жиланшик, и по белому снегу неслась стая белых волков. Целая стая белых волков кинулась на мальчика лет десяти, который пытался убежать от них, увязая по пояс в снегу. На мальчишке был большой лисий малахай, и, когда волки сорвали его, Кампыр увидела, что это ее сын, ее маленький Амангельды.

Белые волки на белом снегу рвут малыша. Белые волки и черная кровь. Как могла утерпеть она и не поехать в Тургай, зная, что сын в тюрьме, а волки вокруг.

Когда Амангельды вернулся в камеру, Суйменбай спал, свернувшись калачиком. Во сне он казался невесомым и беспомощным; дышал он трудно и часто.

Нестихшая материнская тревога и неожиданный ее приезд взволновали батыра, он не спал долго, и ему захотелось спросить у баксы про свою собственную судьбу, пусть погадает. Однако будить старика он не стал. А утром старик от всякого общения уклонился, отвечал односложно и наотрез отказался продолжать начатый

вчера рассказ. Будто и не говорил ничего про Минжанова, про его байбише с глазами, как вишни, про молодого русского учителя, убийц которого так и не нашли, про девочку, которая сама убила себя.

— Ой, батыр! Раньше я боялся джиннов и шайтанов, теперь поумнел и больше всего боюсь людей. Смерти не боюсь, а людей боюсь, — эти первые связанные слова Амангельды услышал от шамана только к вечеру, когда заманил его к себе на нары пить чай с сахаром.

— Посмотрите в свою пиалу, почтенный Суйменбай, — полушутя-полусерьезно попросил батыр. — Вдруг да увидите там что-нибудь о моей судьбе.

Баксы искоса глянул на него, потом уперся взглядом в свою пиалу. Смотрел долго, очень долго, потом выплеснул чай на пол.

— О твоей судьбе, Амангельды, я в тюрьме гадать не стану. Тебе только на свободе можно гадать, и то трудно. Ты знаешь, что тебя Кенжебай давно убить собирался, и я запретил ему.

— Как запретил?

— Сказал, что пуля вернется и убьет Кенжебая. Что против него ты заколдован. Что джинн твоего деда Имана сильнее, чем джинны его дедов.

— Ну и что?

— Пока он верит. Он сказал, что и сам так думал, когда стрелял в тебя после истории с табуном краденых лошадей. Кажется, он стрелял в тебя из засады.

— Это он сказал?

Суйменбай усмехнулся.

— Зачем! Мне и без него все известно. Я все, что хочу, могу во сне увидеть.

— Спасибо! — батыр приложил руку к сердцу. — Если что еще во сне увидите, обязательно расскажите.

Примерно через неделю после приезда Калампыр в однообразной жизни арестантов начались какие-то пере-

мены. Некоторых стали чаще вызывать на допросы, человек шесть перевели в Атбасар, одного освободили. Этим единственным, кто вышел на свободу, неожиданно для всех оказался Байтлеу. Дня за три до освобождения Байтлеу вдруг повеселел, но улыбался только про себя, в разговоры старался не вступать, особенно сторонился он Амангельды и его близких друзей, а над баксы Суйменбаем однажды даже попробовал посмеяться. Старик рассказывал какой-то давний случай своей победы над нечистой силой, а Байтлеу вдруг лег, притворился, что спит, и даже захрапел на всю камеру. Его растолкали, подняли, пристыдили за неуважение к старику, а Байтлеу с той самоуверенной улыбкой, которую давно никто не видел на его широком лице, сказал:

— Скучно слушать эти сказки. Пусть старик объяснит, почему это самого себя человек должен бояться больше чем нечистой силы. Пусть скажет, почему он мне такую глупость говорит.

Баксы даже не поглядел в сторону Байтлеу и продолжал свой рассказ про Курабая-джинна, с которым вместе они летали в Ташкент, Стамбул, Петербург и еще в один город, где едят лягушек и название которого баксы забыл.

...Вскоре выпустили и самого баксы. Его строго-настрого предупредили: если он не перестанет лечить заклинаниями и если будет говорить против русской веры, то его сошлют. Против русской веры старик обещал ничего не предпринимать и сказал, что лечит не заклинаниями, а травами и внутренностями животных.

Токарев вернулся из России совершенно уверенный в том, что дело против Амангельды рассыпалось, очень удивился, что распоряжение об освобождении не поступает. Он часто приходил в тюрьму, и поскольку вечерами стало холодно, то свидание им разрешали прямо в конторе. Они пили чай из одного самовара с конвойными.

Внезапно из Оренбурга приехал ротмистр Ткаченко, лично допрашивал Амангельды и категорически запретил свидания с Токаревым. Неделью пробыл Ткаченко в Тургае и под усиленным конвоем увез Иманова с собой. Начальник тургайской тюрьмы отставной подпрапорщик Иван Степанович Размахнин получил выговор за либеральное содержание арестантов, сорвался и запил. А держался ведь до этого случая месяцев семь или семь с половиной.

Глава четырнадцатая

Зачем перед самым освобождением Амангельды отправили в Оренбург, зачем продержали в большой тюрьме еще две недели? Может, собирались допрашивать по другому делу? Он тревожился, но вскоре его, как часто бывает в таких случаях, именно тогда, когда он меньше всего того ожидал, вдруг выпустили из-под стражи и даже выписали билет для проезда по железной дороге до станции Челкар.

Больше месяца батыр провел с семьей, никуда не ездил, занимался хозяйством, строительством зимовки, сложил новую печь, сколотил новые двери в доме, приладил тамбур, настелил полы. Оказывается, все это он продумал еще летом, у какого-то беспаспортного бродяги-печника перенял его хитрое искусство. Бродягу того водили по домам начальства, он клал им голландки, перестраивал кухонные плиты, устраивал баньки с каменками. Иногда печник брал себе подсобников, и Амангельды не пропускал случая пойти поучиться. Как и многие настоящие мужчины, он только в заточении понял всю силу своей любви к семье, свою зависимость от этой любви и только тут впервые испытал желание устроить домашний уют. Это было главным в ту осень. Откуда брались в нем ухватки плотника и столяра, неутомимость в до-

машинных делах, желание делать все подряд, даже чисто женскую работу. Он всегда был ласков с женой, но Раш никогда прежде не слышала, чтобы муж вспоминал об их первой встрече, свадьбе, о рождении первого сына и второго. Он прежде будто и не считал нужным помнить такие пустяки, зато теперь, лежа в темноте, когда дети уже спали, долго говорил о вовсе, казалось, ушедшем, удивлял Раш своей памятью, сам удивленно и радостно смеялся, узнавая в ее рассказах какую-то забытую им подробность.

Про тюрьму он жене почти не рассказывал, не женское дело, не с ней надо это обмозговывать. Пусть лучше подумает, как перевезти мать из Байконура. Теперь у него не хуже, чем у старшего брата, а детям бабушка нужна.

Однажды он внезапно собрался в дорогу. За час до отъезда сказал об этом Раш и ребятишкам, за этот же час успел уложить суму и проститься с соседями.

— Сначала заеду в Тургай к господину Токареву, потом поеду в Байконур и привезу мать.

Если уж он решил, спорить с ним бесполезно. Раш смотрела, как он едет по кое-где припорошенной снегом степи, как радостно и четко ступает под ним вороной конь. Она ждала, что он оглянется в последний раз, когда дорога свернет за курган, но он не оглянулся. Он всегда думал о том, что предстоит, а не о том, что прошло. Он редко оглядывался.

Он приехал в Тургай на следующий день часам к пяти. Почему-то потеплело, застывшая было грязь на главной улице расплзлась, стала вязкой. Снег, продолжавший лететь с серого неба, таял, едва коснувшись земли. Можно, конечно, заехать к родичам, привести себя в порядок, а потом уж являться в европейский дом, но Амангельды отмахнулся от этой мысли. Дом Токаревых по дороге, родичи живут на другом краю города.

Он поглядел на дымы над Тургаем, на расплывающуюся в сумрачном снегу колокольню, на дом Токаревых, где в этот именно миг засветилось сразу три окна, и повернул к крыльцу.

Перед наступлением зимы городок замирал внутренне, съеживался, грустнел, потому что до первого настоящего города почти девятьсот верст, а до настоящей жизни и не сосчитать сколько. Уездный городок — это вообще не больно-то радостное поселение, но любой уездный город в Воронежской или в Курской губернии — столица по сравнению с Тургаем, островком в безбрежном полинно-снежном море, где кочуют инородцы, где посят-ся стаи голодных волков и ветру не за что зацепиться.

От города Тургай до центра Тургайской области Оренбурга — восемьсот шестьдесят шесть верст (от почты до почты). Жителей в Тургае всего полторы тысячи, причем лиц мужского пола почему-то чуть не в два раза больше, нежели женщин. Церковь одна, училищ два: двухклассное русско-киргизское и Яковлевское ремесленное. Есть еще русско-киргизская женская школа с интернатом, военный лазарет и острог. Как не вспомнить определение Салтыкова-Щедрина о местах, куда незабвенный Макарыч не гонял! Однако если посмотреть с другой стороны, то Тургай хоть и маленькая, но тоже столица: подчиняются ему одиннадцать волостей — шестьдесят пять аулов. За последние двадцать лет сильно обновилась здешняя служилая братия, потому что немногие представители русской интеллигенции не очень-то стремились задерживаться тут, если представлялся случай перевестись поближе к культурным центрам.

Не было старожилов в Тургае, и новый уездный начальник не считал нужным держать открытый дом, не чувствовал себя отцом-командиром для сородичей и ино-

родцев. Единственным местом, куда могли без приглашения приходить и учителя, и чиновники, чтобы попить чаю, обсудить новости и просто поболтать,— а такое место должно быть в каждом городе — считался домик Николая Васильевича Токарева. Правда, все в уезде знали, что Токарев происходит из давних ссыльных, у начальства на замечке и терпят его лишь потому, что он знаток здешних обычаев, что уважаем как русскими переселенцами, так и киргизами, что в качестве специалиста по правовым вопросам и взаимоотношениям с местным населением известен далеко за пределами области.

Покойный его дядя и наставник Алексей Владимирович любил исследовать лишь нравственные аспекты событий и по свойству своего поколения принадлежал к людям, обо всем судящим по литературным канонам и ассоциациям. В противовес влиянию дяди Николай Васильевич в молодости увлекался экономическими и политическими учениями, основательно знал Маркса, читал Энгельса, Плеханова, знал, хотя и недолюбливал Михайловского. Впрочем, Михайловскому доставалось лишь в те, увы, уже отошедшие времена, когда дядя еще мог спорить с племянником. В последние годы Николай Васильевич с некоторым даже смущением обнаружил, что, как и дядя, склоняется в основном к поискам нравственных ориентиров и с большим по возрасту опозданием принялся наконец за писателя давно уже знаменитого и потому давно уже немодного. Он принялся внимательно, с карандашом, читать Льва Толстого.

Без сомнения, свою роль в интересе к Толстому сыграло личное знакомство Токарева с сосланным в Тургайскую область Михаилом Петровичем Новиковым. Это был человек редкостного ума, чистоты и душевной ясности, и его влияние оказалось очень сильным.

Еще до знакомства с Новиковым, колеблясь в выборе между платформами множества политических партий и

групп, Николай Васильевич написал статью «Гамлетовский вопрос в русской жизни». На примерах недавней истории и современных событий он доказывал, что сомнения принца датского необходимы каждому, кто стремится быть нравственным и решает вопрос о виновности государства и его руководителей перед пародом и совестью. Статья эта осталась неотправленной по целому ряду причин: первой была та, что смысл статьи противоречил программам радикалов, выпускающих свои издания в эмиграции, а легальные журналы не смогли бы взять статью по соображениям цензурным.

Смелость мысли Льва Толстого испугала Николая Васильевича, когда он впервые понял, что великий старец не предположения строит, а готов утверждать, что найденное им — истина. И отвергая что-то, Толстой вовсе не смущался общепризнанностью авторитетов, никак не связывал себя с теми, кто неколебимо считался совестью русской свободолобивой мысли.

Принимаясь за «Исповедь», Токарев ожидал впечатлений чисто литературных: раскрытия интимных подробностей и стыдных тайн детства, самокопания и самообнажения, которые всегда или почти всегда связаны с самолюбованием.

Книга поразила сухой деловитостью, строгостью протокола, чего трудно было ждать от великого художника, может самого великого художника России. Впрочем, от этого звания Толстой отрекался прежде всего; он вовсе не признавал за художниками права быть учителями жизни, пасмехался над теми, кто притязал на то, чтобы проповедовать бессознательно, смеялся над теорией, что именно в бессознательности, интуитивности и заключен высший смысл творчества.

Удивляло Токарева и вызывало бесспорное уважение то, как быстро вкралось сомнение в душу тогда еще молодого, полного сил и надежд писателя. На второй год

задумался, на третий стал исследовать. Это сказано вскользь, без нажима и от простоты признания возникало абсолютное доверие: «Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы — самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы — настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга...» Это о ком же? Получалось, что Толстой говорил так о людях, окружавших его в начале литературной работы в «Современнике».

Свойственные Токареву неуверенность провинциала и сознание недоучки сопротивлялись таким прямым словам, он сокрушался, кричал, но читал и не мог не верить. Что-то, по мнению Николая Васильевича, было правдой, что-то преувеличением. Хотелось найти примиряющую линию между мыслями гения и своими собственными: пусть что-то и правда, но нельзя же всех так вот, под одну гребенку.

«Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности... Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость».

Память легко подсказывала Токареву имена людей из тогдашнего литературного мира.

Николай Васильевич часто вспоминал своего дядю и его горячий до неучливости спор с Алтынсариним о Достоевском. Кажется, из того спора, во всяком случае из того времени, выплывал аргумент, что Достоевский всегда был за русское государство и русскую государственность. Для Толстого же государство — это лишь выдуманное существо, вроде Кащея. Как бы то ни было, но последователи Толстого, эти непротивленцы злу насилем, эти ясноглазые, наивные, правдивые идеалисты, томились в тюрьмах и ссылках наравне с самыми завзятыми карбонариями.

Не зря это! Обороняющийся лучше чувствует, кто ему опасен. Конечно, происходит да и произошла уже девальвация Идей и Слова, все хотят действия и верят только в него, но Токарев считал — и в той статье писал про это, — что гамлетовский вопрос не только в том, *БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ*, но в применении к русской жизни и нарастающей революции — *УБИТЬ ИЛЬ НЕ УБИТЬ*. «Если бы Христос жил в наше время и отпечатал бы Евангелие, дамы попросили бы у него автограф, и тем дело бы кончилось». Кто это сказал? Зло сказано, во многом верно, а к Толстому все же не подходит, Толстой всколыхнул жизнь России. Надолго ли?

...Амангельды привязал лошадь и поднялся на крыльцо.

Сквозь стеклянную дверь гостиной в прихожую падал слабый свет керосиновой лампы, стоящей на столе. Амангельды снял полушубок и сапоги, поискал домашние туфли и, не найдя их под вешалкой, босиком вошел в комнату. Он почему-то был уверен, что там нет никого из посторонних, и — ошибся: двое сидели за шахматной доской. Один — незнакомый седобородый священник, другой — плотный широкоплечий и совершенно лысый,

Это был профессор Семикрасов, его Амангельды и со спины узнал сразу.

Он поздоровался с Семикрасовым за руку, священнику кивнул и тут же узнал это широкое лицо в веснушках. Веснушки теперь сильно выпцвели и глаза поблекли. Он тут же вспомнил, каким попик был в молодости, как угощал его леденцами, как крестил Бейшару и упрятал на все лето в тюрьму баксы Суйменбая. Священник смотрел на босые ноги батыра и не скрывал брезгливости.

— Домашние туфли не нашел и решил зайти так, думал, никого нет,— Амангельды старался не показать смущения.— Возле крыльца, когда коня привязывал, в лужу оступился.— Он объяснял это Семикрасову, а попа будто вовсе не замечал.— Сапоги у меня больно грязные и совсем мокрые. Вы играйте, не обращайтесь на меня внимания.

Теперь, преодолев естественное смущение бсого перед обутыми, Амангельды встал возле стола и смотрел, как развивается партия. Поп явно проигрывал, у него не хватало лады и пешки. Семикрасов объявил шах.

— Шах! — повторил Кусякин.— Значит, шах! А не кажется ли вам, Семен Семенович, что «шах» происходит от «швах». Вам шах, ваше дело швах!

Болтунов за шахматной доской Амангельды не терпел: или играй, или сдавайся. Тут играть бесполезно, маг будет через два хода. Семикрасов своего не упустит, настоящий игрок и настоящий охотник. Амангельды любил охотников в душе и по нраву, им он прощал и промахи и нерасторопность. Ведь главное в охоте не результат, а воля к победе.

Миссионер делал вид, что думает, хватался без надобности то за одну, то за другую фигуру и болтал, болтал. Вошла в комнату Варвара Григорьевна и ахнула.

— Откуда вы, Амангельды Удербаетич? Что же босиком? Ах, Глаша пол в прихожей мыла и всю обувь на

кухню отнесла. Я вам ичиги принесу, у нас отличные ичиги.

Ичиги были совсем новые, наверное, подарок какого-то купчишки.

— Скоро сядем обедать, если не возражаете. Вот только Николай Васильевич придет.

Барвара Григорьевна вышла из гостиной, и трое мужчин опять вернулись к шахматной доске.

— Значит, вы считаете, разлюбезный наш профессор, что положение мое швах, коли мне объявлен шах?

— Вас может спасти только чудо, а я в чудеса не верю. По должности к этому не призван и склонности к подобной вере с детства не обнаруживал. Я, признаться, во все остальное тоже не верю. В прогресс человечества, например.— Семпкрасов давно уже утратил интерес к партии, и только вежливость мешала ему сдвинуть фигуры и пригласить к доске Амангельды.— Я, между прочим, все более доверяю экономистам типа Маркса, уповающим на всеисильность производительных сил и универсальность производственных отношений... Да, забыл представить вас друг другу, господа: отец Борис Кусякин, ревнитель православия; Амангельды Иманов, охотник и батыр.

Кусякин чуть приподнялся со стула, Амангельды чуть заметно кивнул.

— Я с детства знаю господина Кусякина,— сказал он.— Он угощал меня леденцами. До сих пор помню их вкус.

Напряженность, возникшая тогда, когда она меньше всего была нужна благодушному Семену Семеновичу, портила вечер, обещавший быть мирным и добрым, но Амангельды, видимо, и сам понял это. Он с улыбкой пододвинул к себе доску и спросил:

— Белыми будете играть, Семен Семенович? Или на равных?

— Неужто вы так продвинулись, что готовы дать мне фору? — в свою очередь спросил Семикарасов. — Может, и фигуру дадите? Я не прочь.

— Фигуру не дам, па первый ход готов рискнуть. У меня было время усовершенствоваться.

— В тюрьме? — догадался профессор. — В тюрьме многие совершенствуют себя. Но давайте лучше на равных. В правой руке или в левой?

Белыми выпало играть все-таки Семикарасову, но, только начали играть, пришел Токарев и стали обедать.

Кусякин с удовлетворением отметил, что хозяйка постаралась: подала осетрину с хреном, икорку, заливное, предупредила, что для него и ушица приготовлена. Отец Борис благосклонно улыбался, просил прощения за доставленные хлопоты и надеялся, что такое начало сулит успех его сложной задаче. Он не зря напросился в гости к Токаревым, не зря в канцелярии уездного начальника первым заговорил с Николаем Васильевичем, вспоминал Кустанай, «незабвенного нашего друга господина Алтынсарина». Кусякин хотел любым способом внедрить в женскую русско-киргизскую школу одного из своих молодых священников-миссионеров в качестве вероучителя. Сделать это силой, пажимом не удавалось, ибо школа содержалась в основном на пожертвования местных благотворителей.

В начале своей миссионерской деятельности Кусякин пренебрегал крещением девочек, ему казалось это пустой затеей, но в последнее время стало ясно, что крещение одних только мальчиков желаемых результатов не дает. Было слишком много случаев, когда крещенные им молодые люди, уехав учиться в Казань или Москву, становились там отъявленными безбожниками, и Кусякину пеняли за это. Еще чаще случалось, что крещеный киргиз, приобретя кое-какие льготы, обзаведясь хозяйством и выплатив калым, женился на девушке из семьи ярост-

ного магометанина и вовсе забывал, что удостоен святой благодати обращения. Ныне перед всеми православными миссионерами стояла задача воспитывать девушек-христианок и выдавать их замуж за поокрещенных киргизов.

Без содействия Варвары Григорьевны и одобрения самого Токарева внедрить в школу своего человека было невозможно, и Кусякин взял на себя тяжкий труд уговорить этих явных атеистов и скрытых революционеров. Не по сану было ему ходить в гости к таким людям, никто не обязал бы его заниматься столь мелкими вопросами, однако отец Борис, хотя и завидовал пастырям, свободным от забот по новообращению магометан и язычников, понимал свой долг и знал, что труды его зачтутся на том да и на этом свете. Жизненный опыт и многочисленные осечки в трудах во славу господню и на благо церкви приучили Кусякина быть осторожнее. Он начал издавелека, говорил о просвещении вообще, о нравственных началах, воплощенных в религиозных книгах, о том, что и безбожник Вольтер утверждал, что бога необходимо выдумать.

Токарев возражал сдержанно, даже слишком сдержанно. Он чтит закон гостеприимства и не хотел к тому же открытой ссоры со злопамятным святошей. Когда неприятности касались его самого, Токарев был бесстрашен и принципиален до упрямства, но в делах супруги осторожность его порой переходила в мнительность: он боялся, что Варваре Григорьевне могут запретить преподавание, ибо документ об образовании у нее выправлен не в полном соответствии с правилами о сдаче экзаменов экстерном.

После обеда Варвара Григорьевна накрыла маленький столик, для чего убрала оттуда шахматную доску и фигуры неоконченной партии ссыпала в коробку.

Напряженность за чаем была гнетущей, и Амангельды решил, что пора уходить, но вдруг Семикарасов на

правах столичного гостя и старого знакомого позволил себе задать весьма щекотливый вопрос отцу Борису:

— А правду ли говорят, что церковь и в самом деле пыталась предать анафеме Льва Николаевича Толстого и этим приравнять его к Гришке Отрепьеву и Емельяну Пугачеву?

Кусякин не знал об отношении ко Льву Толстому в этом доме, но не сомневался, что к русской православной церкви здесь относятся хуже, чем к старому и своевольному писателю. Он насторожился и начал издали:

— Анафематствование в нашей святой православной церкви — это составная часть службы, коя называется чином православия или же еще — торжеством православия. Служба торжественна и проводится лишь в кафедральных соборах. Нашей святой церкви не раз приходилось страдать от ересей и покушательства на основы веры...

Кусякин говорил еще долго и нудно. Наконец Токарев не выдержал и сказал:

— Семен Семенович, насколько я понял, спрашивал, правда ли, что церковь хотела предать Толстого анафеме, или же это только слухи.

Священник опять говорил долго и непонятно, но Амангельды улавливал основное: Токарев и Семикрасов прижимают его к стенке, тот изворачивается и ловчит.

— Церковь вправе отсекал от себя больные члены, и слово само «анафематствование» близко по значению к слову «анатомия». Однако в чин православия вместе с иконоборцами, протопопом Аввакумом и нечестивым Гришкой Отрепьевым никто пока еще графа Толстого вводить не хотел.

— Пока? — спросил Семикрасов. — А я слышал и читал даже, что в некоторых соборах его все же предают анафеме.

— Торопятся, — благодушно объяснил Кусякин. — И по сути, они правы: отсечь больной член — желание за-

конное, разумное. Определение Святейшего синода давало повод... давало... Господин Победоносцев, как я слышал, в частных разговорах об анафеме упоминал, ежели еретик не одумается.

Токарев засмеялся:

— А господин Победоносцев надеялся, что одумается?

Кусякину не понравился этот смех, и он пожелал перевести разговор на другое. Он заговорил о том, что разрушающие церковь разрушают и мораль, что киргизские девочки, к примеру, будут рады узнать о таких положениях православия, как запрет многоженства, от которого в первую очередь страдают сами женщины.

Это было обращено к Варваре Григорьевне как к учительнице русско-киргизской школы. Та слушала внимательно и с тревогой. Не следовало сильно возражать главному тургайскому миссионеру, но соглашаться с ним было опасно. Поэтому Токарева в ответ рассуждала об исторической обусловленности многоженства и о том, что оно отомрет само собой.

Тогда священник заговорил о роли православия в общем смягчении нравов. С ним стали спорить и сам Токарев, и Семен Семенович, и даже молчавший до того Амангельды. Примеров жестокости русских переселенцев по отношению к своим же соотечественникам приводилось множество. Варвара Григорьевна вспомнила, как под Оренбургом крестьяне, и христиане притом, сожгли конокрада. И это было первым ее знакомством с нравами тех, кто считает себя благодетелями для сего края.

Амангельды твердо заявил, что убийство учителя с национальными традициями и нравами ничего общего не имеет, а связано с попыткой одного из баев и выборных лиц скрыть обычное уголовное преступление, за которое и по казахским законам положена смерть. Амангельды не собирался говорить об этом не вполне и ему самому ясном деле, но очень уж разозлило высокомерие пона.

— Между прочим, я сидел в тюрьме вместе со знаменитым нашим баксы Суйменбаем, которого туда упрятали именно вы. Вам приходилось самому беседовать с этим человеком? В чем он виноват?

Кусякин рассердился. Не за тем он шел в гости, чтобы подвергаться допросу.

— Господа, вам доставляет удовольствие нападать на все для меня святое. Вы готовы обвинять нашу церковь в гопениях, вы видите даже во мне, хотя знаете меня давно, представителя инквизиции. Увы! Я выпущен покинуть ваш негостеприимный дом. Однако я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Граф Лев Толстой, равно как и баксы Суйменбай, еретик. Они оба не признают того, что давно признается всеми, и это способствует смуте в мыслях и душах. Заблуждение баксы в том, что он нечистую силу ставит выше силы божией, а граф Толстой откровение святого духа противопоставляет откровению Иисуса Христа. Поймите! Он дошел до того, что православную нашу церковь предлагает переименовать из христианской в святодуховскую. Это кощунство! Кроме того, он ханжа и лицемер, что известно каждому. Даже господин Голосянкин, которого нельзя назвать человеком ортодоксально верующим, и тот рассказал мне, как граф Толстой у себя в имении занимается сельским трудом. Одно лицемерие это! Оказывается, что ливрейный лакей после завтрака с ананасами и вином говорит ему: «Ваша светлость, пахать подано». Господин Голосянкин клялся мне, что знает это из первых рук.

Кусякин деревянно поклонился и пошел к выходу. Все молчали.

Молчали и после того, как хлопнула дальняя дверь. Первой заговорила Варвара Григорьевна.

— Николай Васильевич любит рассуждать про то, чему сам не желает следовать.— Она обращалась к Семи-красову и Амангельды.— Так он учит меня избегать об-

щения с неприятными людьми, он говорит, что всякий раз, когда мы нарушаем собственный принцип и, перебарывая себя, хотим наладить отношения с теми, кто нам противен физически, мы обязательно эти отношения ухудшим. Такова, мол, природа любой нелицемерной личности, и для честного человека это непереносимо. Коля, скажи, зачем ты позвал Кусякина. Зачем ты иногда приглашаешь к нам Голосянкипа?

— А я не очень-то и жалею, что это произошло,— смущенно оправдывался Токарев.— По крайней мере было забавно. А Голосянкин каков? Старый и пошлый анекдот выдает за последние новости!

— Во всем виноват только я,— убежденно сказал Амангельды.— У нас с ним давние счёты. Простите, что стал причиной скандала, и извините, что явился без приглашения.

Он виновато почесал в затылке.

— Да и лошадь у вас некуда поставить, накормить ее нечем, а время позднее.— И добавил, улыбнувшись:— Еще ограбит меня кто в Тургае, обидит ночью.

Его отпустили, взяв слово, что перед отъездом в Байконур он зайдет. Что-то нужно было от него Семикрасову, о чем-то хотел посоветоваться Токарев, и Варвара Григорьевна хотела расспросить, что говорят в степи об убийстве несчастного учителя. Следственные власти Тургайского уезда совершенно очевидно решили это дело потихоньку замять.

Амангельды ехал по пустому городу, за спиной его стояла полная луна, а окна домов были плотно занавешены.

Во всем Тургае светилося лишь одно окно. Амангельды невольно заглянул в него и увидел своего постоянного клиента господина Голосянкина. Он сидел под чучелом орла и курил длинную трубку. Спиной к окну сидел кто-то, кого Амангельды не узнал,

— Что за странные у нас на Руси эти пошлы и поповичи,— рассуждал Семен Семенович.— Взять того же Гапона. Начинал бескорыстным правдолюбом, на службе своей в пересыльной тюрьме пытался повторить нравственные подвиги доктора Гааза, потом стал кумиром рабочих, а на излете зачем-то связался с охранкой и был казнен на пустой даче. Кстати, я говорил вам, что Гапона казнили по прямому указанию Евно Азефа, который только что разоблачен как давний платный агент охранки? Если помните, у Достоевского в «Бесах» проскальзывает что-то о связи крамольников с охранкой. Мутно, вскользь. Кажется, это в разговоре Ставрогина с Верховенским. «А вы, любезный, с охранкой не связаны?» Или похоже на это. Так при всей нашей с вами нелюбви к Федору Михайловичу нужно признать его прозорливость. Вот уж бесы так бесы. Один провокатор приказывает казнить другого. Теперь болтают, что Гапон и не был связан, а только проверял кого-то. Я утверждаю, что революционный путь опасен потому, что влечет честолобцев и авантюристов. Человечество может надеяться лишь на незыблемые экономические и технические законы. России, к примеру, нужны конституция, парламентская демократия и монарх для декорации, или, как говорит отец Кусякин, для торжества православия.

Токарев слушал с интересом, хотя подобное упование на самодвижущийся прогресс было знакомо ему. Прежде и он думал, что все в мире может устроиться само собой. Нет. Само собой не может. Это уж определено. И еще подсказала память что-то, читанное совсем недавно. Три винта прижимают доску, которая давит на рабочего человека. Главный винт — порабощение силой оружия, огнем и мечом; второй винт — отобрание земли и запасов пищи, которое опять же невозможно без применения силы оружия или угрозы такого применения. Третий винт — порабощение при помощи денег. Это порабощение

щение самое современное и для его осуществления трудится ныне весь штат государственных служащих.

Про это он и сказал Семикасову:

— Самое глубокое изучение экономических теорий, дорогой Семен Семенович, не отменит главного: даже гениально найденный закон прибавочной стоимости нельзя было бы осуществить без применения силы. Именно поэтому большевики и говорят о диктатуре, в частности о диктатуре пролетариата. При чем тут политическая экономия, если государство только силой и может держать народ в бессловесном повиновении, если оно любым указом может все отобрать или все запретить. Оно может безнаказанно отобрать у семьи кормильца, а лучших молодых людей забрать в солдаты.

Варвара Григорьевна уставала от споров, которые так любил ее муж. Она извинилась перед Семеном Семеновичем и ушла спать.

— Идея отмирания государства не зря давно привлекает лучшие умы. — Токареву казалось, что именно сейчас он приближается к самой главной истине. — Необходимость государства не более чем необходимость бога Саваофа, сидящего на облаке. И обязательность жертв, которые люди по наущению и принуждению жрецов религии и жрецов пауки приносят богам и государству, подтверждает выдуманность и подлость каждой из этих идей. Я понимаю, Семен Семенович, что и там и тут у жрецов заблуждения бывают певольными, но вина науки перед людьми ничуть не меньше, нежели вина религии. В отрицании государства коммунисты, давние и нынешние, поняли суть проблемы, о вреде нынешней буржуазной науки говорили не только они. Особенно вредны ваша статистика и политическая экономия. Не зря сказано, что человека можно заставить быть рабом и заставить его делать то, что он считает для себя злом, но нельзя заставить его думать, что, терпя насилие, он свободен и что

то очевидное зло, которое он терпит, составляет его благо. Это кажется невозможным. Это кажется чудовищным. Но именно это невозможное и чудовищное сделано нынче с помощью науки. В этом ее главная вина перед человечеством, а не в изобретении динамита и пулемета.

— Толстовство чистой воды,— спокойно возразил Семикрасов.— И напрасно вы сближаете Толстого и большевиков. Они не сходятся в более важном, чем отношение к буржуазному государству. Толстой против насилия, большевики же ставят его во главу угла. Я вовсе не абсолютизирую значение политических наук, но не в одних экономических законах тут дело. Миру все более, к примеру, грозят растущие националистические силы, обожествление вовсе неуловимых вещей, как душа нации и ее судьба. Нас с вами не заставляет задуматься известное стихотворение Тютчева, но представьте, что будет, если подобные стихи станут гимном, к примеру, киргизов, тунгусов, узбеков. Что, если наш приятель Амангельды всей своей пылкой и честной душой поверит в эту чушь? А ведь еще есть разные там зулусы, буры, патагонцы.

Николай Васильевич не понимал, про что говорят Семикрасов. При чем тут зулусы? Семикрасов же видел недоумение Токарева и внутренне ликовал. Он не страдал излишним самомнением, но относил к себе и любил повторять сказанные кем-то слова о Дюма: «Его голова, как гостиница. Ее иногда посещали умные мысли, но не задерживались дольше одной ночи».

— О каком стихотворении Тютчева вы говорите? — нетерпеливо спросил Токарев.— Ей-богу, нельзя же шутить в середине такого серьезного и важного разговора.

— Я не шучу. Представьте, что Амангельды вслед за Тютчевым создает песню с такими примерно словами, Вольное, так сказать, переложение:

Умом киргизов не понять,
Простым аршином не измерить:
У них особенная стать —
В киргизов можно только верить.

— В текстах поэтических опи чаще называют себя казахами, — сказал Токарев.

— Пожалуйста: «Умом казахов не понять...» и т. д. Я считаю это стихотворение в своем роде универсальным и готов признать его гениальность только тогда, когда буду уверен, что Тютчев имел в виду именно универсальность.

Умом якутов не понять...
Умом бель Франс нам не понять...

Нелепо, в самом деле, почему это всех можно понять умом, а нас нельзя. Если мы, русские, будем развивать в себе великодержавные идеи, это погубит нас быстрее любых других причин. Малые народы будут невольно копировать подобный образ мыслей, и центробежные силы разорвут нас в клочья.

Токарев пил холодный чай и думал. Семикрасов замолчал и, довольный, расхаживал по комнате. Половицы под ним поскрипывали.

— Вы помните Алтынсарина? — спросил Николай Васильевич. — Он любил повторять, что все возможное счастье его собственного народа состоит в духовном и нравственном единении с народом России. Причем понимал под этим процесс сложный, глубокий и длительный. Он хотел перевести на киргизский и издать хрестоматию, включающую отрывки из самых великих писателей древнего мира, Европы и Востока. Перед смертью он читал трактат Цицерона «О старости» в переводе моего дяди. Он считал освоение русской культуры ступенькой к познанию культуры общечеловеческой.

— Не убежден, что нынешним кочевникам так уж насущно необходим Цицерон или Овидий. Я бы начал с басен Крылова.

— Вот вы и продемонстрировали то, против чего только что выступали,— великодержавность. Культура пужна народу не по частям, а вся сразу. Я знаю немного кипчакский эпос и утверждаю, что он ничем не уступает эпосу западноевропейскому даже в самых высших его образцах, таких, как «Песнь о Роланде». Ньютон и Дарвин умирали здесь, достигнув положения старшего табунщика. Или и этого не достигнув. Вся беда в быте, в окружении, в том, к чему готовят ребенка родители и в какое его будущее они верят...

Часы показывали двадцать минут второго, когда в прихожей сильно зазвонил колокольчик. Веревку у крыльца дергали часто и нервно. Токарев в волнении кинулся открывать дверь, которая и так-то была не заперта.

В распахнутом плюшевом пальто, надетом поверх розового не первой свежести капота, в грязных азиатских галошах на босу ногу в гостиную влетела Людмила Голосянкина. Ее толстое почти круглое лицо было перекошено ужасом, глаза, лишённые ресниц, вылезали из орбит.

— Господа, Петра Николаевича убили! Пойдемте со мной, надо будить всех: следователя, команду, казаков, надо догонять убийцу... Пойдемте со мной, умоляю!

Токарев и Семикрасов стали поспешно одеваться, на шум вышла Варвара Григорьевна, из всхлипываний и причитаний несчастной Голосянкиной никто ничего не мог понять.

— Пойдемте быстрее, молю вас! Его еще можно поймать. Он убил моего мужа!

Они бежали по вымершей улице, луна стояла высоко.

— Кто убил? — спрашивал Семикрасов. — Когда убили?

— Они давно за ним охотились и настигли в час нашего счастья!

— Киргизы? — спросил Семикрасов. — Разве у него были с ними счёты?

Глава пятнадцатая

Судебный следователь Гавриил Бирюков долго не открывал дверь, выспрашивал и переспрашивал, кто, зачем и нельзя ли отложить дело до утра, потому что супруга только заснула, а у дочки коклюш. Людмила Голосянкина колотила в дверь, кричала, грозилась пожаловаться самому господину Новожилкину, требовала, чтобы денешу об убийстве ее мужа немедленно отправили в Петербург. В двух соседних домах тоже зажглись огни, появился врач и следом за ним Кусякин.

Все вместе направились к дому Голосянкиных, двери которого оставались распахнутыми. В чуелодельном кабинете Петра Николаевича было холодно.

Он лежал на полу под чуелом орла, возле глубокого и низкого кресла с плетеной спинкой. Он лежал на полу, прямой и худой, из-под головы растеклась и уже почти впиталась в шершавые пыльные доски большая лужа крови.

На верстаке рядом с инструментом чуелодельца стояли две бутылки коньяка, одна пустая, другая только начатая, на тарелке — толсто нарезанная местная киргизская конская колбаса и в миске — моченые яблоки. Рюмок было две, обе пустые.

— Господа! Прошу ничего не трогать, с места не сдвигать,— заявил Бирюков.— Вы можете ненароком уничтожить важнейшие вещественные доказательства и улики.

Следователь взял в руки револьвер, потом попросил доктора осмотреть труп, сам поклонился к убитому и изрек:

— Типичное самоубийство! Правой рукой приставил дуло к правому виску и...

Вдруг Бирюков замолчал и стал крутить барабан револьвера,

— Это его пистолет?— спросил он Людмилу.

— Нет! — крикнула Голосьянкина. — Нет! Вы лжете, это — убийство из мести. И это не наш пистолет. У нас светленький, а этот черный.

— Посмотрите,— обратился Бирюков к доктору. — Волосы на виске опалены, что свидетельствует о выстреле, произведенном в упор.

Людмила, которая до этого боялась подойти близко, сделала несколько шагов, вместе с врачом наклонилась над трупом мужа и, потеряв сознание, упала возле него.

Токарев и врач унесли ее в столовую, а Бирюков понюхал сначала пустую бутылку, потом початую, поднял из миски моченое яблоко и брезгливо опустил его обратно.

— В барабане револьвера не хватает четырех пуль, а входное отверстие в голове только одно.

Зорким глазом охотника Семикрасов еще до этих слов заметил одну странность и сейчас счел возможным обратить на нее внимание следователя.

— Посмотрите,— сказал он,— не из этого ли револьвера сделано отверстие в голове сайгака?

Действительно, в огромной голове сайгака, висящей в простенке между окнами, была дырка. Точно посредине, там, где начинались огромные рога.

— А вот еще! — звонко сказал Кусякин.

Чучело малой степной лисицы — корсака лежало на боку, и в голове у нее была такая же дырка.

Семикрасов смотрел на труп Голосьянкина и почему-то не испытывал жалости. Лезли посторонние мысли и воспоминания. Почему-то подумалось о том, что древние, кажется, вовсе не умели делать чучел, но достигли совершенства в изготовлении мумий. Еще профессор отметил про себя, что никогда и нигде он не видел столь искусных чучел. У Голосьянкина все звери были словно живые.

Следователь Бирюков рассуждал вслух:

— Конечно, мы должны были бы исходить из того, что опаленный правый висок свидетельствует в пользу самоубийства, но вполне допустимы и иные объяснения. А что, если собутыльник убитого прежде напоил его, затем выстрелил ему в висок и скрылся? Ведь очевидно, что их тут было двое. По меньшей мере — двое...

Токарев вернулся, шепнул Семикрасову, что Голосьянкина пришла в себя, и стал слушать умозаключения следователя.

— Отверстия в чучелах могут быть и давнего происхождения, может быть, они были сделаны еще во время охоты. К величайшему сожалению, мы не можем пока сделать вывод о том, из какого именно оружия стреляли по сайгаку и лисице.

Это была очевидная несуразица. Семикрасов прекрасно помнил, что чучела были совершенно целые. Конечно, убийство или самоубийство Петра Николаевича никак не связано с киргизами. Из отрывочных высказываний супруги убитого выходило, что гостем был кто-то из русских. Да и не стал бы Голосьянкин пить и курить с кем-то из киргизов.

— А вот и окурки! — сказал Бирюков. — Окурки в пепельнице, тогда как покойный курил трубку. Вот его трубка, вот окурки. Папиросы дешевые, но в Тургае таких не продают.

Токарев думал, что, слава богу, подозрение не падает на киргизов. Он беспокоился о новых обвинениях против степняков, на которых здесь привыкли сваливать все.

В карманах Голосьянкина пашли рублей двадцать денег, золотые часы с брелоком в виде черепа из слоновой кости. На ковре возле кушетки висело дорогое оружие: две сабли в серебряных с чернью ножнах, дуэльные пистолеты и кинжал кавказской работы, в шкатулке на камине

лежали какие-то бумаги и перстень. Возле кушетки стоял фарфоровый кальян.

— Убийство произведено не с целью ограбления.— Бирюков каждый свой вывод делал значительно.

— Остается только ревность.— Это сказал Кусякин.— Нынче, я читал, часто убивают из ревности. Или из мести. Как говорится, шерше ля фам.

— Он был однолюб,— сказал Токарев.— «Фам» тут ни при чем. И мстить ему никто не мог. Он вел торговые дела, возможно, что это дело рук компаньонов или конкурентов. Мы ведь не знаем ни источников его доходов, ни размера состояния. А вдруг он тайно богат, и наследники...

— Не верится,— возразил Семикрасов.— Конкуренты и наследники действуют осторожнее.

Врач, вернувшийся из столовой, довольно равнодушно обследовал труп и подписал заключение о том, что на теле не найдено других телесных повреждений, кроме отверстия в правом виске, а о степени опьянения высказываться определенно отказался.

В качестве понятых Семикрасов и Токарев подписали полицейский протокол и отправились домой. Естественно, что они не спали всю ночь, а утром, когда приехал Амангельды, на всякий случай посоветовали ему поскорее уезжать. Улик против него нет, но глаза мозолить не надо. К тому же могут его вызвать в качестве свидетеля, ибо известно, что Амангельды поставлял Голосяпкину убитых животных и птиц. А свидетелем в столь тонком деле быть опасно.

Амангельды сказал, что и сам не может задерживаться, но на обратном пути обязательно заедет в Тургай и готов пригласить Семена Семеновича и Николая Васильевича на охоту. Охота по первой пороше всегда бывает удачной.

Когда Амангельды уехал, Семикрасов с Токаревым

опять занялись исследованием предположений, связанных со смертью Петра Николаевича. Семикрасов готов был заподозрить и самую безутешную вдову, которая давно рвалась из Тургая и часто говорила, что только упрямство мужа мешает ей жить полной жизнью и дышать полной грудью. Спокойный академический рассудок профессора извергал любые предположения, но Токарев не мог себе такого представить. Горе вдовы тронуло его до глубины души.

В тот день они рано легли спать, а на рассвете их опять разбудили. Амангельды стоял в дверях, он был возбужден и суров, говорил очень тихо и скупно.

— Я поймал убийцу. Теперь никто не скажет, что это киргизы. Он сложно говорит, он говорит, что хотел убить, но не убил. Можно поехать к нему. Или я его сразу полиции отдам.— Амангельды еще больше посуровел.— Я могу его сразу полиции отдать. Хотя не хочется. Почему-то не хочется.

Ехали долго. Дул встречный ветер, дорога была трудной.

— Скоро,— успокаивал Амангельды.— Это заброшенная зимовка. Где раньше школа была, где учитель в корзине замерз, где Бейшара сторожем был.

Они приехали, когда день совсем посерел, и ясно стало, что здесь им и почевать.

Школьное здание развалилось, от класса и чуланов остались одни стены, и только комната учителя почему-то уцелела. Над ней была крыша, а из крыши торчала печная труба.

— Здесь,— сказал батыр.— Еду, смотрю: из трубы дымок идет. Думаю: кто это? Завернул, вхожу, он у печи сидит. Плечи узкие, шея тонкая. Я вчера эту шею и плечи видел в окне господина Голосянкипа. Я сразу понял, что он и убил.

Человек лежал на земляном полу. Он лежал на спине

совершенно неподвижно в странной какой-то неудобной позе и казался мертвым. Батыр равнодушно перевернул его на живот, острым ножом разрезал веревки на руках и ногах.

Человек продолжал лежать. Амангельды посадил его, прислонив спиной к стенке.

— Он зачоченел и почти без сознания,— сказал Токарев.— Разве можно было так вязать его и бросать в холодном помещении?

— Это убийца,— возразил Амангельды.— Вот увидите. Его все равно повесят.

— Надо затопить печь, обогреть его и накормить,— поддержал Токарева Семикрасов.

Они втроем занялись печкой, под прелым камышом рухнувшей кровли нашли остатки строила, сломанный ученический стол. Еду они взяли на троих, но и на четверых ее хватало.

Человек у стены безучастно глядел на хлопоты трех незнакомцев. Его пересадили к печке, но он вроде бы не чувствовал тепла, молчал и не шевелился.

— Оружия при нем не было? — спросил у Амангельды Токарев.

— Нет.

— А с чего вы взяли, что он и есть убийца?

— Он сам признался.

— Как это так?

— Я прямо сказал, что видел его в комнате господина Голосьянкина. Тогда он вздрогнул и побледнел.

— Ну?

— Я спросил: «Ты его убил?» Он ответил, что хотел убить.

Семикрасов пристально смотрел на узкоплечего человека, прислоненного к печке. Он был остронос, губаст и очень некрасив. Он чем-то напоминал убитого, и у Семёна Семеновича возникла догадка: не сын ли он Петра

Николаевича? Сын, убивающий отца. В этом было что-то литературное и даже эпическое. Такие типы из-за наследства не убивают, тут другие причины. Фантазия профессора заработала.

— Это правда, что вы убили господина Голосьянкина? — довольно мягко спросил Токарев. — Это правда, что прошлой ночью вы были у него в кабинете?

— Нет, — узкоплечий с трудом разжал губы. — То есть да.

— Дайте ему водки, — посоветовал Семикрасов. — Он закоченел до мозга костей.

Водку вливали сквозь стиснутые зубы, но незнакомцу сразу стало лучше. Потом ему дали поесть.

Говорить он начал сам:

— Я хотел убить его, но не смог. — Он сидел у раскрытой дверцы плиты, и лицо его освещалось красным светом. — Я искал его семь лет. Из-за него повесился мой отец, друг его юности. Я нашел исповедь отца семь лет тому назад. Может быть, вы слышали о серии провалов среди террористов, в которых был виноват Сергей Дегаев. Но не один Дегаев служил охранке. Самым незаметным и беспомощным, но самым страшным в судьбе моего отца был Голосьянкин. Я не смог убить его и теперь погибну, не отомстив за отца. Жизнь моя вовсе потеряла бы смысл, но на суде я расскажу все и потому не боюсь вас... — он посмотрел на Семикрасова, потом на Токарева. — Вы из полиции?

— Мы не из полиции, — успокоил его Токарев. — И мы вам верим. Значит, вы не убивали Голосьянкина? Как же все произошло?

Незнакомец молчал, смотрел на огонь, думал.

— Он был капельку лучше, чем я думал о нем. Это хорошо.

— Хотите еще водки? — спросил Семен Семенович. Незнакомец кивнул.

— Я пришел к нему вечером, часов в шесть. Я ска- зал, что хочу купить чучело, что представляю зоологиче- ский музей в Вене. Чучела он делает и в самом деле от- лично. Чучела у него как живые. Он сразу узнал меня, потому что я очень похож на моего отца... Я никогда не видел отца, потому что он удавился, когда моя беремен- ная мать обозвала его провокатором и ушла от него. Люди говорят, что я похож на моего отца.

— Простите, но вы чем-то похожи и на господина Го- лосьянкина?

— В том-то и дело! — воскликнул незнакомец. — В том-то и дело, что мой отец тоже слегка походил на Го- лосьянкина, они учились в Тифлисском кадетском корпусе и были друзьями. Когда Петр Николаевич стал агентом охраны, а это случилось еще в корпусе...

Он опять замолчал, долго смотрел на огонь, потом переспросил:

— Значит, господин Голосьянкин покончил с собой? Это удивительно! Я держал в кармане револьвер и точно знал, что выстрелю в него сразу, как только скажу, кто я такой и в чем я его обвиняю. Я не предвидел только, что он сразу узнает меня, а он узнал, повел в кабинет, стал плакать, говорить, что ждал этого часа и казнит себя всю жизнь. Я же не жалел его нисколько, я прямо сказал, что знаю и про квартиру, где жандармы всех под- слушивали. Я не смог выстрелить в него. Я долго гото- вился к исполнению своего приговора, я много стрелял по мишеням, я мнил себя Сильвио из пушкинского «Вы- стрела», но выстрелить в человека, история которого так жалка, не мог. Я сказал только, что теперь решил опу- бликовать письмо отца, и отдал господину Голосьянкину свой револьвер. Я хотел, чтобы он застрелился, но не ве- рил в это. Признаться, мне показалось, что он хочет вы- стрелить мне в спину. Я шел по улице и вдруг услышал выстрел. «Он покончил с собой», — решил я, но тут услы-

шал второй выстрел, за ним третий. Я понял, что он стреляет просто так, спьяну. Для потехи. Он был очень пьян. И я тоже, впрочем... Впрочем... Вы знаете, он мог ошибиться, он мог подумать, что в револьвере шесть патронов, а их было семь. Новая система...

— Вы понимаете, что смерть Голосянкина приписывается вам, таинственному гостю, револьвер тоже ваш, и ваше бегство — весомая улика, — сказал Семен Семенович. — Любой волостной или аульный старшина обязан сообщить о вашем местопребывании и задержать до выяснения. Рядом с нами вы в относительной безопасности, но, как быть дальше, мы просто не знаем.

— Про это не беспокойтесь, — сказал Амангельды.

Главное, о чем говорили здесь, он понял. Это похоже на кровную месть. Как ни близко знал батыр русских, он всегда удивлялся сложности их отношений между собой. Происходило это не потому, что он представлял себе жизнь русских более примитивной, а потому, что со стороны все кажется проще. Амангельды сел на корточки перед печкой, подложил кизяк и вспомнил школу эту, от которой осталась одна комната, вспомнил русского учителя, умершего внутри сплетенной им самим верши, Бейшару, который в поисках счастья стал выкрестом, свое детство, Зулиху и Абдуллу, вспомнил, как баксы Суйменбай лечил чахоточную Зейнеп. Абдуллу Темирова он теперь встречал иногда, это был важный господин. Как много у нас связано с детством, с юностью! Ведь и самое большое дерево растет из семечка. Еще он подумал про Кейки. Теперь Кейки не нуждается ни в чьей поддержке, теперь он от Яйдеголового не зависит.

Уакопчечий отогрелся, как воробей в коровнике, сидел, чуть сутулясь, но это, видимо, была его обычная поза. Он чувствовал себя в своей среде, расслабился от этого, про опасность, грозящую ему, кажется, забыл.

— Что вы предлагаете, батыр? — спросил Токарев. — Его могут поймать и выдать властям.

— Про это не беспокойтесь, — повторил Амангельды. — Я помешал ему убежать, я обязан помочь ему уехать. До ближайшего аула семь верст. Там живет батыр Кейки. Как я ему скажу, так он и сделает. Хотите — до поезда доставят, хотите — в Кустанай.

Ночевали у Кейки Кукембаева, а утром разъехались в разные стороны.

По дороге в Тургай Семикрасов говорил Токареву о том, что как бы примитивны ни были националистические инстинкты, они могущественны и не поддаются пока серьезному изучению. Поэтому центробежные силы империи будут расти год от года. Каждый человек на любом уровне развития, если прислушается к себе, то обязательно услышит два спорящих голоса, выражающих совершенно противоположные желания. Одно желание — чтобы люди были вместе, чтобы не было грани между странами и все понимали друг друга без переводчиков. И каждый знает, что это доброе желание, и потому иногда стыдится его. Второе желание злое, но гордое. Оно объединяет нас с вашим народом и возвышает над всеми остальными людьми. Это гордая жажда национальной исключительности. Прислушайтесь к себе, и вы узнаете, что ваша гордость далеко не бескорыстна, но корысть эта особая, латентная, скрытая, а еще точнее, скрытая до времени.

Толчком к рассуждению о разных формах национализма послужил разговор в доме Кейки. Молодой батыр был приветлив с гостями, но откровенно признался, что мечтает о том времени, когда ни одного русского не будет в здешних стенах и никто нигде поблизости не увидит ни одного чужака.

Представления Кейки о будущем человечества не отличались агрессивностью. Просто он считал, что люди

должны знать свое место и не перемещаться по земле без толку, как бараны. «Я не против русских,—говорил он,—но нельзя допустить, чтобы они вращались в нашу землю. Может дойти до того, что они будут любить наших девушек и жениться на них. Это была бы смерть нашему народу. Я не против русских, но пусть все они живут за Волгой. Разве мало там земли?»

Вспоминая теперь эти слова, Семикрасов подчеркивал наличие самых примитивных биологических инстинктов, на которых основаны все формы расовой и национальной нетерпимости. Или биологией прикрываются.

Токарев слушал столичного профессора невнимательно. Он сам любил отвлеченные рассуждения, однако пынче абстрактно поставленный национальный вопрос и даже конкретные, по дальние его перспективы не могли заслонить реальные судьбы, открывавшиеся перед ним. Нищий студент, страдавший от мысли, что отец его покончил с собой из-за клеветы, судьба Голосянкина, его смерть под чучелами зверей, Людмила в грязных галошах на толстых босых ногах и Амангельды, который вначале связал и чуть не заморозил студента, а потом стал его телохранителем и взялся сам доставить в безопасное место.

Для Семикрасов и Токарев отсутствовали, и, конечно, это отсутствие было замечено не только начальником уезда, но и тайными соглядатаями. Перед начальником своим Ричардом Ивановичем Гарфом Токарев легко мог оправдаться, но тайные соглядатаи отчетов не спрашивали, а сразу писали куда следует.

— Нет, вы поймите меня, Николай Васильевич,—задыхаясь, продолжал говорить тучный Семикрасов.— Вы поймите! Антагонизм пародностей — вот что погубит Россию. Ведь Кейки как рассуждает: киргизы живут от Енисея до Волги, русские — от Волги до следующей большой реки, а за той рекой у него помещаются почему-то

непосредственно англичане. Немцам и французам, по его географии, в Европе места нет. О венграх, итальянцах и сербах он и думать не хочет. Чтоб никто ни с кем не перемешался!

У въезда в город они встретили возчика Байтлеу. Он стоял возле своей почтовой повозки и смотрел на двух русских господ с прищуром.

Полковник Новожилкин пребывал в прекрасном расположении духа. Недавно пришла бумага, где определено говорилось о предстоящем переводе полковника в столицу в качестве одного из руководителей важнейшей отрасли тайной полиции — наблюдении за заграничными организациями революционеров и их связями с мировыми державами, крупными политическими партиями Запада и т. д. Наконец-то в Петербурге заинтересовались и эмигрантами из инородцев, стали принимать в расчет мусульманство и другие восточные тяготения. Перевод в Петербург был особенно желателен еще и потому, что Новожилкин вот уже лет пять жил полухолостяком, ибо его единственный сын, став преуспевающим адвокатом в Петербурге, даже не навещал отца, а супруга месяцев семь в году проводила возле сына и в Оренбург приезжала нервная, спешащая.

Новожилкину очень хотелось стать генералом до выхода в отставку, теперь мечта казалась близкой к воплощению, и, приняв после обеда ротмистра Ткаченко, полковник был доброжелателен и журил его отечески:

— Мы с вами государственные люди, господин Ткаченко, мы обязаны все предвидеть. Так, например, мы обязаны были знать, что обвинение в предумышленном мятеже тургайских киргизов рассыпается по причинам, от нас не зависящим. Видя, что Токарев и прочие поднимают слишком большой шум, следовало вам, господин ротмистр,

посоветовать кому надо, чтобы судебное дело двинулось по иному, более простому и более верному руслу, причем главной фигурой следовало бы сделать опять Иманова или Удербаяева.

— Вы имеете в виду агитацию против местных выборных лиц и избивание сборщиков подарков?

— Нет! Это опять политика, а в политику нынче лезут все. Следовало бы предъявить уголовное обвинение.

— По делу Колдырева у Иманова полное алиби. Он был под стражей с середины дня 27 мая.

— А где был в это время Удербаяев?

Ткаченко скрыл улыбку превосходства и вежливо напомнил:

— Удербаяев и Иманов — одно лицо. Он фигурирует в донесениях под разными фамилиями.

— Да, вы мне уже говорили об этом, но тем более против этого одного лица и следовало сосредоточить все усилия, показать киргизам, что защита наших русских либералов — ничто в сравнении с силой русской законной власти. Следовало судить Иманова за разбой или за конокрадство... — Новожилкин встал из-за стола и стал расхаживать по ковру. Ему понравилась эта мысль. — На него ведь часто приходили жалобы от баев? Так вот конокрадство — лучшее из обвинений. Это клеймо само по себе, клеймо в глазах простых русских людей и даже в глазах тех же либералов... Кстати, киргизы все в душе конокрады.

Ткаченко почему-то захотел возразить, но сделал это поделикатнее:

— Чужая душа — потемки, господин полковник.

— Тем более. Я даже представляю себе обвинительную речь. Я бы начал так... — Полковник оперся костяшками пальцев о край письменного стола и замолчал.

Нет, он не понимал, почему сын его стал адвокатом. Роль прокурора всегда почетнее и надежнее. Мелькнула,

правда, мысль, что молодые лучше чувствуют веяние времени и адвокаты в самом деле стали больно уж значительны: и богатство к ним, и слава. Теноры, прости господи!

— Господа судьи, господа присяжные заседатели! — Нет, роль прокурора куда привлекательней! — Конокрадство искони составляло страшный бич нашего сельского быта. Постоянные заботы правительства о принятии мер к уменьшению этого зла сами по себе свидетельствуют, что зло это существенно препятствует развитию народного благосостояния. Насколько конокрадство глубоко пустило корни в нашей сельской жизни, сколько вреда оно приносит ежегодно сельскому хозяйству, особенно в здешних местах, известно всем... Перед судом сегодня конокрад и разбойник, жалобы на которого бесчисленны. Здесь присутствуют в качестве жертв почтенные господа... Подскажите, ротмистр.

— Кенжебай Байсакалов, Калдыбай Бектасов, Иса Минжанов...

— Да! Бесчисленны преступления подсудимого Иманова, и необходимо суровое возмездие. Ввиду осознанной правительством невозможности бороться с этим злом только легальным путем — за отсутствием к тому на местах должных средств — преступления эти неоднократно служили поводом к испрошению высочайших разрешений на принятие особых мер против лиц — особенно инородцев, — заподозренных сельскими обществами или администрацией в конокрадстве.

Ткаченко слушал и не понимал. Что-то раздражало его. Артист! Все с чужого голоса. Потому и фиглярствует, что недоволен. Потому он всего лишь полковник и всего лишь в Оренбурге. Ротмистр не знал, что его начальник собирается отбыть в столицу, не знал, что это перемещение и ему самому сулит продвижение вверх по служебной лестнице.

— Именно на основании вышеизложенного,— продолжал актерствовать полковник,— издан указ сената от 4 апреля, по коему дела о краже лошадей, а также иного рабочего и домашнего скота изъяты из ведения волостных судов... Я требую сурового, самого сурового и справедливого наказания Иманова Амангельды, который...

— ...еще в детстве украл лошадь и овцу у бая Байсакалова, потом ему же продал его же собственных лошадей под видом краденых,— с улыбкой сообщника, только что принятого в компанию, подсказал Ткаченко.

— И совершил еще много аналогичных преступлений,— продолжал полковник.— Давно обнаружено, что конокрадство в форме промысла обусловилось у нас прочною и правильной организацией, подобной организациям всевозможных антиправительственных террористических сообществ. В данном случае закономерной видится связь подсудимого Иманова с политическими ссыльными, с господами, которые неоднократно замечались в предосудительных сношениях с врагами русской государственности. Как и у господ крамольников, у конокрадов существуют свои тайные начальники, тайные пункты, притоны, тракты, по которым они пересылают краденое.

Новожилкин сел в кресло, ему стало скучно. Выступить перед Ткаченко в любой, даже в прокурорской, роли все-таки не следовало.

— Я показал вам, господин ротмистр, что можно делать на службе отечеству, если приложить к этому старание и ум.

— Если бы такие люди, как вы, служили в уголовных судах, если бы я сам мог хоть отчасти предугадывать ход событий так, как это делаете вы, управлять страной было бы много легче.— Ткаченко говорил вполне искренне.— Мы задыхаемся оттого, что нет людей. Совсем нет людей, отвечающих задачам времени!

— Да, людей не хватает,— уточнил Новожилкин.— Не то чтобы вовсе нет, а просто не хватает,— он опасался быть категоричным в таких делах.— Вами лично, ротмистр, я доволен. Вы многому научились, многое постигли сами. Кстати, я считаю, что моя теория о государственной пользе некоторого количества нераскрытых преступлений вами усвоена и, надеюсь, станет еще одним из важнейших средств в работе тайной полиции. Когда я был молод, я напоролся на зверское убийство пастуха, которое совершили два почтенных бая, занимавшие в то время выборные должности. Доказать это было трудно, но я и не стал доказывать. Просто один из убийц стал моим верным агентом, а другой боялся меня и ни в чем не перечил.

Ткаченко догадался, что Новожилкин говорил о Яйце-головом, но виду не показал.

— И вы правильно делаете, что не рветесь разоблачать убийц этого Колдырева или Болдырева. Важно, чтобы они знали, что вы знаете. Нераскрытые преступления — это резерв возможностей, это средство служить вам, но это и шанс приписать его тому, кого вы сочтете удобным угробить... Вы знаете, ротмистр, теория работы тайной полиции когда-нибудь будет изучаться, и учебники будут издавать. Правда, для узкого круга.

В дверь постучали.

— Войдите,— сказал Новожилкин и принял от дежурного офицера опечатанный сургучом пакет. Ножницами обрезав край, он достал сложенный вдвое лист, быстро пробежал глазами короткий текст и хмуро сказал Ткаченко, что в Тургае неизвестным лицом был убит (или принужден к самоубийству!) мещанин Голосянкин. Есть уверенность, что убийство совершено по политическим мотивам. Неизвестное лицо из Тургай скрылось, всем волостным и старшинам разослано приказание о поимке предполагаемого преступника.

— Уму непостижимо! — воскликнул пораженный Ткаченко. — Ведь он всегда уклонялся от своих обязанностей и нам был весьма плохим помощником. За что же его?

— За давнее. За очень давнее, за кадетский корпус и за Петербург. У меня есть основания это предполагать. — Новожилкин задумался и долго молчал. Потом он поглядел на подчиненного совершенно холодными глазами и раздельно произнес: — Отчасти в смерти господина Голосянкина виноваты вы, ротмистр. Вам не следовало останавливаться в его доме и тем самым привлекать к нему внимание антиправительственных элементов и политических ссыльных. Вы перемудрили, полагая, будто ваш открытый визит отводит подозрения в тайном сотрудничестве. Вы перемудрили.

Полковник был искренне огорчен смертью Голосянкина. У него были виды на использование бывшего провокатора на новой своей предполагаемой должности.

— Мы должны сделать вид, что убийство это вовсе не политическое, как пишут из Тургая, а с целью ограбления. С попыткой ограбления, которое не удалось по каким-то причинам... А на киргизов это нельзя отнести?

— Нужно проверить... — начал Ткаченко, но полковник глянул в бумагу и возразил:

— На киргизов нельзя. Вдова покойного видела убийцу. Это был русский человек. Она уже дала показания. Вы не представляете, как именно в эти дни я сожалею о смерти Голосянкина. Он мне бы еще пригодился во всероссийском масштабе.

— Он битая карта, и уже давно, — успокоил Ткаченко начальника.

— Не в качестве агента, а для предварительной разработки операций. У него талант перевоплощения и имитации. Страсть к чучелам неслучайная. Он бы инст-

руктировал наших штатных агентов по внедрению в заграничные организации и печатные издания.

— Мне кажется, господин полковник, что он не стал бы сотрудничать. Он себе все индальгенции искал, мне хамить пробовал.

Новожилкин тяжело посмотрел на Ткаченко:

— Стал бы! Еще как стал бы. Зайца можно научить спички зажигать, а собаку — горчицу есть.

Полковник захотел остаться один. Он открыл несгораемый шкаф и стал перелистывать папку со списками своих секретных сотрудников. Были среди них не только доносики, но и консультанты, с которыми можно посоветоваться, которые знали определенный круг лиц, проблем и взаимоотношений. Нынче ведь не одни исполнители требуются, нынче и головы нужны. Специалисты!

Глава шестнадцатая

Калампыр сама выросла в атмосфере любви, и это очень важным оказалось для ее детей и внуков. Ее любил первый муж и второй, ее уважали подруги и соседи. И сыновей ей судьба послала отличных; другая бы хвасталась ими, но Калампыр было не до хвастовства. Обо всех у нее болело сердце, о каждом она беспокоилась, каждому готова была помочь с ребятишками нянчиться и по хозяйству. Так она и переходила из дома в дом: от одного сына к другому. Круглый год. Получалось, что большую часть времени она жила теперь возле байконурских копей, где трудились трое и где недалеко построил себе дом Бектепберген.

Все было хорошо в ее семье, пока не вступил Амангельды в пору своего необузданного и многим вовсе непонятного бунтарства. Другие батыры, смолоду удовлетворив честолюбие и прославившись как борцы на состоя-

заниях, как наездники и охотники, начинали жизнь размеренную и спокойную, выбирали себе высоких покровителей, подгребали под себя, что близко лежало, и — *определялись*. Амангельды же только к этому времени и стал на самый опасный путь. Не с соседями он ссорился, не с одним каким-то баем, а сразу со всеми, у кого в руках сила. Говорили, что это играет в нем бунтарская кровь предков, но люди все готовы объяснить похожестью, непохожестью, случайностью, закономерностью, необычностью и исключительностью.

Для всего у людей есть объяснения, и всем все понятно, когда дело сделано. А попробуйте-ка объяснить то, что уже случилось, а предсказывать то, что еще будет. Тут вы и поймете, как слаб ваш собственный ум и как велико искусство настоящих провидцев. Впрочем, и сам великий баксы Суйменбай в предсказании будущего иногда ошибался. Не предсказал же он, к примеру, что после той волокиты вокруг тургайской ярмарки Амангельды затаскают по судам и тюрьмам, а возчик уездной почтовой конторы Байтлеу станет процветать, богатеть и вовсе забудет, что сидел в тюрьме и дрожал за свое будущее, как тушканчик перед гадюкой.

Байтлеу стал теперь важный, получил повышение по службе, старшинствоствовал над всеми волостными почтальонами, лично выдавал им жалованье и фуражные деньги, кого-то из старых своих сотоварищей с работы уволил, кого-то за взятки взял на выгодную службу и требовал беспрекословного подчинения. На обмане в расчетах он богател намного быстрее, чем раньше, за руку здоровался только с баями и начальниками, которые прежде его и замечать не хотели. На голове у него теперь красовалась новая почтовая фуражка, сапоги он надевал городские, хромовые, и, как говорили знающие люди, в дальние поездки Байтлеу всегда брал с собой берданку. Видимо, ошибся баксы, предрекая ему беду.

Но, может быть, Суйменбай не во всем ошибался и не ая отказывался гадать Амангельды в тюрьме. Может, предвидел, что мало придется батыру жить на свободе. Ведь не прошло и года после освобождения по делу о тургайских беспорядках, а Амангельды вновь арестовали за оскорбление и подрыв авторитета крестьянского начальника Андреева. За то, что батыр всенародно сказал начальнику правду, за то, что сказал это на всем понятном языке, его приговорили к тюремному заключению. Несмотря на хлопоты друзей, перенесших слушание кассационной жалобы подальше от местных властей, в Саратов, приговор был оставлен в силе. Немалую роль играло то, что среди побочных обвинений, хотя и недоказанных, но весьма веских для присяжных заседателей, подобранных из крестьян, было то, что Амангельды выставили перед судом в качестве ловкого конокрада. Кто-то умело фабриковал и подбирал факты из степной жизни, и большинство нераскрытых преступлений так или иначе связывалось с батыром. Амангельды вышел из тюрьмы в 1911 году и, в отличие от первого своего возвращения, почти не задержался дома.

Неделю или полторы он провел с семьей, и то отлучался надолго. Степь в те дни будоражилась выборами волостных управителей, аульных старшин и народных судей — биев. Как и в прежние времена, суеты было много. Взятки, подкуп, угощения, вражда, братание, угрозы и посулы занимали степняков полностью, отвлекали их от дел насущных и забот повседневных.

Амангельды не знал точно, что следует ему предпринять, чтобы поломать старые порядки, и действовал по внутреннему побуждению. Вместе с друзьями — Ибраем Атамбековым, Исабаем Смаиловым и Биназаром Шоинбаевым — Амангельды при большом скоплении народа выпорол камчой двух джигитов, которые от имени волостного запугивали бедняков.

Амангельды велел снять с джигитов штаны, и Бинавар стегал их качмой по задницам так, что они потом долго не могли сесть в седло. Такой случай был одип, но молва разнесла его по степи, и каждый, кто хотел привлечь внимание к своему рассказу об этом поучительном наказании, прибавлял новые забавные подробности. В другой раз Амангельды с друзьями отобрал подарки у посланцев одного бия и раздал их беднякам от своего имени.

— Я даю вам эти подарки, чтобы вы никогда не голосовали за того, кто хочет вас купить,— говорил он.

— Мы будем голосовать за тебя,— сказал один слабый старик.— Ты самый справедливый из всех сильных.

— Нет,— возразил батыр.— Вы приняли мой подарок и не сможете быть беспристрастными ко мне. Когда же в нашем народе искоренится этот проклятый обычай любить друг друга за подарки?!

Случай с отобранием бийских подарков и послужил причиной новых судебных обвинений в грабеже.

В аул к Амангельды был направлен целый отряд полицейских. Батыр не оказал никакого сопротивления, потому что надеялся на суде доказать свою невиновность. Улик против кандидатов на выборные должности у него было достаточно, и он надеялся, что суд в Тургае — прекрасный повод рассказать об этом. Однако в Тургай батыра не повезли, а сразу отправили в Кустанай и держали там все время выборов и еще долго после них.

Свидетелей у обвинения явно не хватало, поэтому власти вынуждены были выставить почтаря Байтлеу.

Калампыр в те дни совсем потеряла покой. Бывший друг ее сына Смаил Бектасов вовсе не хотел говорить с ней, а посланцы волостного управителя пригрозили, что и младшие братья батыра вскоре предстанут перед судом и всю семью отправят на каторгу. Бектепберген

ездил к Николаю Васильевичу Токареву, тот пообещал, что сделает все возможное, но объяснил: в дело замешаны некие высшие силы и борьба предстоит тяжелая.

Только в письмах, которые Амангельды пересылал из Кустаная, уныния не было никакого. Он писал матери, что скоро будет на воле и что теперь он узнаёт про жизнь все больше и больше и все лучше понимает, как надо бороться за справедливость.

О боже! Разве это понимание, когда с каждым годом он все дольше сидит за решеткой. Хорошо понимает тот, кто от понимания пользу имеет. Мать старалась утешать невестку, но бедная Раш плакала дни и ночи, жаловалась свекрови, что дети отвыкают от отца, а враги торжествуют.

В канун первого судебного заседания главный свидетель обвинения Байтлеу вдруг отказался выступать против Амангельды. Он явился к следователю, сказал, что вот уже семь ночей подряд ему снится один и тот же сон. Злые джинны повелевают ему отныне говорить людям только правду. Байтлеу был черен лицом, глаза его бегали, и следователь решил, что свидетель подкуплен обвиняемым, а скорее всего, запуган его родичами. Здесь многих запугивали.

Против страха лучше всего действует страх. Кустанайский следователь посоветовался с прибывшим из Оренбурга ротмистром Ткаченко и решил, что лучше всего надавить на Байтлеу и со своей стороны. Он объяснил свидетелю, что дело о подстрекательстве к избиению солдат на ярмарке в Тургае вовсе еще не закрыто, что по тому обвинению Байтлеу грозят кандалы, а тут, мол, открылись еще обстоятельства его работы в должности старшего среди почтовых возчиков, что есть жалобы на него за недоплату жалованья и жульничество с фуражными суммами. Следователь предложил свидетелю подумать дома, а если тот дома ничего путного не придумает,

то придется посадить его в камеру, где времени для размышлений у него будет больше.

Байтлеу очень напугался каторги, а больше каторги того, что скоро окажется в одной тюрьме с Амангельды, еще сильнее почернел лицом и, еле перебирая ногами, ушел на постоянный двор. Утром он исчез.

Нашли его через сутки верстах в десяти от города. Никто не мог понять, отчего он умер. Экспертиза, на которой настаивал Ткаченко, дала заключение о разрыве сердца, и судебно-следственные органы при всем нежелании вынуждены были признать эту версию в качестве достоверной. Родичи Байтлеу поехали в аул к Суйменбаю. Старик в те дни тяжело болел и никого не принимал, однако родственникам покойного не отказал.

Великий баксы выслушал их рассказ и просьбу поведать им о виновниках смерти Байтлеу. Он не стал гадать на костях, не бросил бобы на кошму, не потребовал чаю, не закрывал глаза, что полезно для ясновидения. Он сказал так:

— Байтлеу жил умом, а ум у него был против сердца. Очень слабый ум против очень слабого сердца. Вот сердце у него и не выдержало. Я всегда объясняю людям, что самое страшное, когда ум и сердце живут во вражде. Тогда человек погибает от самого себя. Ему и враги не страшны.

Вскоре после смерти Байтлеу Амангельды выпустили из тюрьмы на поруки, и несколько месяцев семья прожила спокойно.

Раньше батыр пользовался уважением больше всего среди бедноты, теперь оно возникало и у сильных мира сего. Его позвал в гости Смаил Бектасов, заезжал па часок учитель Миржакуп Дулатов, и почтенный седебородый мулла Асим Хабибуллин остановил его возле мечети в Батпаккаре, на виду у всех долго беседовал и одобрительно улыбался.

Победитель вызывает уважение, а Амангельды доказал людям, что он из породы победителей. Сколько раз ему пророчили смерть или каторгу, но каждый раз он возвращался, и сам слух о его возвращении лишал сна многих его врагов.

Главный тургайский миссионер — отец Борис Кусякин — ждал епископского сана, давно пристало ему быть среди иерархов, и в Синоде это понимали. Ждал Кусякин к рождеству, к новому, 1913 году, потом ждал к пасхе. Не только заслуги в святом деле обращения иноверцев, но и активная борьба против магометанства в течение трех десятков лет писалась ему в заслугу. На его послания относительно связей чисто мусульманских проповедников и сторонников независимости народов, населяющих земли от Каспия до Китая, теперь ссылались лица высокопоставленные, а неприязнь Кусякина к мулло Асиму нашла обоснование в его тайной, но теперь обнаруженной приверженности к тем, кто хотел созвать все-киргизский съезд и создать нечто вроде своей Государственной думы.

Впрочем, события в Тургайской области настораживали Петербург потому, что еще более конкретные анти-колониальные явления отмечались в Туркестане. На окраинах империи сказывалась бездумная болтовня российских газет, обличавших колониальную политику Англии, Германии и других европейских держав, раздувавших каждый конфликт в Индии, Африке или Ирландии. Инородцы в степных юртах или под сводами медресе в Бухаре и Коканде тоже обсуждали эти статейки и делали свои собственные выводы.

Может быть, в понимании именно этих обстоятельств находил себе утешение начальник жандармского управления в Тургае.

Вопреки обещаниям Новожилкина не перевели в столицу. У него было еще несколько предположений относительно того, почему утверждение нового назначения сорвалось в последний момент и на самой высшей ступени. Вполне реальным казалось и явно неразумное поведение сына. Он водил дружбу с кадетами и эсерами, сблизился с неким Александром Керенским и в один из наездов полковника в Петербург даже познакомил с ним отца. Это был, с точки зрения Новожилкина-старшего, типичный присяжный, не из евреев, но похожий на еврея. Были у Новожилкина и другие предположения, связанные с происками обычных завистников, с недоброжелателями и злопыхателями, которых много у каждого умного человека.

Как часто бывает, в утешение против обещанного Новожилкина произвели в чин генерал-майора и обставили производство весьма торжественно. А совсем недавно замаячили новые перспективы. Товарищ министра внутренних дел Александр Григорьевич Безсонов, с которым Новожилкин был знаком в бытность того простым инспектором русско-киргизской школы в Орске, пригласил новоиспеченного генерал-майора к себе и имел с ним полтора часовую доверительную беседу.

Безсонов говорил о важном, об опасностях, которые подстерегают империю, если она позволяет разгуляться стихиям национальных чувств и чаяниям окраинных народов. Он рассуждал о лоскутной австро-венгерской монархии, об Англии, все счастье которой состоит в отдаленности метрополии и колоний, о том, что в России, слава богу, все не так, совсем не так, ибо мы монолит и скреплены воедино во веки веков.

Безсонов говорил о важном, а Новожилкин время от времени отвлекался от темы, потому что хотел осмыслить, каким образом делаются карьеры. Выходило, что помехой в карьере часто бывает безупречная служба на

своем месте. Толкового и честного чиновника нет желания перемещать, и на освободившееся хорошее место куда заманчивее взять «человека свежего со свежим образом мыслей». Людям свойственно обольщать себя посторонним, далеким и незнакомым; не на этом ли основаны все супружеские измены. Боже мой! К кому только смолodu не ревновал Новожилкин жену! Он и сейчас ревновал... И к Безсонову Новожилкин относился с ревностью, хотя и совсем другого рода. Ведь болтает про Австро-Венгрию минут уже десять, когда давно можно переходить к сути. Вот, наконец, добрался!

— Центробежные силы существуют в любой империи, и у нас они проявляются все четче. Когда-то попытке руссификации киргизов противостояли хитро и исподволь такие люди, как Ибрагим Алтынсарин, которого мы оба с вами превосходно знали. На пути уступок их демагогии находились многие наши досточтимые соотечественники вроде Катарипского, Ильминского, Яковлева. Это они способствовали возникновению двуязычной киргизской интеллигенции, которая русский язык использует не столько для службы российской империи, сколько для усвоения и распространения идей, разрушающих наше государство. Алтынсарин любил повторять, что все возможное счастье для своего народа он видит в духовном общении с русским народом, в усвоении общих достижений и взаимовлиянии. Обратите внимание — с народом! Ни разу не говорил о государстве, империи, православии...

— Я доносил об этом.— Генерал-майор Новожилкин осмелился перебить товарища министра.— Когда-то в этом самом кресле, где сидите вы, был мой покойный дядюшка.

— Возможно,— небрежно отвечал Безсонов. То ли это относилось к тому, что Новожилкин действительно сообщал про Алтынсарина, то ли к тому, что один из

бывших товарищей министра был родственником нового генерал-майора. — Возможно, что наши с вами сигналы были значительны и правильны по мысли, но они были единичны и поступали снизу. Государство не может придавать чрезмерное значение тому, что идет снизу; факты должны накапливаться в реестрах высших учреждений и в головах высших чиновников. Такова грустная неизбежность человеческого сознания... Вы читаете философов, генерал? Жаль. Я иногда почитываю. Так вот! Ничего нет более важной для вас задачи, нежели неуслышанное внимание к тенденциям центробежности среди иппородцев. Ничего почти все революционеры болтают о праве наций на самоопределение. Это самая разрушительная идея из всех. В этой папке лежат доисследования на интересующую нас тему. Выберите то, что касается вашей области, скопируйте и начинайте действовать. В мире пахнет порохом, и если начнется война, все эти киргизы, грузины, армяне потянут построики в разные стороны.

Папка товарища министра не содержала ничего выдающегося, но, вернувшись в Оренбург, Новожилин стал уделять больше внимания именно той категории лиц, которую нынче называли новой киргизской интеллигенцией. Как он полагался Новожилин на свой собственный ум, он не мог не признать, что Безсонов подсказал верное направление действия. Первые же шаги на этом пути принесли весть о том, что киргизы всерьез собираются провести свой собственный съезд. Об этом говорили перехваченные письма киргизских интеллигентов, на это намекали заметки в их газетах.

Одно из перехваченных частных писем с подстрочным переводом лежало сейчас на столе генерал-майора. Абдулла Темиров писал своему другу Смаилу Бектасову: «В теперешнее время каждый понимает, что настала пора объединяться, а для этого надо собрать вместе всех выдающихся людей... Люди не могут жить без открытого

обсуждения всего самого важного и серьезного, не могут без этого принимать решений, а когда решение принято после предварительного обсуждения, то и в результате поражения раскаянье не так страшно. Даже Аллах завещал нам совещаться во всех делах. Конечно, открытый законный съезд может привести и к неприятным последствиям, ибо, зная наш народ, его темперамент и сложность родовых отношений, возможно предполагать возникновение беспорядков внутри съезда. Может произойти и другое. Царь может разгневаться из-за чего-то, съезд разгонят, а организаторов сошлют в Сибирь. Нельзя, однако, бояться собственной тени!.. Разные народы, проживающие в России, уже собираются для обсуждения своих нужд и, изложив результаты этих съездов, посылают их по принадлежности. Пусть нет прямых результатов, важно начало. Самое главное — объединиться, сознавать себя единой нацией, а не разбросанными по степи овечьими отарами...»

Письмо перевел штатный сотрудник тургайского областного жандармского управления Сарыбатыров. Он же объяснил генералу, что учился в школе вместе с Темировым, что тот был хорошо аттестован самим господином Безсоновым. Про Бектасова, сына хорошо известного Новожилкину Калдыбая, ни у кого спрашивать нужды не было. Младший Бектасов давно был на крючке у охраны, да и Темиров когда-то давно давал согласие помогать. Самое неприятное, что и среди этих людей зреет злонамеренность по отношению к империи, что и они мнят себя свободными гражданами России.

На основании других перехваченных писем и донесений с мест генерал самолично составил список лиц, нуждающихся в наблюдении по делу о попытке созвать съезд. Без всяких на то оснований в самом конце списка генерал приписал:

«Иманов-Удербает Амангельды».

Хорошо бы объединить преступные замыслы одних и преступные антиправительственные деяния бунтаря-одиночки. Для создания стоящего «дела», для того, чтобы отличаться перед высшим начальством, задумано не так уж плохо.

Первым он решил пригласить к себе Темирова, вторым через два дня — Бектасова. Один находился тогда в Кустанае, другой — под Тургаем. Новожилкин хотел, чтобы они не успели снестись по поводу вызова, не успели договориться. Случилось же так, что Бектасов по каким-то своим делам оказался в Оренбурге одновременно с Темировым и даже на одной квартире у общего их знакомого. Стройный план рушился, но генерал решил беседовать с ними в один день, так, чтобы Темиров, выйдя от начальника управления, не успел ничего сказать Бектасову, ожидающему в приемной.

Темиров явился в новом с иголки сюртуке и узких тщательно отутюженных брюках. Холеное молодое лицо, большие черные глаза, тонкие губы, тонкие усики и скрытая усмешка напомнили генералу кого-то из столличных друзей сына. Именно так улыбались они, разговаривая с отцом их приятеля.

— Я пригласил вас, чтобы посоветоваться. Мне много говорили про ваш ум и талант, но я прошу вас ни в коем случае не рассматривать нашу беседу в качестве допроса. Для допросов у нас есть другие люди. Кстати, недавно я встречался с вашим учителем господином Безсоновым, он весьма похвально о вас отзывался.

Темиров уже догадывался, что жандарм беспокоится по поводу созыва всекиргизского съезда, понимал, что к этому и клонится разговор, что лучше самому не спешить, не лезть вперед, не высываться. Он знал за собой эту торопливость и не мог с ней справиться.

— Ваше превосходительство! Столь длинное предисловие кажется мне излишним,— достойно начал он, но

голос его предательски дрогнул, потому что вовсе не следовало перебивать жандарма и помогать ему.— Я догадываюсь о причинах нашей встречи. Догадываюсь. Вы имеете в виду желание всех передовых казахов собраться на открытый, легальный съезд и откровенно обсудить все наши вопросы? Давайте же говорить без обиняков.

«Ишь ты! — подумал Новожилкин.— Без обиняков! Откровенно! Изъясняется на чистом русском языке во все без акцента. Хочет играть в откровенность. Есть такой способ, знаем. Говорит откровенно, но о малом, о ничтожном, а главное-то за этой малой откровенностью и прячет. Что ж, пусть так. Мне и малая откровенность на пользу».

Не полагаясь на свою память и не желая даже пометки сделать, чтобы не насторожить господина Темирова, генерал заранее усадил за шторой в нише у окна аккуратного Ткаченко. Тот все и запишет, что нужно.

Темиров тоже понимал опасность игры, на которую пошел; отвечал крайне осторожно, сам пытаюсь понять, что же достоверно известно жандармам и о чем они только догадываются. В самом конце этой беседы, которая давно уже превратилась в совершенно откровенный, хотя и вежливый допрос, генерал спросил:

— А с какой целью вы и ваши просвещенные друзья подбиваете голытьбу на неповиновение? Зачем вы постоянно общаетесь с главарем бандитов и конокрадов Имановым Амангельды? Ваши близкие знакомцы, поднимая шум и давая советы конокраду, сильно помешали исполнению правосудия. Вы же не станете отрицать факты.

Темиров облегченно вздохнул. К созыву съезда Амангельды не имел никакого отношения. Он во всем действовал самовольно, прибегал к силе, чтобы восстанавливать справедливость там, где ее и во веки веков не было. Глупец и романтик.

— Видите ли, ваше превосходительство. Я знаю

Амангельды Иманова с детства. Судьба то сводит нас с ним, то разводит надолго. Душевность ранних воспоминаний иногда на миг сближает нас, но... у нас ныне мало общего... Поверьте, ваше превосходительство, я знаю, что он в тюрьме, знаю, что это уже не первый его арест, но касательства к делам Иманова мы с друзьями не имеем. Помнится, в девятьсот девятом или десятом году я, как юрист, просил одного из своих друзей-адвокатов взять на себя защиту этого чисто аульного батыра, была написана кассационная жалоба, но саратовская судебная палата — кажется, там рассматривалась кассация — оставила приговор без изменений.

— А мы располагаем совершенно неопровержимыми сведениями...

О, Темиров знал цену этой настойчивости и ссылкам на «совершенно неопровержимые сведения».

— В последний раз я видел Иманова еще до событий на тургайской весенней ярмарке 1908 года, то есть года четыре или пять лет назад. И поймите меня правильно, ваше превосходительство, я не верю в тот способ действия, к которому прибегает Иманов. Это так же безнадежно, как террористическая деятельность русских боевиков-бомбометателей.

Простились они почти дружелюбно. Новожилкин проводил Темирова до двери в приемную и заодно поглядел, будут ли они разговаривать с Бектасовым.

— Насчет съезда, — коротко по-казахски сказал Темиров Бектасову.

Новожилкин услышал эти слова или угадал их по движению губ. Ясно, что они больше всего боятся разоблачений, связанных со съездом. «А вдруг он будет тайным и я узнаю об этом сверху? Хуже этого ничего быть не может!» — «Печально, генерал, что я должен сообщить вам то, что обязаны сообщать мне вы», Безсонов именно так и скажет!

Волостной Бектасов казался более хитрым, чем Темиров. Он явился одетым еще более просто, чем появлялся в уездных присутственных местах. Роскошный малахай умышленно держал в руках. И сапоги у него были домашнего, степного пошива.

— Что же это вы так по-зимнему? — усадив Бектасова в кресло, спросил генерал. — Вот господин Темиров — совершенный петербуржец по виду и образу мыслей. А ведь вы с ним ближайшие друзья, не так ли?

Новожилкин всматривался в широкое, спокойное и чуть презрительное лицо волостного. Смаил Бектасов был похож на своего отца, и сходство это вызывало в генерале воспоминания о молодости, о Тургае, о конфликте с уездным начальником Яковлевым и о том, что отец этого Бектасова вместе с Кенжебаем Яйцеголовым убил пастуха. Три тысячи подарили они ротмистру, чтобы тот не пытался разыскивать виновников. По тем временам — большие деньги. Интересно, знает сынок о проделках папаша?

Человек практический, Смаил Бектасов больше всего боялся именно вопросов о тайной стороне подготовки к всекиргизскому съезду. Поэтому, вовсе не угадав мыслей генерала, а только чтобы навести его на воспоминания о связях с отцом, Бектасов сказал:

— Мой отец, как и все Бектасовы, придерживается старины в одежде, в обычаях и в образе мыслей. Он сердится, когда я одеваюсь по-европейски. Кстати, он очень хорошо помнит вас и низко кланяется за все, что вы для него в свое время сделали.

— Что было, то прошло, — с напускным благодушием сказал генерал Новожилкин и строго, очень строго добавил: — Попрошу вас рассказать о ваших тайных связях с бандитствующими элементами, о тех, кто ворует скот, кто натравливает бедняков против власти, кто мешает сбору податей. Что вы скажете про это?

Бектасов ждал вопросов о съезде, и Темиров только что предупредил его. Не понял он, о каких именно связях, о каких кражах скота спрашивает генерал. Однако отцовская выучка, невозмутимость, выработанная с детства, не подвели Смаила Бектасова.

— Я волостной управитель, ваше превосходительство, я всех знаю, и меня все знают. Сам же я, как вы, надеюсь, понимаете, скот не ворую и краденого скота не покупаю.

Поскольку истина о продаже краденого скота Новожилкина вовсе не интересовала, он сразу перевел разговор на связи рода Бектасовых с батыром и разбойником Амангельды. Тут генерал знал многое и от Ткаченко и от Кенжебая, который недавно приезжал в Оренбург к Новожилкину. Он приезжал смиренный и жалкий, просил, чтобы генерал воздействовать на зятьев. У Кенжебая сыновей не было, а дочери, вышедшие замуж, отказались признавать отца, отделялись малыми подачками, а в последнее время и вовсе не пускали к себе. Зятья ненавидели тестя лютой ненавистью, и, видимо, было за что. Рассказы Кенжебая о дружбе Бектасовых с Амангельды относились к временам отдаленным, в данном случае важно было нажать на Бектасова-младшего.

В последние годы Смаил Бектасов не только не любил Амангельды, но в глубине души желал ему зла. Полное самоуправство, отсутствие какого бы то ни было уважения к власти вызывали досаду и неприязнь, которую не могли побороть даже воспоминания детства. Лет семь назад Смаил был у Амангельды в гостях на сундет-тое¹. Это было весной в низинке у реки, верстах в пятнадцати от города Тургая. Красивое место, и той был

¹ Сундет-той — праздник по случаю обрезания.

богатый, Амангельды ничего не пожалел, а год был удачный для всех, и скот батыра перезимовал хорошо.

Там в низочке судьба свела за угощением трех приятелей, учившихся когда-то в аульной школе муллы Аси-ма. У Смаила была к тому времени власть. Не стал он губернатором, но волостным все же стал. У Абдуллы было образование, хорошее образование. У Амангельды — только сила.

Все в степи видели, что сила теряет силу в житейских делах. Бектасов и Темиров выпили тогда водки, которую привезли с собой, и Амангельды, чтобы не обидеть друзей детства, слегка пригубил. Может, потому разговор был обостренный и колкий для всех.

Говорили о себе, каждый хвастал достигнутым. Сначала как бы невзначай, мимоходом, потом все откровеннее. Смаил, который выпил больше и захмелел сильнее, сказал:

— У тебя, Амангельды, седло красивей моего, и лука его инкрустирована серебром с бирюзой, но ты никто, потому что ты только батыр. Пусть о тебе говорят с любовью, пусть тебя боятся, но обо мне говорят больше и боятся больше. Настала новая пора: поступки забываются, а вещи остаются. Много баранов простилось сегодня со степью на твоём празднике, но это были не твои бараны, это все было подарено тебе.

Амангельды с интересом слушал и время от времени громко смеялся.

— Смаил, дорогой! — восклицал он. — Я рад, что на моем тое простились со степью чужие бараны. Чужих не так жалко!

Скандала, к счастью, не вышло на том празднике, но осадок не проходил. Запомнились слова Амангельды:

— Я стал, кем хотел. А ты не сумел.

В этом все же была доля истины. Даже уездным не сделали Смаила Бектасова. Отцу в его время легче было

пробиться к власти. Вот и надо собирать съезд, чтобы царские чиновники почувствовали силу.

Не то чтобы Смаил вспомнил все это сразу, когда генерал навалился на него с наглыми вопросами, а просто очень четко опутил, что, несмотря на всю неприязнь к своевольному батыру, тот много ему ближе и милей, чем русский генерал и тот другой, что сидит за портьерой, а кончик сапога поблескивает в просвете. Всю игру понимал Смаил Бектасов и знал, что не обошлось тут без доносов врагов, без сплетен, без ядовитых обличений Яйцеголового.

— Много ли пользы было бы от волостного, который не умеет ладить с людьми? — спросил Смаил. — Разве дело только в том, чтобы повторять приказания, которые идут сверху? Я тружусь на благо отечества и удивляюсь, что вы говорите со мной, как с конокрадом. Вы, наверно, всех нас считаете конокрадами, а?

Смаил Бектасов только в начале разговора слегка растерялся, потому что строил разговор сообразно ранее разработанному плану, но когда план рухнул, он доверился интуиции и теперь торжествовал первую победу. Новожилкин такого отпора не ожидал. Ведь, всерьез говоря, он бессилен против этого дикаря. Арестовать за переписку о съезде он не имеет права, отпугивать же таких людей глупо.

— Вы напрасно обижаетесь, дорогой! — воскликнул генерал, досадуя, что Ткаченко в нише за спиной будет свидетелем конфуза. — Я слышал, что Иманов — ваш родственник, а родственные связи...

— Мы не только не родственники, мы разных родов. Оя кипчак, я аргын. Но не в этом дело, ваше превосходительство. Дело в том, что без доверия к нам русская администрация не может проводить свою политику, мы же готовы во всем содействовать укреплению русской государственности, только имея взамен какую-то долю са-

мостоятельности. Стреноженный конь пахать не может. Он и пасется плохо. Вот мои главные слова, и вы можете сослаться на них, когда составите отчет для Петербурга.

Дальнейшая беседа генерала с волостным вовсе не клеилась. Бектасов сказал все, что хотел, и отвечал односложно, а Новожилкин так много сразу понял, что подготовленные ранее вопросы показались теперь лишними смысла. Он милостиво простился с Бектасовым, выпустил Ткаченко из ниши и ушел обедать.

Вечером Ткаченко явился с конспектом записанных бесед и, между прочим, доложил, что в тургайскую степь воротился Николай Степнов.

— Это еще кто таков — Степнов? Первый раз слышу.

— Я докладывал вам, ваше превосходительство, вы слегка запамятовали. К нам о нем запросы приходили из Казани и из Москвы. «Путешественник без средств» — так о нем газеты пишут.

— Есть у нас о нем что-либо?

— Кое-что. — Ткаченко протянул генералу тонюсенькую папку.

— Отдыхайте, ротмистр, — сказал Новожилкин и откинулся на спинку высокого деревянного кресла.

Пожалуй, прав Безсонов. Самое страшное — дать волю таким, как этот волостной. Это внутренний враг в самом точном смысле слова. Это болезнь, которая свалит империю. Ох, как много этих болезней.

Глава семнадцатая

Николай Степнов ехал третьим классом и вызывал любопытство попутчиков. Складный, загорелый, он сохранил в одежде тот стиль, который избрал в самом начале кругосветного путешествия и который оправдал себя на всех материках. Крепкие ботинки и кожаные краги,

сукожные брюки, куртка с широким поясом и множеством карманов на пуговицах и широкая шляпа. Иностранец! А почему третьим классом?

За окнами тянулась плоская полупустынная земля, низенькие домики, низенькие палисадники на станциях и степь без людей. За рекой Уралом, которая промелькнула под вагонами в предрассветном утре, стало совсем пусто вокруг. Снег лежал тонким-тонким слоем, он еле держался на земле, был почти такой же сухой, как песок, с которого его сдувал сухой и жесткий ветер.

Николай Степнов — так он представлялся случайным знакомым — думал о том, как сложно будет на станции сразу же раздобыть себе шубу и шапку. У кого из простых людей есть лишняя шуба и лишняя шапка? Денег же, чтобы купить все это, у Николая Степнова не было. Он израсходовал все, все до последнего рубля. На этот рубль он скромно кормился в дороге и соседям по вагону казался скрягой. Они подсмеивались над тем, как он пугался, когда кто-нибудь из пассажиров кидал окурки под лавку. Кованый заграничный ботинок господина Степнова немедленно следовал за окурком и давил его яростно и долго.

— Порох вы везете в коробах? Взрыва боитесь? — спрашивали его.

Его принимали за приказчика или учителя; некоторые думали, что он коммивояжер и в странных коробах везет какие-нибудь диковинные образцы товаров. Один молодой купец из Сызрани утверждал, что Степнов везет новый образец швейной машины «Зингер». Купец ночью тайком двигал короб и поставил десять рублей против десяти копеек, что это коммивояжер от «Зингера». «Зингер» для всех вокруг был предметом восхищения и зависти.

За десять рублей — это полностью решало проблему зимней экипировки — Степнов открыл короба и показал

вещь вовсе диковинную — синематографический проекционный аппарат системы «Гок» и сорок катушек пленки.

— Она-то и горит, эта пленка. Лучше пороха! — сказал он курильщикам. — Понятно? Динамит!

Больших трудов стоило объяснить пассажирам, что увидеть живые картины прямо в вагоне им не придется: нельзя установить нужного расстояния между самим аппаратом и простыней, на которой эти картины только и могут появиться. Не позволяет фокусное расстояние.

Сызранский молодец захотел было приобрести все разом и давал приличную цену, но Степнов вежливо объяснил, что продать аппарат не может, ибо дал себе слово показать живые картины в родном ауле, где не был давно и куда едет с единственным для всех родных и земляков подарком.

Николай Степнов, видимо, был первым среди всех казахов, кто совершил кругосветное путешествие. Впрочем, думал он порой, ни один народ на земле по складу своего характера не мог бы похвастаться такой устойчивой охотой к перемене мест, как казахи. Кочевать — это в крови; лучше всего кочевать по кругу. А чем больше круг, тем интересней. Было в этом объяснении что-то откровенно шуточное, но самое зернышко шутки, бесспорно, содержало в себе истину. Во всяком случае, Николай Степнов знал, что в родном ауле его поймут и «кочевку» его одобрят. Для родичей и земляков он ведь никакой не Степнов, а просто Алиби, Алибий, Али-бей или еще короче — Алей, сын несчастного Тогжана.

Долгими были отлучки его из родных степей. Еще мальчиком, удрав в Кустанай, Алиби не возвращался домой целых двенадцать лет.

Он ушел вслед за каким-то караваном и потом, класе в четвертом, выучившись русской грамоте и полюбив стихи, сравнивал свой поход за знаниями с описанием такого же путешествия у поэта Некрасова. Там говори-

лось про какого-то мальчика, который шел учиться, и еще о ком-то другом, об архангельском мужике, который «по своей и божьей воле стал разумен и велик».

И теперь больно вспоминать, как внезапно нагрянул в Кустанай разъяренный соседскими сплетнями и угрозами мулл его бедный отец, как кричал, топал ногами, даже грозился убить за непослушание. О, как плакал отец потом, как тихо он плакал и говорил, что никто еще не выиграл от того, что предал своего бога! Неужто мало примеров! До сих пор все родичи вспоминают жалкую судьбу Бейшары-Кудайбергена, который тоже крестился по уговору русских попов, тоже хотел новой жизни, а теперь вовсе сгинул, исчез из степи, и вестей от него никаких нет.

— А ведь я тоже теперь Николаем буду,— сказал отцу Алиби.— И я совсем не боюсь примера Бейшары. Он, говорят, в Аллаха сильно верил, а потом в русского бога сильно поверил. Вся беда в его легковерии.

Эти речи казались отцу слишком умными, даже заушными. Он не хотел понимать того, что говорит сын. Они разъехались, кажется навсегда разучившись понимать друг друга. Отец по-прежнему батрачил на баев, летом с остальными семью детьми и болезненной женой кочевал с чужими овцами.

Двенадцать лет Николай Степнов учился. Сначала в Кустанае, потом в Оренбургском духовном училище, где порядки были хуже, чем в старой бурсе.

Отец приезжал и в Оренбург...

Поезд шел быстро, вагон мотало из стороны в сторону, пассажиры устали от долгой дороги и отсутствия новых впечатлений. Они настолько устали, что и загадочный попутчик с его живыми картинками перестал их интересовать. Это было очень кстати, потому что никогда в жизни Николай Степнов не испытывал такого сжимающего сердце волнения, как теперь. Он понимал, что за-

вершено не только кругосветное путешествие, но, и, некий круг его жизни, важнейший виток спирали, когда, все вроде бы начинается в том же месте, но с иного уровня. Виток спирали, возвращение назад... Сейчас, вспоминая давние разговоры с отцом и частые слезы матери, Николай Степнов меньше чем когда-либо чувствовал себя Николаем. Нет, он только Алиби, Алибий, Али-бей, просто Алей, сын Тогжана, внук Тангыбергена Джангильдина.

Виток спирали. Второй виток или третий?

В первый-то раз он возвращался в аул после двенадцатилетней отлучки. Он мог вернуться раньше, в девяносто пятом, когда его выгнали из Казанской учительской семинарии. Тогда он не вернулся из гордости. Разве понимали бы аульчане, что выгнали его не за глупость, не за беспособность.

Казань он вспоминал добром. Впрочем, и Оренбург тоже. Он вообще старался сохранить в памяти только самое светлое или самое главное. В Оренбурге он впервые убедился, что не глупее других, что в состоянии понять то, что понимают другие ребята, в Казани он впервые почувствовал за собой право сомневаться в том, что говорят ему старшие, в том, что пишут в книгах и газетах. Среди его молодых татарских друзей многие были начитанней, развитей, через них в учительскую семинарию проникала запрещенная литература. Дома, в степи, Алиби видел татар-купцов и татар-мулл, прежде ему казалось, что все татары — люди богатые и хитрые. В Казани он увидел простых людей, городскую нищету, голодные деревни, молодых рабочих на волжских пристанях... Пожалуй, именно здесь Алиби стал понимать, что главное деление в мире происходит на богатых и бедных, на сытых и голодных, на сильных и слабых. Справедливо было бы всех слабых сделать сильными, всех голодающих — сытыми, всех бедных — богатыми.

Из преподавателей семинарии больше других нравился ему господин Ашмарин. Он часто звал к себе молодых людей, поил чаем, подкармливал и не жалел времени на беседы. Он вне программы знакомил своих учеников с историей Древнего Востока и современного Запада, с историей колонизации национальных окраин России, рассказывал о философской и политической сущности самодержавия, давал книги о революции. В октябре того года казанские семинаристы вместе с другими студентами вышли на демонстрацию по случаю царского манифеста. Шагали по Проломной улице веселые, уверенные, пели песни, а когда вступили на Воскресенскую, оказались в кольце полиции и казаков. Это было жестокое и гнусное избиение безоружных. Ашмарина ранили в голову, около тысячи демонстрантов было арестовано, всех согнали в подвалы городской думы. Около недели семинарист Степнов проходил революционную науку в полицейских камерах, и это была, может быть, самая важная неделя его молодости, проверка всего, что он знал.

Документ об отчислении из Казанской учительской семинарии был выдан Степнову незамедлительно. Как ни хотелось администрации сохранить выкреста-инородца, однако надежды, что из него получится миссионер, ни у кого не оставалось. Правда, отчислили без санкций, а с непонятной формулировкой: «По невозможности продолжать образование».

В те годы он тщательно хранил все справки, все бумажки, все письма. Впрочем, именно по этой справке его и приняли в Московскую духовную академию. Тут тоже сыграла роль национальность. С каждым годом возрастала потребность в инородцах, способных содействовать русификации окраин. С точки зрения государственной это желание объяснялось вовсе не бескорыстным распространением культурных ценностей, а в основном тем, что

колонизированные народы все более явственно становились на путь сопротивления власти.

Николай Степнов при вступительных экзаменах своих политических взглядов не обнаруживал, а отвечал, что спрашивали по священной истории, по русскому языку, по географии...

Вот тогда, проучившись год в академии, он и решился навестить родных.

Это была трудная встреча. Двенадцать лет разделяли их. Отец постарел и как-то весь истончился. Уже стали плечи, тоньше руки, острее черты лица. Он сидел возле умирающей матери, говорил ей ласковые слова утешения. Мать умерла примерно через месяц после возвращения Алиби. Она умирала очень медленно и страшно, боли мучили ее круглосуточно. Болело под ложечкой и справа, где печень, болело в позвоночнике, и трудно было дышать. Но мать не верила, что помрет, она обещала:

— Теперь Алиби вернулся, теперь я выздоровлю. Выздоровлю, про все расспрошу, про все выслушаю. Он ведь умный у нас стал, его надо внимательно выслушать.

Они так и не сумели поговорить, он так и не успел ничего рассказать ей.

Это было в тысяча девятьсот седьмом... А пынче завершается девятьсот двенадцатый, и не знает Алиби-Николай, что ждет его дома. Писем за пять лет он не получал. Никто из его родни не умел писать, да и адреса не имел, куда бы написать. Он и сам не знал, куда поведет его судьба.

В родной аул Алиби вез книжку путешественника — что-то самим им придуманное и заменявшее во многих случаях вид на жительство. Она была выписана на имя Николая Степнова, и в пей говорилось, что «Н. Степнов, он же Али-бей Джангильдин, участник кругосветного путешествия без средств».

«Путешественник вокруг света пешком с целью науч-

ного образования без средств — так писали о нем газеты Варшавы, Кракова, Будапешта, Софии, Константинополя, Каира...

Он много фотографировал сам и кроме киноаппарата вез теперь с собой пачки снимков, сделанных в самых невероятных для казаха местах. Жаль, что фотографии и кинематограф не могут передать цвет вечернего моря, зелень джунглей, солнце над горой Фудзи, жаль, что словами тоже нельзя передать цвет!

Первый сеанс кинематографа состоялся в самом Тургае в помещении русско-киргизской школы. Алиби Джангильдин стоял у аппарата и давал устные пояснения к живым картинам, а Амангельды молча крутил ручку.

Варвара Григорьевна решила на показ фильмов под влиянием мужа и опасалась административных последствий, ибо ответственность взяла на себя. Впрочем, остальные учителя и даже инспектор были довольны и высказывали предположение, что кинематограф отчасти может служить и познавательным целям. Если им не увлекаться.

Джангильдин вначале старался придерживаться географического принципа: крутил фильмы про большие города и порты Европы, потом все про Африку, потом про Азию. Сюжеты были короткие: присутствие кайзера Вильгельма с кронпринцем и свитой на спуске с верфи подводной лодки без перехода сменялось на экране сценой кормления тигров и гием в зоологическом саду какого-то города под пальмами, а полет биплана над пшеничным полем непонятно как переходил в северный сюжет с эскимосами, разделяющими тюленя.

Джангильдин не поспевал давать пояснения происходящему на экране и радовался, когда пленка рвалась. Возясь с аппаратом, он успевал рассказать о только что виденном и предварить то, что будет. Сеанс длился около двух часов и произвел огромное впечатление на зрите-

лей. Учителя аплодировали, а ученицы расходились, безмолвные и потрясенные.

Варвара Григорьевна взяла с Алиби слово, что он устроит еще несколько сеансов, а Николай Васильевич одобрил намерение показывать фильмы в аулах. По его мнению, это очень важно для воспитания чувства общности всех людей на земле.

Первый сеанс на родине и сам по себе натолкнул Джангильдина на некоторые выводы. Прежде всего, сюжеты хроник для аульных зрителей надо переклеить в ином порядке, чтобы разнородное не так быстро мелькало и поддавалось объяснению. Например, сюжеты с царствующими особами, миллионерами и мировыми знаменитостями следует объединить, склеить подряд и объяснить людям, как одинаково живут на свете все без исключения хозяева жизни. Сюжеты про простых людей тоже нужно связать воедино, чтобы видно было, как плохо приходится всем, кто честно трудится.

По опыту заправских европейских заведений Алиби подумал, что не худо бы и в его передвижном походном кинематографе иметь тапера. Он поделился своим замыслом с Амангельды, а тот сам вызвался играть на домбре и еще — если Алиби ему предварительно поможет — петь по-казахски про то, что будет на полотне экрана. К сожалению, во время демонстрации фильмов в аулах от этой заманчивой идеи пришлось отказаться. Неторопливый склад казахской импровизационной песни никак не поспевал за короткими, дергающимися кусками кинохроники.

Почти на десять лет Алиби был моложе Амангельды, и если когда-то эта разница в возрасте заставляла мальчишку из Кайдаула снизу вверх смотреть на молодого батыра, то теперь образование Алиби и его легендарное путешествие уравнили их. Амангельды жадно расспрашивал друга о дальних странах, о диковинных растениях



и животных, о морях и океанах, о народных обычаях и нравах, но больше всего — о справедливости: есть ли на свете полная справедливость, где ее больше, где меньше и как люди ее достигают?

Амангельды не уставал расспрашивать, и получалось, что везде примерно одно и то же: одни трудятся в поте лица, другие наслаждаются тем, что создают первые. Эту мысль они включили в свою программу и даже склеили ленту, где рядом с показом тяжелого труда грузчиков в каком-то турецком порту был подмонтирован короткий фильм о парижских ночных заведениях. Главной частью этой ленты был лихой канкан на сцене какого-то роскошного кабаре. Девушки в коротких юбках, высоко задирая длинные ноги в черных чулках, наступали на зрителей и уходили вдаль, виляя нахально выставленными задками. Реакция степных жителей на это зрелище оказалась особенной:

— Это зачем же они позволяют над собой такое издевательство?

Сначала степняки с опаской шли на сеансы, а потом интерес резко возрос, и во время переездов из аула в аул их сопровождали десятки всадников, мечтающих еще раз увидеть кайзера Вильгельма на верфях, эскимосов возле тюленя, рикшу на улицах Шанхая и парижский канкан.

Успех кинематографа в степи был огромен, и уважение, которым люди окружили Джангильдина и Иманова, все возрастало. Даже старый и совсем уже дряклый баксы Суйменбай однажды оказался на сеансе в большой кошаре.

Наступило лето, и фильмы можно было показывать на воздухе. Глубокой ночью то в одном, то в другом краю тургайских степей слышалось стрекотание аппарата «Гок», и сотни людей неотрывно следили за суетливыми движениями фигурок, которые на белом полотне рисовал дрожащий луч.

Весной мулла Асим через своих подручных категорически запретил мусульманам смотреть бегающие картинки, которые привез бродяга и выкрест Алиби, но никто не слушал муллу. Пожалуй, ни один из религиозных запретов не был нарушен так легко и почти без колебаний. Тогда мулла Асим обратился к властям, объясняя, что показ фильмов дикому степному населению чреват серьезными последствиями. Он ссылаясь при этом на единственную игровую картину, которая была у Алиби. Называлась она «Да здравствует республика!» и повествовала о Великой французской революции. Средствами пантомимы зрителю показывали голод, нищету и бесправие народа, возмущение его, восстание и штурм Бастилии. Потом толстому человеку в короне отрубали голову, потом отрубали голову тому, кто велел казнить короля, и кончалось все это весельем на площади. Видимо, в ленте не хватало многих кусков, и Алиби восполнял пропуски своим рассказом. Зрители недостатков не замечали и просили еще и еще показывать им этот фильм.

Для проверки доноса муллы Асима к Джангильдину явилась на просмотр комиссия в составе урядника и волостного управителя Минжанова. Целую ночь они смотрели фильмы из запаса Алиби, все сорок катушек прокрутили перед ними. Демонстрация шла в полном молчании и без музыкального сопровождения, вместе с комиссией фильм смотрели жители двух ближних аулов.

Урядник и волостной ничего не сказали Джангильдину по окончании просмотра и на бесбармак, приготовленный встревоженными аульчанами, не остались.

Только через неделю от Минжанова приехал человек и попросил Алиби продать ему аппарат со всеми принадлежностями и лентами. Волостной давал большие деньги, а в случае отказа грозился отобрать с помощью властей.

Целый год кочевники Тургайской области были в плену чудес «великого немого», раз в неделю Амангельды

бросал все дела и ехал к Алиби, чтобы крутить железную ручку, чтобы перед сеансом или после него играть на домбре и петь про дальние страны и диковинные обычаи разных народов, про то, что везде сильный угнетает слабого, а богатый — бедного, и про то, что так будет не всегда и скоро лопнет терпение людей всего мира, а у свободолюбивых казахов терпения осталось уже совсем мало.

В тот год влияние Алиби поколебало в глазах батыра даже авторитет Николая Васильевича Токарева. Токарев все усложнял. Объясняя что-либо, он приводил одновременно доводы за и против и сам во многом не был уверен.

— Вы за большевиков или за меньшевиков? — спросил однажды Амангельды у Николая Васильевича.

Токарев сразу догадался, кто рассказал батыру о двух направлениях среди российских социал-демократов, и стал объяснять общие теоретические основания и истоки этого движения, говорил об экономической теории и о разных путях, кои возможны в достижении общей конечной цели.

Токарев давно заметил, что по поводу конечной цели люди соглашаются много легче, нежели по поводу того, как именно к ней добраться. Сначала он объяснял позицию Плеханова, которого чтил с юности, потом рассказал о Ленине, о диктатуре пролетариата, о чрезмерных, по мнению многих, требованиях партийной дисциплины. Николай Васильевич считал своим долгом ни на что не наталкивать насильно, ничего не навязывать и потому не спросил Амангельды, что же ему больше нравится.

Амангельды сам высказался:

— Справедливость может установить только тот, у кого много силы, кого все слушаются.

Токарев возражал вяло. Обратная сторона насилия на примере Великой французской революции не убедила

батыра, а непотивление злу просто сердило. Да и сам Николай Васильевич в последнее время убеждался, что мир не захочет пойти по пути, который указал Толстой, как не захотели люди понять самого главного из заветного им Иисусом Христом.

Кого следует больше винить: людей или пророков? Кто виноват: пастухи или стадо?

В канун рождественских каникул Варвара Григорьевна попросила Амангельды устроить праздничный киносеанс для девочек их школы. Любая просьба Токаревых казалась Амангельды священной, и он тут же поскакал в Кайдаул, где на зимовке у родичей жил Алиби.

Они торопились, потому что не знали, когда детей отпускают на каникулы, и въехали в Тургай в морозный полдень двадцать третьего декабря.

Солнце висело над колокольней, его окружал нимб, свидетельствующий о том, что мороз может еще усилиться. Возле Яковлевского ремесленного мальчишки играли в снежки. Они узнали путников и кинулись вслед.

В ремесленном училище начальство категорически запретило демонстрацию фильмов, и только те, кто летом видел кино в родном ауле, рассказывали товарищам о чудесах дальних стран. Ребятишки бежали и просили приходить к ним в училище. Они говорили, что несправедливо, когда девочкам в четвертый раз будут крутить живые картинки, а мальчишкам ни разу.

Они бежали и орали всюду. Из окон выглядывали обыватели, начальник уезда прильнул к стеклу в своем кабинете, и Амангельды, заметив все это, подумал, как бы не случилось беды.

В женской школе их ждали. В большом классе на окнах висели одеяла, отутюженная белоснежная простыня закрывала доску. Путников сначала усадили за угощение, потчевали самыми вкусными блюдами и поили чаем со сладостями, однако долго наслаждаться теплом и вкусной

пищей гости не смогли. В коридоре стоял шепот и писк, створки двери сами собой растворялись и затворялись.

Мальчишки из ремесленного не ошибались в счете: четвертый раз Алиби Джангильдин и Амангельды Иманов показывали свою кинопрограмму в женской русско-киргизской школе, и в четвертый раз, как и в первый, в зале стояла мертвая тишина.

Кайзер Вильгельм и наследный принц германского престола смотрели, как ползет в воду длинное тело субмарины, рикша быстро перебирал тонкими ногами и бежал между двух оглобелек по улицам города, где дома были в несколько этажей; эскимосы разделявали тюленя и ели сырое мясо...

Окна в классе были занавешены одеялами, на дворе вечерело, мороз крепчал, спиртовой термометр у крыльца показывал минус двадцать восемь, в сером небе торчали белые дымы, а тут, в классе, полуголые люди, обливаясь потом, разгружали грязный пароход и согбенные негры двигались по хлопковому полю.

Кафешантан девочкам не показывали. Дежурные сняли с окон одеяла, и в сером уже свете, проникшем сквозь валедевшиеся стекла, все увидели, что в дверях стоят двое полицейских и следователь Гавриил Бирюков.

— Прошу немедленно очистить помещение от детей, — сказал Бирюков. — Госпожа Токарева, вам известно о запрете, который наложен на незаконный показ недовольных зрелищ? Почему, пользуясь отсутствием инспектора, вы позволили здесь это безобразие?

Барвара Григорьевна не отвечала. Она занималась детьми, уводила их от скандала, который мог развиться с минуты на минуту.

Она вернулась в класс, где безмолвно стояли друг против друга полицейские с Бирюковым и Джангильдин с Амангельды.

— У меня есть распоряжение об изъятии принадлежащего вам синематографического аппарата и коробок с лентами картин и задержании господина Джангильдина.— Бирюков слегка трусил. Он понимал, что в случае потасовки больше всего достанется ему; этот разбойник Амангельды вроде бы примеривался к удару: правая рука была сжата в кулак и слегка согнута в локте.— Однако я могу ограничиться пока только первой санкцией, оставив господина Джангильдина Али-бея, известного также под именем Николая Степнова или Алия Жалгабаева, на свободе под залог его имущества.

Если бы дело было в ауле или в степи, Амангельды, ни капельки не колеблясь, устроил бы драку и обратил власти в позорное бегство; тут все было иначе. Нельзя подводить Варвару Григорьевну, нельзя пугать девочек стрельбой внутри школы. А без стрельбы тут не обойдешься! Ведь надо обезоружить полицейских и распугать тех, кто наверняка остался снаружи, нужно сложить и упаковать аппарат, погрузить его на верблюда... Нет, без стрельбы не обойтись.

Мысль Амангельды работала быстро и четко, но она прервалась от тихого голоса Алиби:

— Хорошо, господа. Мы сможем оставить временно вам аппарат, но не более чем на неделю. Я искренне верю, что это нелепое недоразумение разрешится очень скоро. Я сам к вашим услугам в любой день и готов завтра же явиться для дачи разъяснений. Еще раз заверяю вас, что все фильмы у нас разрешены цензурным комитетом в Петербурге и не содержат ничего противоправительственного...

Амангельды видел бледное лицо Джангильдина и решил не вмешиваться. Алиби лучше знает, как тут быть.

Ужинали они у Токаревых. Варвара Григорьевна с искренней досадой говорила про то, как царское правитель-

ство умеет восстанавливать против себя своих подданных. С детства подданный российской короны знает, что от господина в мундире нужно ждать лишь несправедливостей и обид. Она говорила, что уездный начальник Гарф только с виду выглядит интеллигентным человеком, а в душе своей унтер Пришибеев и что эту позорную, инквизиторскую историю, происшедшую сегодня, ее девочки не забудут никогда.

Варвара Григорьевна чувствовала себя виновницей несчастья, но Николай Васильевич объяснил, что, судя по разговорам чиновников, конфискация аппарата — дело давно решенное, а в последние дни местные жандармы получили какие-то особые полномочия, идет суета, и, возможно, готовятся аресты среди местной киргизской интеллигенции. Слухи о созыве какого-то всекиргизского съезда очень тревожат Петербург.

Джангильдин почти все время сосредоточенно молчал, а потом сказал, что его больше всего встревожило то, как обратился к нему помощник начальника уезда. Набор из трех имен и порядок их произнесения наводили на мысль, что в Тургай прибыло то самое следственное дело, которое было заведено в Москве во время изгнания из духовной академии: Джангильдин Али-бей, Николай Степнов, Алий Жалгабаев.

По дороге к родичам Амангельды, где им предстояло переночевать, Алиби сказал:

— Завтра рано с утра я уеду в Челкар, а оттуда — в Россию. Не сомневаюсь, что меня хотят арестовать по старым делам. Давай условимся, как будем писать друг другу.

Они остановились у низкой мазанки на краю города. Ближе к реке виднелись стога сена, заготовленные на долгую зиму,

Глава восемнадцатая

О начале войны жители Тургая узнали с опозданием часов на десять. Телеграфная связь в этот день оказалась поврежденной.

События, войне предшествующие, давно обсуждались во всем мире, а в Тургае особого значения конфликту на Балканах не придавали. Тургай жил своим умом.

— Война! — кричал телеграфист Камахин на всю улицу. — Война!

Никто не слышал его. Через город гнали стадо. Тяжелое облако пыли двигалось по главной улице и окутывало дома. Люди захлопывали двери, затворяли окна. Сначала шли коровы, потом овцы с козами. Купец Асим Хабибуллин совершил выгодную сделку и спешил доставить груз по назначению.

Камахин тоже спрятался от пыли и стал крутить ручку телефона, которым почта была связана с квартирой уездного начальника.

Гарф выслушал телеграфиста и сказал в трубку:

— Впредь о всех новостях подобного рода попрошу вас извещать меня точно таким же способом. Благодарю!

Камахин несколько дней кряду старался услужить начальнику и звонил ему раза по три в дежурство, пока Гарф не рассердился и не сделал выговор за назойливость.

Столичная почта приходила в Тургай через неделю-полторы. На западных рубежах империи гремели пушки, лилась кровь, тысячи людей корчились в муках и умирали молодыми, а свежие газеты, доставляемые тургайцам, все еще сообщали о процессе госпожи Кайо в Париже, о поездке Пуанкаре в Швецию, о пребывании августейших особ — великой княгини Елисаветы Феодоровны и принцессы Баттенбергской с дочерью — в Уфимской

губернии, о том, что министр внутренних дел Маклаков совершил проезд тех мест в Петербурге, где произошли перестрелки рабочих с чинами полиции, о нападении на поезд, совершенном толпою рабочих с красным флагом в нескольких верстах от столицы, о забастовке газет «Речь», «Современное слово» и «Петербургский курьер».

Еще газеты писали, что артистка Большого театра А. В. Нежданова получила приглашение в Лондон, что Л. В. Собинов в будущем концертные турне решил устраивать сам, без помощи импресарио, а артистка балета Е. Г. отказалась от поездки за границу и много времени провела в одном из подмосковных имений.

В России начала расцветать легкая атлетика, и сенсацией прозвучало сообщение о том, что некто Павлов прыгнул в высоту на 1 метр 45 сантиметров, а вторым был некто Сахаров с результатом 1,40.

Размышляя о подлинных причинах войны и не понимая, как цивилизованные страны могли решиться на такое, Николай Васильевич Токарев вчитывался в газетные статьи и пытался постичь то, что стояло за самим текстом и что было важнее слов. Больше других на вопрос о причине войны отвечала глупая и высокопарная статья на первой полосе «Московских ведомостей» от 16(29) июля 1914 года:

«ЛУЧШИЙ ОТВЕТ АВСТРО-ГЕРМАНСКИМ ПРИТЯЗАНИЯМ

Беспримерно дерзкий вызов, брошенный Австрией в лицо русскому государству и русскому народу, не замедлил оказать свои последствия, но эти последствия оказались совершенно неожиданными для зарвавшихся недругов России. Все русское общество сверху донизу, начиная от власти имущих до простых рабочих, объединилось в одном единодушном порыве любви к своей родине, которой угрожает внешняя опасность, к своей России, кото-

рой напесено тяжкое, незабываемое оскорбление...» Далее говорилось, что благодаря Австрии у нас возродилось чувство, «которое еще так недавно служило предметом нападок и насмешек, это — *национальное чувство*. Под его влиянием все газеты (за немногими исключениями, о которых не стоит упоминать) заговорили в унисон... соглашаясь на одном и том же воинственном кличе: «К оружию, если это нужно для достоинства России». Бастовавшие рабочие, так революционно настроенные еще накануне, с пением национального гимна возвращались к своему труду. Нет, с национализмом спорить нельзя, но оговоримся: национализм — это не теория, это — не плод отвлеченных измышлений, национализм — это могучее чувство, это непобедимый инстинкт, который живет в сердце каждого человека».

Токареву казалось, что именно в этой болтовне и находится ответ на ужасный вопрос о причине войны и нет тут никаких других обоснований. Но что думают эти люди, прокламирующие национализм в такой многонациональной стране, как Россия?

«Националистические течения в русском обществе, отлившись в партийную форму, были вызваны, с одной стороны, ростом космополитической, противоестественной пропаганды, с другой — напором инородческих националистических притязаний. Волей-неволей нужно было определенно и сильно противопоставить всем этим вражеским нападениям свой, русский, националистический лозунг. Это было течение боевое, и потому-то от него отмежеввалось большинство нашей интеллигенции, блуждавшей среди чисто головных, отвлеченных партийных программ. Явились нелепые крайности с отрицанием национализма, как такового, с топтанием в грязь патриотизма и народной гордости...»

Весь Тургай крутился теперь возле почты, и телеграфист Камахин оказался главным источником сведений,

которые еще не были подтверждены газетами. Но и в самых невероятных своих сообщениях Камахин соблюдал точность. Это подтверждалось не раз. Однако, когда телеграфист сказал Токареву, что Петербург будет переименован в Петроград, Николай Васильевич не поверил, он и потом не верил глазам своим, когда в одной из газет рядом прочитал два сообщения:

«Петербург, 17 августа. На прусском фронте в районе Остерода появились новые неприятельские силы, которые в некоторых участках переходят в наступление...

Петроград, 18 августа. Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта, благодаря широко развитой сети железных дорог превосходные силы германцев обрушились на наши силы — около двух корпусов подвергшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерии, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям, войска дрались героически. Генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штаба погибли... Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный Главнокомандующий продолжает твердо верить, что Бог поможет их успешно выполнить».

И тут же без стыда подверстано:

«Беспокойство Германии

Петербург, 17 августа. Наши успехи в Восточной Пруссии начинают беспокоить Германию, которая уже приступила к перевозке из Бельгии на восток значительных сил своей конницы».

Так и было во всей газете: *«Петербург, 17»*, а *«Петроград, 18»*. Токарев видел, что это не мелочь, когда великую столицу переименовывают в угоду «национальному чувству». Размышляя над этим, Николай Васильевич ощутил в себе понимание, что эту войну его страна про-

играет еще более позорно, чем войну с Японией. Он был чужд мистицизма, но в том, что сообщение о гибели генерала Самсонова и его армии было напечатано в том же номере, где Петербург по воле «русского духа» преобразился в Петроград, Токарев видел нечто символическое, если не прямо указующий перст судьбы.

С самого начала войны Тургайское уездное управление ежедневно стало получать приказов, постановлений, циркуляров и прочей бумаги вдесятеро больше, чем в любой довоенный месяц. Не только выполнять указания вышестоящих лиц и инстанций, но и читать их послания успевали едва-едва.

Вопреки запрещению произвольно поднимать цены на предметы и продукты первой необходимости, все на базаре и в лавках немедленно вследствие этого запрещения подорожало, а предупреждение о том, что все германские и австрийские подданные мужского пола в трехдневный срок обязаны явиться к ближайшему по месту жительства полицейскому начальству, обернулось паникерскими слухами о германских шпионах, проникших в степь с целью отравления скота, заражения его сибирской язвой и сном.

В те дни на станции Челкар был пойман некий бродяга-старик в европейском костюме, но киргизского обличья. Он рассказывал на постоялом дворе, что едет из Германии, и показывал бумаги, написанные на немецком языке.

Бумаги эти свидетельствовали, что податель их состоял на службе в Берлинском университете, но при допросе урядником киргиз с немецкими бумагами утверждал, что неграмотен по-русски, по-немецки и по-киргизски. Это никак не вязалось со службой в Берлинском университете, и бродяга по этапу был доставлен в Тургай, ибо утверждал, что родом оттуда.

Когда старика под конвоем везли по улицам города,

он радостно кого-то окликал, пытался заговорить с прохожими, но люди его не узнавали и сторонились. Недельку старик просидел в тюрьме до выяснения, которое с неопровержимостью доказало, что старик этот — Кудайберген, по кличке Бейшара. После святого крещения лет тридцать пазад он принял фамилию Пионеров и имя Николай, служил сторожем в школе, пастухом у Алтынсарина, нищенствовал в Орске, был подобран немецким ученым — антропологом и этнографом, а затем вывезен в Германию.

Для какой цели его возили так далеко, Бейшара внятно объяснить не мог. Говорил только, что его просили на людях готовить казахские национальные кушанья, валять кошму, резать баранов и есть руками. Иногда это делали в очень больших комнатах, где на стульях и скамейках сидело очень много молодых людей и даже девиц. Иногда Бейшару раздевали, осматривали и измеряли голову, длину рук и ног. Но при женщинах его не раздевали. Он при женщинах отказывался раздеваться. Кормили Бейшару хорошо и разрешали ходить в город и посещать цирк и кинематограф, однако ходить по городу он мог только в казенной одежде, а свою ему разрешали надевать только для показа.

Подозрение в засылке Бейшары с целями шпионажа отпало сразу, а средств для заражения скота болезнями при нем не обнаружили. Его хотели было оставить под наблюдением на какой-нибудь работе в уезде, но тюремное начальство ходатайствовало, чтобы Бейшару определили в качестве уборщика помещений и младшего надзирателя. Бейшара тоже сам просил об этом, ибо сразу получал бесплатную пищу и крышу над головой. Гарф долго согласия не давал, запрашивал Оренбург и, кажется, даже Петроград, но ответа не получил, и дело кончилось тем, что Бейшара стал исполнять свои обязанности даром, питался из общего с арестантами котла и спал в крошеч-

ной камерке, которая строителями тюрьмы замышлялась как карцер.

С первых недель войны начались всевозможные добровольные и не вполне добровольные пожертвования и сборы. Чиновники и служащие уезда решили отчислять ежемесячно 2 процента с полученного содержания на нужды войны. В женской русско-киргизской школе Варвара Григорьевна Токарева задумала открыть мастерскую для пошива белья воинам, были куплены две швейные машины и бязь на сто пар рубашек с кальсонами. Образованный при Гарфе уездный дамский Комитет дал по этому поводу телеграмму на имя императрицы.

Вести, ноступавшие с фронтов, говорили о том, что война будет долгой и тяжелой, а ближе к зиме, когда против России выступила Турция, тургайская администрация и вовсе всполошилась. Во всех церквях произносились гневные проповеди о вековой вражде православия и магометаства, о том, что Турция — известный утешитель христианской веры и славянских народов. В Орске был арестован мулла Асим как человек, часто в Турцию ездивший. Он содержался под следствием около двух дней, но слухи о его заточении облетели все мечети. Зато сразу по выходе из тюрьмы мулла Асим с невиданным до того рвением принялся за сбор пожертвований на войну и провел несколько публичных молений, где мусульмане возносили горячие молитвы о здравии и благоденствии государя императора и августейшей семьи, о даровании победы русскому воинству надо *всеми* решительно врагами и просили тургайского губернатора камергера высочайшего двора Михаила Михайловича Эверсмана повергнуть к стопам государя заверения незыблемости верноподданнических чувств мусульман, веками преданных престолу и отечеству.

Мусульманские молебствия совпали с праздником курбан-байрамом, и возмущение единоверцами-турками, пре-

дательски напавшими на Россию, было в те дни обязательной частью официальных отчетов, поступавших снизу вверх. Вместе с тем жандармское управление в Оренбурге знало, что среди духовенства существует к Турции симпатия и кое-какие почетные старики, побывавшие там по пути в Мекку и Медину, в частных беседах говорят противоположное тому, в чем клянутся русскому царю.

Старый агент Новожилкина Кенжебай Байсакалов, живший под призранием дочерей и зятьев, доносил, что волостной Бектасов Смаил и его дядя Минжанов говорят, что Турция Россию победит, что столицей мира станет Стамбул, а киргизы будут править от Сибири до Казани. Подобные беседы Бектасов проводит часто среди гостей и среди батраков. При одной из таких бесед присутствовал родич Байсакалова Кейки Кукембаев, который сочувственно к словам Бектасова отнесся и обо всем этом просто-душно поведал тайному доносителю.

Новожилкин помнил о давней вражде между Байсакаловым и Бектасовым, знал он и то, что клевета — излюбленное оружие в расприх между кочевниками, но тут не мог не верить. Подобные же сведения поступали из других источников — об этом предупреждал Безсонов из Петербурга, — с требованием санкции против мусульман не раз являлся отец Борис Кусякин.

Кусякин был настойчив, и свои собственные сведения о неверности мусульман поддерживал сообщениями газет о поведении курдов на турецком театре войны. Вопреки установившемуся ранее мнению, курды были на стороне неприятеля. Кусякин, будто сам был очевидцем коварной измены, рассказывал, что, когда сила у русских, курды выходят с хлебом-солью, низко до земли кланяются, говорят о преданности царю, о любви к русским, о ненависти к султану и туркам, но надвигается неприятель — и те курды становятся прекрасными проводниками

турецкой армии. В бою взрослые курды оказываются в рядах нападающих, а женщины и дети подают патроны.

Новожилкин и сам знал об этом. Газеты и он читал внимательно, но чего хотел главный миссионер лично от него?

— Люди церковные давно ждут помощи властей,— напирал на Новожилкина отец Борис.— Поймите же, что православная церковь основными законами нашими признана господствующей, в то время как все прочие вероисповедания считаются терпимыми. Из этого и следует, что нельзя говорить о какой бы то ни было свободе вероисповедания. Пора по совету дедушки Крылова и власть употребить, а не тратить по-пустому слова.

— Если вы даже и правы, отец Борис,—сухо возражал генерал,— то поймите, что сейчас не лучшее время для решительных акций. Только после победы нашей мы сможем наверстать упущенное правительством и допущенное русскими либералами и безответственными космополитами.

Кусякин настаивал на том, что кое-какие меры следует принимать немедленно. Конечно, оттеснить киргизов на окраины, ближе к Китаю и за его рубежи следует после войны, но и ныне, пользуясь законами военного времени, можно обезвреживать наиболее злостных агентов.

У миссионера существовала своя собственная сеть осведомителей, и она в чем-то превосходила сеть жандармскую. Так, отец Борис сообщил о том, что известный разбойник Амангельды Удербает-Иманов хотя про Турцию никому ни слова не говорит, но разъезжает по аулам и уговаривает степняков ничего не жертвовать на войну, не давать царю денег и не давать скота. Он издевается над крещеными киргизами, а про Петербург и государя императора распространяет нелепые и порочащие слухи. По мнению Кусякина, сведения об отдельных действи-

тельных недочетах столичной жизни Амангельды черпает от атеиста Николая Токарева из Тургая, от его жены и от ссыльных русских, с которыми общается в Байконуре.

Генерал с удовлетворением отметил, что миссионер знает не все и агентура у него не так хороша. Этот Удербает действительно связан со ссыльными и дружен с семьей Токаревых, но в Петербурге Амангельды сам побывал, кажется, еще в феврале — марте сего года. Об этом жандармское управление известил Каратургайский волостной управитель и сразу еще три влиятельных бая. Они же сообщили о содержании бесед, которые вел батыр с земляками по возвращении из столицы. В пересказе бесед, сделанном агентами, особого криминала не было. Амангельды рассказал, что в Петербурге есть такие огромные дома, что стоимость каждого превосходит стоимость целой волости и народу в каждом таком доме живет не меньше. Но есть еще большие дома, принадлежащие одному человеку.

В пересказе содержались также рассуждения батыра о русских царях, к которым он, видимо, относился по-разному, ибо про Петра Великого рассказывал с уважением и напирал на то, что чины он давал не по дружбе и не по родству, а по действительным заслугам и по образованию. Поэтому, мол, все и кинулись учиться. Доносчиков раздражало в рассказах Амангельды многое: намеки на то, что и неверные честнее живут, чем соплеменники, что чины дают не по знакомству, не за взятки, а по справедливости. Раздражало и то, что слушают его люди, что не только слушают, но и слушаются.

Ротмистр Ткаченко, в ведении коего находился Амангельды, сообщил генералу, что зритель Байконурских копей высказал предположение о проникновении в среду кочевников разрушительных идей большевиков.

Тургайский губернатор Михаил Михайлович Эверсман в последнее время часто приглашал к себе началь-

ника жандармского управления для совещаний, информации и откровенных бесед. Как и все штатские люди, Эверсман трусил сейчас, боялся осложнений на фронтах, бунта среди подведомственных киргизов, занесенных эпизоотий и эпидемий. Эверсман происходил из интеллигентной семьи, и быть бы ему профессором или министром, а не правителем дикой губернии, кабы на профессорство хватило ума или прилежания, а для большой административной карьеры — честолюбия.

Когда пошли слухи о намерении Болгарии выступить против России и ее союзников, Эверсман встревожился так, будто Болгария начиналась возле Кустаная, а когда слухи эти подтвердились, Эверсман вдруг стал разъезжать среди простонародья; на базаре заговаривал с мясниками, в детском приюте пытался есть кашицу, которой кормили ребятишек, в госпитале жал солдатам руки и всюду создавал такую суету, что стал предметом насмешек. Со степняками от тоже заигрывал, приветствовал их киргизскими словами, и злые языки уверяли, что Эверсман решил перевести свою фамилию на киргизский язык и именоваться в дальнейшем Малик Маликович Эверсбаев.

Наблюдая губернатора, Новожилкин пришел к мысли, что и среди должностных лиц есть малoverы. Неужто так случается во время каждой войны? Не похоже! Порой генералу казалось, что начальники из интеллигентов с каким-то странным, извращенным сладострастием обсуждали последствия военных поражений армии. Новожилкин этого не одобрял и всем видом демонстрировал неприятие подобных тем. Он точно знал, что Россия победит врагов, как бы дорого ей это ни стоило, ибо лишения, связанные с длительной войной, могут надломить дух любой нации, кроме русской. Вzbунтуются германцы и австрияки, французы и англичане, бельгийцы и итальянцы, но никак не русские. Русские будут верны приказу,

послушны силе правительства: в этом и состоит дух народа. За веру, царя и отечество, если поднажать и применить розги, нашего верноподданного можно заставить со свиньей целоваться. Сила солому ломит.

Глава девятнадцатая

В 1915 году Семикрасов приехал в Тургай после Покрова, собирався вместе с Амангельды по первой пороше на волков, но расхворался, кашлял и хрипел. Семен Семенович сам теперь ничему не удивлялся и не одобрял удивления других, все плохое казалось ему неотвратимым и естественным; он ничего не предлагал для спасения России и отвергал любые планы как прожектерские.

— Нас ничто не спасет, — сипел он за чашкой крепкого чая со степным медом. — Мы слепые котята, и нас уже несут топить. Большевики победят, потому что они последовательны в одном, в национальном вопросе. Я всегда говорил, что национальный вопрос...

«Я всегда говорил» — присказка людей, которые привыкли говорить много. Семен Семенович чувствовал это, но ничего с собой поделать не мог. Который день в войлочных туфлях, стеганом ватном халате и с градусником под мышкой он ходил по дому Токаревых, завтракал, обедал, пил чай, ужинал с ними и говорил, говорил.

— У большевиков есть теория, и, коли они смогут ей следовать, они в клочья разорвут старый мир и будут править вечно. Те же, кто полагается на национальные инстинкты и утверждает, что «умом Россию не понять», обречены.

Часто Семена Семеновича навещал Амангельды, добывал какие-то лечебные травы от кашля и топленый жир для растирания спины.

Однажды Семен Семенович решил испытать на батыре большевистскую аргументацию по национальному вопросу. Он стал читать вслух статью одной нелегальной газеты. Даже не саму статью, а отдельные из нее извлечения:

«Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса; — особенно в такой стране, которую справедливо называют «тюрьмой народов»; — в такое время, когда именно на дальнем востоке Европы и в Азии капитализм будит к жизни и к сознанию целый ряд «новых», больших и малых наций; — в такой момент, когда царская монархия поставила под ружье миллионы великороссов и «иностранцев», чтобы «решить» целый ряд национальных вопросов сообразно интересам совета объединенного дворянства...» Семикрасов читал Токареву, но для Амангельды, а Токарев, зная эту статью и зная, кто ее автор, забыл, для кого устроено нынешнее чтение, и, может быть, еще острее, чем в первый раз, ощутил ясность формулировок и силу мысли. Токарев забыл про Амангельды, но и тот не думал сейчас ни о чем, кроме того, что слышал.

«...В такой момент, когда царская монархия поставила под ружье миллионы великороссов и «иностранцев», чтобы «решить» целый ряд национальных вопросов...» И правда, миллионы людей имеют в своих руках оружие. Миру не бывать долго — добра не жди. Почему-то виделись сейчас батыру улицы и площади Петербурга, заполненные людьми разных наций, но с одинаковыми винтовками.

— «Мы помним, как полвека тому назад, — продолжал читать профессор, — великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы»».

Семикрасов знал, как обижаются на эти слова и рабы,

и рабовладельцы. К Чернышевскому Семикрасов относился с нежной любовью, и странный роман «Что делать?» нравился ему чистотой и бескорыстием. Конечно, Чернышевский был наивен, но это был пророк, который действовал по тем же побуждениям, что пророк Пушкина, а подвергся той же участи, что пророк Лермонтова. Чернышевский мог так говорить о рабах, ибо был истинно русским человеком, то есть рабом по рождению и приговору судьбы, но сумевший, однако, быть свободным всю свою жизнь. Даже в страшной ссылке. Подумать только: ни одного прощения об облегчении участи, ни малейшей лжи за всю долгую и тяжкую жизнь!

— «Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения...»

Токарев слегка досадовал, что Варвары Григорьевны не было рядом. Она бы поняла это! Она бы оценила честность и бескорыстие такого самообвинения. Каждый из рассказов жены о ее детстве в родной деревне и жизни среди переселенцев под Кустанаем именно о духовном рабстве и говорил.

— «Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы *особенно* ненавидим *свое* рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душиť свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душиť Польшу и Украину... чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей...»

Амангельды слушал внимательно, а Семикрасов добросовестно читал и пояснял казахскими словами наибо-

лее сложное и важное, например строки про то, что не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы, и что никто не повинен в том, что родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к свободе, но и гордится рабством, уже не только раб, но просто холоу и хам.

— «...нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму...» — Семикрасов продолжал читать, а Токарев думал, что поражение в данный момент, может быть, самое естественное и закономерное желание каждого честного человека и большевики хотят поражения своего врага, чтобы потом легче было взять власть.

— Мы живем в такой век, когда приходится отстаивать азбучные истины,— сказал Семикрасов.— Видимо, во все времена самое трудное — это отстаивать азбучные истины.

Самым смелым и даже страшноватым, с точки зрения профессора, был тезис о праве самоопределения. Что же тогда будет с империей? Что решат народы Кавказа, Прибалтики, Украины, Сибири? Как поступят затем татары, чуваша, вотяки и калмыки? Что решат киргизы, таджики, сарты?

Вот только тут Семикрасов обратился к батыру. Амангельды задумался.

— Важно знать, что сам себе хозяин. Нужно, чтобы и окружающие знали, что они свободные люди. Это всех ко многому обязывает. Это правильно будет и крепко. Вот вы, Николай Васильевич, разве против, чтобы мы, казахи, управлялись без своих продажных биев, без губернатора Эверсмана и уездного начальника Гарфа?

— Я лично не против.

— Потому я и верю вам и жизни за вас не пожалею, что вы во мне видите равного себе...

— Батыр,— перебил Семикрасов.— А ведь от своих начальников и султанов прежде и теперь киргизам достаётся не меньше, чем от Эверсмана. Какая же разница бедняку, кто его обирает и обижает? Или от своих легче терпеть?

— От своих обидней,— сказал Амангельды.

— А если свои ещё злей чужих будут?

— Вполне возможно.

— Так в чем же дело? Может, это только кажется необходимым — право на самоопределение. Вы подумайте, вдруг ещё хуже будет?

Амангельды не торопился отвечать.

— Так как же, батыр?

— Я уже сказал.

— Что именно?

— Если хозяин знает, что батрак — свободный человек, он обращаться будет лучше и платить больше. Он потому и измывается, что батрак защиты не имеет. Это Ленин правильно говорит.

Имя Ленина до этого не было произнесено, и Семикрасов вопросительно глянул на Токарева. Тот и сам удивленно поднял брови:

— Разве вы знаете, батыр, что эту статью написал Ленин?

Амангельды помедлил:

— Нет... Я только знаю, что он говорит точно так.

— Откуда вы знаете? — Семикрасов даже покраспел от волнения. Ему казалась невероятной такая скорость распространения большевистской пропаганды. — Неужели эту газету читают в степи?

— Кто рассказал вам об этом? — спросил Токарев. Он тоже удивился и пытался представить себе, каким путем статья Ленина могла дойти до Тургайских степей. — Откуда вы знаете?

— Не помню.

Амангельды нахмурился. Он уважал Николая Васильевича и профессора, но на такие вопросы отвечать не привык. «Кто?», «откуда?» Разве это важно?

— Где-то слышал. Мало ли людей ездит по степи.— Теперь батыр улыбнулся, давая понять, что вовсе не хочет обидеть собеседников.— Важно, что Ленин точно говорит.

Месяца два назад статью Ленина из этой же газеты — Амангельды запомнил сам листок — читал и переводил рабочим в Байконуре один приезжий.

— Разве важно, кто сказал,— еще раз повторил свою мысль Амангельды.— Важно, правильно сказал или неправильно.

Высшая власть стала слабеть, это видели все, а мелкие представители власти и тайные агенты Новожилкина — прежде других. Их главный хозяин, а также ротмистр Ткаченко и прочие начальники чем-то неуволнимым выдавали выбкость власти, стали раздражительней, щедрей в посулах, скаредней в расчетах. Зависимость, в которой находились все, связанные с жандармским управлением, тяготила, но возможное освобождение от зависимости не радовало.

Переводчик областной казенной палаты Сарыбатыров — один из главных осведомителей, внедренный в гущу интеллигенции и сторонников созыва всекиргизского съезда, не спал ночей. Минжанов купил за большие деньги наган и, хотя по военному времени незарегистрированное огнестрельное оружие грозило каталажкой, не расставался с ним ни днем ни ночью.

Нет, лучше всего уехать в Хиву и поступить на службу к хану.

Власть слабела все больше, и потому в степи не сразу поверили слухам о мобилизации, или, как ее тут

называли, реквизиции, киргизов, сартов и прочих инородцев для помощи России в войне. Поначалу слухи не подтверждались. Однажды, когда волостных и аульных старшин срочно вызвали в Тургай и люди вовсе уж приготовились к вести о мобилизации, оказалось, что речь идет совсем о другом.

Перед собравшимися выступил чиновник особых поручений из Оренбурга господин Курбатовский:

— Господа чиновники и господа степняки, к вам ныне обращены взоры отечества! Солдаты, сбережения и снаряды — вот то, что сломит любого врага нашего, вот то, что даст нам всем скорую и радостную победу. Государь император верит в любовь и преданность своих младших сыновей — степных батыров и джигитов. Он верит, что поймут они нужды армии, поймут, что оружие и снаряды расходятся в небывалую войну в небывалых количествах. Но делать оружие и снаряды и возобновлять их запасы пельзя без больших и непрерывных затрат. Вы, господа степняки, можете и должны участвовать в этих затратах. Берите же деньги и покупайте на них бумаги военного займа!

Русские чиновники, стоящие у крыльца правления, с которого вещал приезжий, думали о том, что конца этим тратам не предвидится и патетичность Курбатовского — тому доказательство. Чем бедней нищий, тем красноречивей его просьбы, а нищему, как говорится, бог подаст. Волостные и старшины, поняв, что опять надо платить, хмуро прикидывали, откуда и сколько надо брать.

Курбатовский усккал в Оренбург и слал оттуда запросы о ходе продажи бумаг военного займа. Он считал, что после такой речи дело пойдет само собой.

В степи же не торопились. Даже собрав деньги, аульные старшины и волостные не спешили везти их в уезд, потому что слухи о мобилизации все накатывали и на-

катывали. Как волны. Каждая новая была страшнее предыдущей. Что будет, не знал никто. Хорошего не ждали.

Губернатор Эверсман был человеком равнодушным. Он скрывал это, прятал ото всех за внешней внимательностью, за выверенными у зеркала гримасами удивления, негодования, восторга. Он уставал от собственного актерства, уставал до сердечных болей.

Текст приказа, который был предложен на подпись губернатору, составил самоуверенный, даже нагловатый, одинаково широкий в плечах и поясище Александр Васильевич Курбатовский. Он был сравнительно новым в Оренбурге человеком, и Эверсман слегка остерегался его. Непонятные люди восходят нынче к государственной власти. То ли из разночинцев, то ли из кунцов, то ли из полячишек. Не знаешь даже, где в его фамилии ударение ставить. Боясь будущего, тургайский губернатор в каждом новом человеке и в каждой новой ситуации видел явление, грозящее скорой гибелью.

Текст собственного приказа показался Эверсману слишком выспренным и глупо возвышенным.

Курбатовский прямо поглядел в глаза губернатору:

— Не из головы писалось. По образцу.

— Штиль! Штиль смущает,— сказал губернатор.— Попроще бы.

Курбатовский нахмурился:

— Простота хуже воровства, Михаил Михалыч. Простота стиля есть основа вольнодумства, не помню, кто это сказал. Мысль не должна проникать в ум и сердце. В глубинах души возможны неожиданности. Мысль должна свистать наискось, вроде бы по касательной, как сабля голову рубит. Раз — и нету! Наискось легче.

Эверсман поморщился, но тут же изобразил сочувственную улыбку.

Приказ он впервые внимательно прочитал уже после опубликования в газете. Первоначальной неловкости он не испытал. На газетной полосе все выглядело не так глупо. Часть официальная начиналась с распоряжения Верховного Начальника санитарной и эвакуационной части: «Повелеваю прекратить действие приказа моего от 25 февраля 1916 года № 123 относительно обязательного сбора лечебными заведениями использованного перевязочного материала. Подписал: Генерал-адъютант Принц Александр Ольденбургский».

Это, значит, о грязных, вонючих бинтах. «Повелеваю». И почему такое нужно в газетах печатать? Далее шло творчество Курбатовского:

«К киргизам Тургайской области

В 25-й день минувшего июня месяца воспоследовало *Высочайшее его императорского величества* Повеление, которое будет встречено всем киргизским населением с чувством глубокого удовлетворения и с искренней радостью».

Эверсман усмехнулся, представляя себе, сколько будет этой радости. Бунта бы не было!

«За все время третий уже год продолжающейся ужасной войны киргизское население *Высочайше* вверенной мне области, не несущее воинской повинности, переживало в глубине верноподданнических сердец своих тяжелое чувство какой-то ничем не заслуженной отчужденности от всей остальной массы населения Империи, отдающей на войну, на защиту ЦАРЯ и Родины, своих отцов, мужей, братьев и сыновей.

Не отбывая воинской повинности, но всей душой горя желанием послужить в тяжелые минуты жизни нашей Родины своему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, киргизы щедро жертвовали на нужды войне все, что могли: давали и деньги, и скот, и лошадей, но тем не менее глубоко чувствовали, что сравняться с теми, кто отдает на защиту Родины свою кровь, свою жизнь, они далеко не могут.

Томились от этого тяжелого чувства благородные сердца кочевников, но не в силах были киргизы лично принять участие в войне даже и в качестве добровольцев....»

А может, прав Курбатовский: «Наискось, со свистом, вроде бы по касательной». Все так нынче пишут. По-дальше от правды, наискось к уму.

«Не имея достаточных средств, чтобы создать свои отдельные киргизские полки, как то сделали туркмены и др. богатые инородцы, киргизы не чувствовали себя в силах поступать в ряды общей армии: не зная русского языка, совершенно незнакомые с европейской обстановкой тех местностей, где идет война, киргизы с горечью сознавали, что, оторванные от родных своих кочевков и разбросанные поодиночке в рядах обширной русской армии, они растеряются от чуждой им обстановки и не смогут принести никакой пользы общему делу».

Эверсман крикнул. Это бестактно, Курбатовский глуп: на эти строки могут обидеться.

«Ныне воспоследовавшее 25 июня **ВЫСОЧАЙШЕЕ** Повеление разрешает все эти гнетущие киргиз вопросы, и, даруя киргизам широкую возможность принять личное участие в деле обороны Государства, ставит их в такие условия исполнения ими своего верноподданнейшего долга, которые дадут киргизам возможность среди своих же сородичей послужить **ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ** и принести пользу Родине своим личным трудом на войне, не боясь ни незнания языка, ни незнания местных условий жизни и не обладая, наконец, никакими познаниями в военном деле».

Курбатовский — дурак, и хлопот мне с ним предстоит много, решил Эверсман.

«**ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ** благоугодно было Повелеть — привлечь всех инородцев, не отбывающих воинскую повинность, в том числе и киргиз, для военных целей в качестве рабочих, а не солдат, для работ по

постройке укреплений, по устройству дорог и прочих сооружений в тылу армии, т. е. вне боевой линии.

Для выполнения этих работ призванные киргизы будут соединены в артели, причем кроме харчей от казны будут получать еще и поденную плату.

Призыву в первую очередь подлежат все киргизы в возрасте от 19 до 31 года, здоровые и годные к работам.

Объявляя об этом киргизскому населению **ВЫСОЧАЙШЕ** вверенной мне области, выражаю твердую уверенность, что те киргизы, которым выпадет счастье своими работами способствовать успехам нашей доблестной армии, сумеют оправдать оказываемое им **ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ** высокое доверие и на деле докажут свою безграничную Ему преданность, которую я хорошо знаю и о которой имел счастье не раз лично докладывать **ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ**.

1 июля 1916 г. Оренбург. Губернатор, Камергер *Высочайшего Двора* Эверсман»,

Глава двадцатая

Иван Деев служил фельдшером на Байконурских копях. Амангельды познакомился с ним через младших братьев. Они встречались нечасто, но каждый раз батыр удивлял фельдшера дотошностью; обо всем, что его интересовало, батыр спрашивал прямо и старался добраться до сути. Вначале это касалось причин возникновения и хода мировой войны. Батыр неотрывно глядел в глаза собеседнику и спрашивал, кому, по мнению самого Деева, эта война выгодней всего: русским или немцам? богатым или бедным? молодым или старым? В таком подходе Деев видел не только желание Амангельды разобрататься во всем самому, но попытку проверить ум и искренность собеседника. Позже, убедившись, что русскому

фельдшеру можно доверять, Амангельды стал интересоваться, почему происходят забастовки, кто и как готовит стачки рабочих на фабриках России, какие требования предъявляют забастовщики хозяевам и как часто удастся им добиться своего.

Недели за три до появления приказа о мобилизации Амангельды специально приехал в Байконур, чтобы расспросить Деева о том, как проходит в России призыв на военную службу.

— Ходят слухи, что казахов хотят взять на войну. Что вы об этом думаете?

Деев отвечал, что слухи эти и вправду ему известны, что от правительства по нынешним временам всего можно ожидать, но брать, видимо, будут не на фронт, а на тыловые работы, которые хуже фронта, потому что — каторга. Амангельды, видимо, ранее продумав все, о чем хотел спросить, узнавал про то, как составляются мобилизационные списки, кто обычно их проверяет, как происходит медицинское освидетельствование.

Приказ Эверсмана никого в Тургайской области врасплох не застал. Как люди узнавали и узнают все наперед, неизвестно, но дня за три до выхода газеты казахи, жившие поблизости от железной дороги, русских поселений и городов, стали быстро сниматься с привычных мест и откочевывать в неизвестном направлении. Люди бросали сенокосы, засеянные поля, без надзора оставляли зимовки. Как только приказ губернатора был объявлен официально, бегство стало массовым. Куда они бежали, на что надеялись? Разве что выбраться за пределы империи, в горы уйти? Приказ о мобилизации подтвердил, что и самые мрачные слухи подтверждаются. Случись это на месяц позже или на месяц раньше, многие точно так же не знали бы, что им делать, чтобы избежать неминуемости. Удручало в приказе губернатора не только то, что призыву подлежат все в возрасте от 19

до 31 года, но и то, что они — в первую очередь. Значит, будет и вторая очередь. А тогда что? И еще страшно звучало в приказе лицемерие и цинизм, то самое, что сознательно или не вполне бессознательно внедряют в подобные документы истинно государственные люди. Кому может прийти в голову, что киргизское население *«с чувством глубокого удовлетворения и с искренней радостью»*, пожертвовав на войну уйму денег, скота и лошадей, отдаст еще сыновей и мужей для того только, чтобы преодолеть *«тяжелое чувство какой-то ничем не заслуженной отчужденности»*.

Волостной управитель Смаил Бектасов в кругу друзей подсмеивался над подобными выражениями. Ему легко было смеяться, потому что старший сын, студент университета, призыву не подлежит, а младшие не подросли. Он и так для своих выгадал бы поблажки, но труднее стало бы выполнять волю вышестоящих начальников, трудно с другими жителями волости, и особенно с теми, кто считался родней волостному.

Родичи вначале ни о чем прямо не просили, лишь глядели чуть пристальней и родство свое подчеркивали при случае: про общих теток заговаривали, про дедов вспоминали.

Первым с просьбой пощадить двух внуков явился не родич, а вовсе давний враг отца Яйцеголовый Кенжебай. У него испокон не было сыновей, а внуки вот подросли, и в них он души не чаял. Эта любовь вернула Кенжебаю жажду деятельности и пробудила в нем былую предприимчивость. Он уже не нищенствовал, а существовал вполне достойно, как подобает старику. Внуки уважали деда за былую удаль, за прав, за рассказы о прежних временах.

Сразу три парня от трех дочерей Кенжебая подпадали под приказ о мобилизации; с мольбой о них кинулся в ноги сыну злейшего своего врага потрясенный горем де-

душка. Он каялся в своих прегрешениях перед всем родом Бектасовых, клялся никогда ни в чем не перечить этому роду, но волостной слушал Кенжебая без сожаления. Как ни жалок яйцеголовый старик, но жив, а отца Смаил схоронил два года назад. Да и не верил Смаил просителю.

Кенжебай униженно умолял не включать в список на мобилизацию своего младшего двадцатипятилетнего внука, подарки обещал царские, камчу свою с рубищами и табун лошадей, но Смаил Бектасов и тут ничего определенного не пообещал. Сказал, что постарается ради старого знакомства, ему и самому жаль молодых парней, сам был молодой...

Яйцеголовый старик едва выполз из юрты волостного и еле взобрался на своего пегого мерина, а когда оглянулся, Смаилу показалось, что глаза Кенжебая сверкнули в закатном солнце ненавистью молодой и пенасытной.

Потом словно прорвало: стали ездить к Смаилу все, независимо от возраста и положения, садились возле двери и униженно просили за сыновей, за младших братьев, за зятьев. Все дарили подарки, все сулили золотые горы, но никому Смаил Бектасов не обещал ничего определенного. Минжанов, которого Бектасов вовсе не уважал, по связи которого были всем известны, сообщил, что за укрытельство от мобилизации будут наказывать очень строго, могут конфисковать имущество и сослать в Сибирь. Рисковать за чужих детей смысла нет. Волостной решил перед начальством не хитрить и спать спокойно.

Несколько встревожился он, когда прослышал, что Амангельды с дружками ездят из аула в аул, ведет среди бедноты опасные речи и предлагает вовсе неразумное. Он предлагает сделать так, чтобы никто, ни один казах, не шел на царскую службу. Он предлагает бунт. Сначала Бектасову казалось, что Амангельды говорит это сгоряча, преследуя какие-то другие цели, но постепенно волостной все больше и больше тревожился. Бунт в военное



время будет подавлен, а нет ничего хуже, нежели быть представителем власти, когда свои бунтуют: опасность грозит и сверху, и снизу. Как ни слаба царская власть, понимал Бектасов, с киргизами ей справиться легче легкого. У властей пулеметы, пушки, газы. Газы пугали больше всего. Пулемет и пушка стреляют в цель, а газ уничтожает все подряд; он не выбирает, кто за царя, кто против. И скот весь погибнет.

Амангельды не спешил с визитом к Смаилу, а когда приехал с тремя своими джигитами, то держал себя вольно, на приготовление угощения смотрел с нескромным любопытством, на хозяина волости, на друга своего школьного, — посмеиваясь.

Неприязнь между Амангельды и Смаилом существовала давно, но выхода ей они не давали. И сегодня после обильной еды и крепкого кумыса все шло вроде бы дружески, вроде бы шуточно, вроде бы понарошку.

— Я слышал, что царь Николай нас на каторгу нашими же руками загонять будет, так ли это, друг мой Смаил?

— Не знаю, что ты называешь каторгой, друг Амангельды. И как это можно, чтобы казах казах на каторгу ни за что гнал, о чем ты?

— Каторгой, друг мой Смаил, я называю то, что хуже каторги. Я мобилизацию так называю, где не преступники, а безвинные погибнуть должны. Вот это я называю каторгой, а тех, кто захочет помогать царю в этом грязном деле, я бы назвал палачами и поступал бы с ними, как положено поступать с палачами. Я привязывал бы их за ноги к самым быстрым скакунам, чтобы и смерть их была быстрой.

Бектасов сдерживался изо всех сил, потому что никому не позволено говорить такие слова за его дастарханом. Разве плохое подавали нынче угощение, разве слаб был кумыс?

А батыр продолжал свои бессовестные речи. Он говорил, что русские уже не так страшны, как казахи себе страшны, что школьный товарищ Амангельды Иманова Смаил Бектасов составит списки мобилизованных и их угонят в чужие края; он же составит другую бумажку и перечислит там бунтовщиков, желающих помешать мобилизации. По этому списку Амангельды будут судить в окружном суде, и среди членов суда он увидит другого своего школьного друга Темирова. Разве предполагал кто из учеников муллы Асима такое продолжение жизни?

Бектасов сумел вызвать в себе усмешку по поводу речей Иманова и с этой усмешкой на губах заговорил о своем:

— Если бы я хотел вреда тебе, Амангельды, я бы сообщил прежде всего о дружбе твоей с байконурскими русскими, о поддержке, которую оказывает тебе Токарев, о тех безумцах, что собирались неделю назад в урочище Досан-Копасы, и про слухи о предстоящем избрании какого-то сардара.

— Сардар нужен людям, если они собираются воевать,— ответил Амангельды.— Ты много знаешь, друг моего детства, но знания твои могут пойти тебе во вред.

— Почему? — коротко глянул на гостя Бектасов.

— Могут, Смаил.

— Почему? — опять спросил волостной.— Знания никогда не вредят.

— Вредят. Они опасны, если человек пользуется ими без совести. Инспектор Алтынсарин говорил об этом Токареву, а Токарев говорил мне.

— Как говорил Алтынсарин? — заинтересовался Бектасов.— И неужели он дружил с Токаревым?

— Инспектор говорил, что даже самые великие знания, отделенные от справедливости и благородства, не более чем ловкое мошенничество. А ты, друг мой Смаил, все меньше думаешь о людских добродетелях... Однако мы слишком далеко отошли от того, что привело меня за

твой щедрый дастархан. Спасибо тебе за угощение, спасибо за беседу, и отблагодарю я тебя только тем, что не скрою ни одного слова из тех, что хотел сказать ранее. На то собрание наше в урочище Досан-Копасы мы собирались не для того, чтобы поболтать о плохих временах. Мы приняли несколько важных решений, и одно из них касается тебя.

Бектасов со стыдом обнаружил, что сердце его сжалось и кровь отлила от лица.

— Мы решили, что никто из волостных управителей не должен составлять и направлять в уезд списки призываемой молодежи без согласия народа. Если же какой-нибудь безумец нарушит наше требование, то вначале он лишится своего имущества и скота, а потом и сам он подвергнется наказанию.

— Наказанию? — Бектасов удивился слову. Наказание — это то, что старшие применяют к младшим, государство — к непослушным подданным.

— Я сказал «наказание», чтобы ты понял законность наших действий, — объяснил батыр. — Я сказал «наказание», чтобы не сказать сразу о том, что для тех, кто обманет нас, предусмотрена смертная казнь.

— Но я не могу не выполнять того, что приказывают мне. Если я откажусь, назначат другого, и все равно они добьются, чего хотят.

— Ты о себе думай, — сказал Амангельды. — О других мы подумаем.

Бектасов остро пожалел, что нет отца, который всегда точно знал, как следует поступать в трудных случаях. Он не дал бы возможности гостю выговорить такое.

Прощались они врагами, обязательные слова Бектасов цедил сквозь зубы, но в самом конце не выдержал, отвел батыра в сторону и заговорил шепотом, что безумие так нагло идти против русских, что на подавление восстания сил у царя Николая хватит, что пушки загремят в степи

и бессильны конники с пиками и дубинами против обученных солдат с пулеметами и артиллерией. Смаил говорил еще, что есть у русских газы, специальные ядовитые вещества, о которых пишут в газетах и которыми они погубят степь, задохнется в ней все живое; дети умрут рядом с матерями, оставшиеся в живых покроются язвами хуже прокаженных и сгниют заживо. Надо газеты читать. Против такой силы идти только дурак не убоится...

Амангельды высвободил рукав, который держал Смаил.

— Трудное у тебя положение,— вроде бы с сочувствием сказал батыр.— Трудное положение, Смаил. Но зачем ты пошел в волостные? Разве неволили тебя? Ты с детства мечтал о власти над людьми и считал, что рожден для этого. Ты сам стал пособником русских хозяев и теперь выкручивайся. Ты всю жизнь должен был готовиться к этому часу.

В словах батыра звучала откровенная насмешливая неприязнь, но слышалось в них Смаилу Бектасову и что-то такое, что позволяло надеяться на особое к себе отношение. Вряд ли с другими волостными, например с Мусой Минжановым, батыр говорил так же. Все-таки друг детства, вместе в школе шалили, вместе нас мулла Асим хвалил, вместе наказывал. Друзья детства, как ни крути. И еще подумал Бектасов, что дурацкие слухи, будто Амангельды Иманов может стать сардаром над всеми восставшими, не так уж беспочвенны. Очень возможно подобное в наши времена.

Если бы Смаил Бектасов мог помешать избранию Амангельды, он бы многое сделал для этого, но помешать по нынешним временам становилось все труднее. Нынче поровняло обойтись без тех, кто замаран русскими чинами и опорочен русскими ласками. В глазах начальства легко создать батыру репутацию конокрада и разбойника, но голытьба безграмотная донесений не читает,

а верит лишь тому, что сама видит. В голове Бектасова кружилось слово «сардар». Сардар — главнокомандующий при хане, а кто же будет ханом?

Кто будет ханом? Без хана казахи не представляют себе организации, без хана нет ощущения единства, нет сердца. Впрочем, слегка успокоился Бектасов, казахи слишком хорошо знают родословную каждого мальчишки, и семь своих прямых предков должен знать любой жених. Ханом Амангельды стать не может, в нем крови ханской нету. Ни капли! Как хорошо, что казахи знают свое прошлое и чтут его!

С огорчением подумал Смаил, что и в его собственной родословной ханов не числится и, пожалуй, единственный, кто может гордиться предками, — это его родич через Минжанова — Абдулгафар Джанбосынов.

Это имя всплыло в памяти очень кстати. Если будет восстание, надо такого человека в запасе иметь. И не одного его.

Кайдаульский волостной потом много раз хвалил себя за сообразительность. Хвалил себя и хвастал перед друзьями. Но это было позже, а в тот час, стоя в степи возле своей большой и богатой юрты, Смаил Бектасов подумал только, что к Абдулгафару надо съездить в гости, тем более что почтенных людей кормят там отменно и потчуют от души.

В долине реки Жиланшик паслись стада Смаила Бектасова, и на отгонах было множество его отар; уездный начальник лично принимал Бектасова у себя дома, и губернатор Эверсман, камергер двора царя Николая, хлопывал его по плечу как старого и доброго знакомого, но сейчас Кайдаульский волостной не тешил себя этим. Он думал про Амангельды и про восстание, которое конечно же будет, потому что власть уже ослабела и будет слабеть. Только теперь, после разговора с батыром, он понял, как ослабела власть.

Доносы о подготовке восстания постунали в губернское жандармское управление наряду с сообщениями об уклонении от мобилизации, о подкупах и фальсификациях, о взяточничестве должностных лиц. О масштабах грядущего восстания многие из персон столичных до поры знать не хотели вовсе, и даже сам генерал Новожилкин не предполагал, что пожар бунта будет таким ужасным и всепожирющим.

Как ни странно, о значении восстания генерал впервые задумался, получив письмо от сына Виктора, который сообщал, что его друг, член Государственной думы Керейский, собирается посетить восставшие области.

В последние годы генерал больше доверял сыну: то, что казалось раньше студенческими бреднями, а позже типичным адвокатским бахвальством и пустозвонством, подтверждалось слишком часто.

Поручение сына в чем-то совпадало с секретным циркуляром, который еще в пятнадцатом году разослал по губерниям директор департамента полиции. Тогда же генерал Новожилкин ознакомился с некоторыми секретными материалами об этом Керенском. Оказалось, что слежка за ним велась периодически, но довольно давно, была и кличка ему дана — Быстрый. С отвращением узнал генерал, что друг его единственного сына прославился в качестве защитника по политическим делам, ездил расследовать события на приисках Ленского товарищества, читал об этом позже публичные лекции и выискивал преступников среди должностных лиц. Еще более отвратительным было участие Керенского в протестах по делу Бейлиса. Только выродок и политический спекулянт мог такими средствами искать популярности.

И тем не менее!.. Даже тем более. Жандармский генерал понимал, что сын не зря хлопочет: придется принимать Быстрого и слушать его наглые речи. То, что слабеет

власть, начальник жандармского управления понимал почти так же, как волостной Бектасов.

С явным запозданием в Тургайской области занялись обработкой в нужном направлении деятелей мусульманской религии и почетных стариков. Знаменитый мулла Асим, которого Новожилкин издавна подозревал в туркофильстве и даже в шпионаже в пользу Турции, оказался очень податливым на уговоры содействовать проведению мобилизации, дал указание своим клевретам и ученикам и сам предложил сбор средств на экипировку мобилизуемых и дополнительное их питание. Первым внес две тысячи рублей брат муллы Асима, Аивар Хабибулин, подрядчик-миллионер, поставщик овчин для армии, скупивший в последнее время десятки крупных шерстомоек, мыловарен и кожевенных заводов.

В разговорах между собой, в официальных бумагах чиновники в Оренбурге чаще всего употребляли слово «бунт», о восстании же первым заговорил Ткаченко. Это он сообщил, что, по сведениям, полученным от старика Байсакалова, к Амаигельды Иманову приехал Алиби Джангильдии. Двух внуков отправил на работы Яйце-головый, но за поблажку третьему вновь, как молодой, стал рыскать по степи и доносить обо всем честно и с пониманием. Это он первым сообщил, что в октябре на берегу Тургая соберутся представители двенадцати волостей, десять или двадцать тысяч всадников, и произойдет деление на воинские единицы. В это не верилось, но вскоре другие доносчики подтвердили, что сборище состоялось и принято решение об устройстве киргизской армии и всего сообщества восставших. Тут явно не обошлось без Джангильдина, и возможно, что консультантами были русские чиновники вроде Токарева. Потом стало известно, что ханом над восставшими избран Джанбосынов Абдулгафар, человек богатый и ранее в противоправительственных действиях участия не принимав-

ший. Это было тревожней многого. Значит, не только голытьба?

Ткаченко составил подробную и толковую докладную о структуре руководящих органов восстания, и генерал пожимал плечами, когда узнавал, что кроме тысячников, сотников и десятников восставшие выбрали секретариат, который составляет приказы и ведает всей информацией, что каждая тысяча хозяйств выделяет в штаб одного представителя — елбеги, который решает все спорные вопросы между воинами-сарбазами и населением. Подчиняется елбеги только общему сходу пославших его и судейской коллегии, созданной при штабе. При штабе же находились жасакши — сборщики налогов для нужд восстания и казынаши — казначеи, хранители имущества. Даже размер налогов был установлен сообща.

В конце октября генерал Новожилкин заболел гриппом и слег с высокой температурой, кашлем и тяжелой головной болью. Он не сомневался, что заразил его чиновник особых поручений Курбатовский, который ужасно чихал на обеде у губернатора. Подозрение это подтверждалось тем, что и Эверсман тоже слег после того обеда, но пролежал всего недели две.

Эверсман был моложе Новожилкина и справился с болезнью легко, генерал же проболел долго, потому что у него началось воспаление легких. Среди бумаг, ждавших генерала на его столе, была копия письма Николая Васильевича Токарева профессору Семену Семеновичу Семикрасову в Петроград. Очень могло случиться, что Семикрасов первым и ввел это письмо в круг близких к Думе столичных либералов и именно оно послужило основой для зарождения вопроса, позже осторожно обозначенного в стенограмме одного из ее закрытых заседаний как «События, имевшие место в некоторых местностях Турке-

станского и Степного генерал-губернаторства при выполнении высочайшего повеления о привлечении инородческого населения к работам, необходимым для обороны Государства...».

Нежелание называть вещи своими именами есть симптом нечистой совести и скрытого государственного бессилia. Именно так было и в этом случае. И Новожилкин, читая письмо Токарева, возмущался прежде всего бесстыдностью, с какой мелкий уездный чиновник описывал то, что и без него всем известно, как оценивал то, чего оценивать был не должен. И второе, что с молодости не мог простить Новожилкин всем русским интеллигентам,— это их неодолимой и противоестественной склонности защищать инородцев. Генерал вспомнил, что, еще служа в Кустанае, он предлагал начальству самые решительные меры против связей русской интеллигенции и инородцев. Помнилось генералу, как статский советник Алтынсарин тянулся к русским ссыльным и как те кружились возле него.

Даже выйдя в вольное и равноправное положение, сами политические, их дети и родственники продолжали оставаться заразой для местных жителей. Когда-то, в самом начале войны, генерал составил лично для себя список лиц, которых он хотел бы арестовать в тот день, когда желание избавиться от внутреннего врага превратится в России в приказ и действие. Николай Васильевич Токарев в этом списке значился первым. С болезненным опущением собственной слабости генерал Новожилкин сознавал, что и теперь, когда империя грозила гибелью, когда возможно и необходимо применение законов военного времени, арестовать Токарева за частное письмо приятелю он не в состоянии. Вот если бы была установлена его нынешняя связь с киргизскими бунтовщиками... Новожилкин поежился от мысли, что русские ссыльные могут войти в штаб восстания, стать советниками и стратегами.

Тогда это — внутренний фронт, который будет пострашней германского.

Новожилкин встал из-за стола и направился к Ткаченко. Тот стоял в своем кабинете у окна и курил.

— Я хотел вас спросить о возможности того, что политические ссыльные, жидаы и интеллигентки могут проникнуть в штаб повстанцев. Есть у нас какие-либо факты на этот счет?

— Относительно связей данные имеются, а проникновение в число руководителей представляется мне маловероятным. — Ткаченко сильно изменился за последние годы, лицо, долгое время удивлявшее всех своей молодостью, вдруг стало оплывать, шириться; выполз второй подбородок. — Восстание носит антирусский характер, конфликты с поселенцами обостряются. В таких условиях основная масса степняков не поверит русскому в штабе. И это наше счастье.

— А ваш родственник Токарев по-прежнему водит дружбу с копокрадами и бандитами? Он в Тургае?

— Он здесь, ваше превосходительство. Они сейчас в Оренбурге, у них ребенок в больнице, младший сын.

— Что с ним?

— Операция на кишечнике, говорят, очень сложная.

— Долго проболит.

— Трудно сказать, ваше превосходительство.

— Хорошо бы подольше, — вырвалось у Новожилкина. — Такие, как Токарев, очень опасны именно теперь. Важно, чтобы Токаревы оставались в городе, и всю их переписку я буду смотреть сам.

— Как вам угодно, ваше превосходительство, но за племянника своего я лично хлопотал перед докторами и молюсь о его здравии. Варвара — моя единственная сестра.

Новожилкин буркнул что-то невнятное и, недовольный, вернулся к себе. Дежурный офицер положил на стол

телеграмму, согласно которой начальник Оренбургского жандармского управления должен оказывать всяческое содействие и незамедлительно выполнять оперативные распоряжения начальника карательной экспедиции в Тургай генерал-лейтенанта Лаврентьева. Телеграмму подписал командующий войсками Казанского военного округа Сандецкий, но говорилось в ней и о согласовании с товарищем министра внутренних дел Безсоновым.

Отложив в сторону письмо Токарева, которое он собрался изучить основательно, Новожилкин попросил дежурного офицера дать ему последние донесения о карательной экспедиции.

Глава двадцать первая

То, что обычно приписывают необычайной интуиции в действиях какого-то крупного руководителя народного движения, полководца или политического деятеля, что проявляется в обстановке сложнейших общественных катаклизмов, в войнах гражданских и партизанских, порой вовсе не интуицией объясняется, а только последовательностью. Вождь такого движения до тех пор остается во главе его, пока верно и неуклонно следует велениям самой реальной необходимости, только им подчиняет свои мысли, чувства, а предварительными намерениями и проектами жертвует, не теряя драгоценного времени. Истинный руководитель народного движения так или иначе осознает вынужденность своих решений и понимает необходимость действовать в соответствии с конкретной, совершенно реальной ежедневной и даже ежеминутной ситуацией. Если бы это было иначе, талант вождя или полководца мало чем отличался бы от таланта кабинетного ученого или религиозного пророка.

Не только интуиция, но и точные знания военной обстановки, складывающейся в результате подготовки ка-

рательных мероприятий, не могли бы изменить линии поведения сардара — главнокомандующего восставшими — Амангельды Иманова. Представим себе на минуту, что все секретные приказы и телеграммы генерала Сандецкого, командовавшего войсками Казанского военного округа, и донесения генерала Лаврентьева в тот же час становились бы известны Амангельды. Конечно, его решения в сфере тактики были бы иногда иными, отдельные операции проходили бы более успешно, но стратегия восстания определялась не сардаром Амангельды Имановым и тем более не ханом Абдулгафаром, а многими обстоятельствами, которые от них двоих не зависели, как не зависел от них и сам исход восстания.

Сардар, конечно, не размышлял в те дни о таких отвлеченных вещах, не гадал он и об отдаленных последствиях своих действий. Каждый день и каждый час требовал от него реакции на все новые и новые события, и он действовал без промедления, уверенно и твердо.

Абдулгафар не вмешивался в деятельность сардара. Он был занят политикой, принимал гостей в роскошной юрте, там много ели, пили кумыс, но все чаще водку и коньяк, льстили друг другу, завидовали, наушничали... Там много гадали о завтрашнем дне, болтали о временах, когда хан определит столицу, когда будет истинным государем со своим двором и правительством. Глупые все больше верили в это, умные притворялись, что верят. Темп трапез и бесед за этими трапезами был медлительный, тягучий. Каждый приезд сардара вносил сумятицу и ломал этикет, который усердно складывали на основе преданий, слышанных от стариков. Амангельды входил пыльный, хмурый и быстрый. Для него визит к хану ничем не отличался от приезда в кузницу, где ковали пики для новых воинов-сарбазов, или от посещения лекаря, который перевязывал ему руку, задетую шальной пулей в перестрелке возле железной дороги.

Абдулгафар не любил говорить с Амангельды, боялся его вопросов, знал, что и распоряжений сардар не любит. По любому поводу готова была вспыхнуть ссора.

Абдулгафар в осторожных выражениях сообщил сардару, что восставшие порой нарушают вечные законы степи, и в час, когда идет священная война, когда всего нужней единение против неверных, они обращают оружие против своих же братьев, против мусульман, причем, как правило, против старших братьев, старших по положению, по родословной, по должности...

Амангельды слушал с лицом каменным, непроницаемым, а хан продолжал свою вкрадчивую речь, приводил примеры, укорял кого-то, кого сардар должен был бы образумить: обуздать или наказать.

— Кто-то пустил слух,— говорил Абдулгафар, слегка раскачиваясь,— будто указ белого царя о реквизиции киргиз был принят по ходатайству некоторых наших уважаемых братьев. В каждой волости голытьба называет своего виновника. Недавно убили уважаемого аксакала Казангапова, который когда-то по должности своей говорил о необходимости подчиняться царю. Надо же понимать: времена меняются, нельзя сегодня отвечать за то, что было вчера. Вчера мы все вынуждены были говорить не то, что думали. Не правда ли?

— Не знаю,— сардар каменно глядел в лицо хана,— я никогда не говорил, что надо подчиняться призыву. Я всегда говорил только то, что думал.

Неучтивость Амангельды была замечена всеми, кто сидел в юрте, но никто не удивлялся этому. Абдулгафар уступил.

— Конечно, мы не можем упрекать тех, кто противился составлению списков призывников, кто убивал гонцов и старших, везших списки русским, но теперь, когда война объявлена, когда все мы должны быть едины, нельзя разжигать междоусобицу. Жалобы есть серьезные...

Двое из жалобщиков — карабалыкский волостной управитель Кадыров и бистюбинский Досов — сидели возло двери на корточках. Амангельды узнал их сразу же, а теперь понял, зачем они здесь, вспомнил, что они приходятся хану родней.

— Они жалуются? — Амангельды кивнул в сторону двери. — На кого они жалуются?

— Мне они назвали обидчиков, — сказал Абдулгa-фар. — Но просили никому больше не говорить, ибо боятся мести. Они боятся, что тогда никто уже не спасет их.

— Это верно. Никто! — Амангельды впервые за весь разговор улыбнулся. — Кстати, чуть не забыл сказать, в ближайшее время, через две недели, мне понадобится тридцать тысяч рублей. Их надо собрать с баев. Можно начать с тех, кто поблизости. Меньше будут приходить с жалобами. Начните с этих.

— Тридцать тысяч? — удивился хан.

— Не меньше, — сказал Амангельды, вставая с ковра. — Я дал слово платить кузнецам по два рубля за каждую пику. Железо у них покупное, уголь — тоже, и кормить свои семьи им надо.

Амангельды и в самом деле обещал платить кузнецам сдельно и не сомневался, что заставит баев раскошелиться, но срок назначал из желания поддразнить Абдулгa-фара и сумму тоже преувеличил. В районе восстания становилось все больше мужчин, готовых стать сарбазами в войске Амангельды. Кроме местных повстанцев прибывали вооруженные чем попало отряды из Петропавловского и Атбасарского уездов Акмолинской области, Перовского уезда Сырдарьинской области, из многих мест. Более десяти тысяч повстанцев находились вблизи станции Челкар. Им всем требовалось оружие. Пики конечно же не решали вопроса, поскольку бои предстояли против регулярной армии, вооруженной для войны с немцами, а не для операций с кочевниками.

Может быть, один только Амаигельды во всей ставке восстания понимал, каков разрыв в вооружении между его сарбазами и карателями. Может быть, он один представлял себе несоизмеримые цифры потерь в каждом бою, но он один понимал, что восстание уже состоялось, что оно будет могучим и он призван сделать все, чтобы оно победило. Победить — так понимал свою задачу Амаигельды, с этой целью действовал и презирал всех, кто уже сейчас готовился к тому, что будет в результате поражения или как все сложится после победы.

Амаигельды быстрым шагом вышел из юрты Абдул-гафара, ему подвели коня, он вскочил в седло, прижав к себе больную левую руку. Два ординарца скакали за ним, гордые близостью к сардару, своими вороными конями, берданками и шашками русского образца.

Амаигельды знал себе цену. В степи всегда было много батыров, и среди них всегда находились такие, что не уступали ему в схватке на поясах, в конном состязании или в стрельбе. Вот Кейки, к примеру, стрелял лучше, чем Амаигельды. Или Ибрай Атамбеков — отличный боец... Но Амаигельды знал себе цену и потому, став главнокомандующим над тысячами своих соотечественников, не удивлялся. Если бы не Токарев и не Деев, не те их мысли, которыми они делились с ним как с равным, если бы не леинские слова о том, что не может быть свободным народ, который угнетает чужие народы, то, может быть, не знал бы Амаигельды о том, какой силой обладают люди, сплоченные идеей освобождения от гнета, не верил бы в историческое право на восстание, не стал бы батыр сардаром. Возможно, что не так определенно думал об этом сам Амаигельды, на рыси проезжая между наспех поставленных юрт какого-то издали прикочевавшего аула, но думалось именно про это. Еще про то, что русский царь всегда имел много врагов среди своего народа, а теперь их с каждым часом становится все больше.

Вспомнился ему Петербург, толпы праздного люда на Невском, фабричные, которых он видел или хмурыми и понурыми в будние дни, или пьяными и разгульными после получки. Нет, мало людей захотят защищать свою старую жизнь, а те, что захотят, не смогут.

Власть украшает мужчину лучше, чем дорогая одежда и хорошее оружие; теперь на Амангельды девушки смотрели так же, как в дни его молодости и молодчества, и это льстило ему.

С тех пор как он стал сардаром, о нем ходило множество сплетен. Некоторые рождались сами по себе, но большинство пускалось с умыслом. Всего три любви было в его жизни, и вокруг каждой люди выстраивали легенды и домыслы. Трагическая и нелепая гибель Раш послужила почвой для особенно яростных пересудов.

...Ее нашли за аулом возле камышей Балык-Карасу. Она стонала в бессмятстве, и грудь ее была в крови. Потом никак не могли вспомнить, кто первый услышал крик о помощи, кто первый обратил внимание на то, как кинулись к реке аульные псы.

На шее у Раш были следы клыков, и, хотя крови она потеряла не очень много, привести ее в сознание не удалось: видимо, испуг был очень сильным. В степи знали много случаев, когда волки или бешеные собаки кидались на человека. Чаще всего это случалось в конце зимы или весной; иногда дело кончалось смертью, иногда долгой болезнью. Амангельды был в отъезде, и никто толком не знал, где именно; за ним послали сразу. Родичи не отходили от больной, молились, плакали и сокрушались, что нет в живых великого баксы Суйменбая, который сразу бы узнал, кто напал на несчастную, кто наслал беду, и спас бы ее игрой на волшебном кобызе. В ауле склонялись к мысли, что не волк напал на Раш, не бешеный пес, не гиена и не барс, а обыкновенный оборотень. Если не оборотень, она бы так не испугалась.

Посланный за Амангельды нашел его в Атбасарском уезде у фельдшера Адильбека Майкутова. Амангельды в оборотня не верил, Майкутов — тем более, но оба ничем не выдали своих сомнений.

Вспоминая теперь тот зимний вечер, когда он узнал о несчастье, Амангельды корил себя за досаду, которую испытал тогда. Слепо подсадовал, нехорошо. Вечно, мол, все не слава богу! Надо ехать домой, когда там наверняка и без него уладилось. Он представлял себе, как удивится Раш его приезду, ему думалось, что Раш — женщина истинно сильная и даже отважная, ей ли помираться с испугу. Он понимал, что со страху человеку может померещиться любая чертовщина. Тем более женщине.

Амангельды сам уже не знал, по любви он женился или потому, что время пришло. Кто знает, как сложилась бы его семейная жизнь и вся жизнь вообще, если бы отдали за него Зулиху, подругу детства и юности? Много зависит от женщины, если ее любят! Но в жизни батыра ни одна женщина не сыграла серьезной роли, он и не задумывался о них, и не любил болтать на эту тему с другими. Он не задумывался над тем, сильно ли его любит Раш, но в последнее время все чаще думал, какую хорошую жену послала ему судьба.

Сидя возле умирающей, он с благодарной нежностью вспоминал ее молодой, и ее приезды к нему на свидание в тургайскую каталажку, и те короткие дни, когда он, вернувшись из заключения, на какое-то время подумал, что сможет жить спокойно, ни во что не вмешиваться, никого не защищать, никого не наказывать.

Мысли о том, как власть и слава украшают мужчину, недолго радовали Амангельды. Он знал и обратную сторону этой радости, знал, что слава и власть не заменят молодости и силы, знал, что нынче каждый его шаг на

виду и что все только и судачат о его влюбленности в девушку со сладким именем Балым. Вопрос о свадьбе был решен как бы сам собой, хотя Амангельды ни разу не заговорил об этом и даже не знал, стоит ли ему жениться.

Не ко времени это, странно даже! Неуместность женитьбы в разгар восстания подтверждалась вроде бы каждый день, сам Амангельды на прямые вопросы и двусмысленности отвечал определенно и четко: «Перестаньте повторять бабьи толки!» Потом Амангельды понял, почему все вокруг верили в его женитьбу больше, чем он сам. Уверенность эта исходила от самой Балым и от ее родни: они-то уж знали характер девушки, а в красоте и уме ее и вовсе никто не сомневался. Но как бы то ни было, Амангельды гнал от себя эти мысли, как гнал прочь тех, кто говорил об этом вслух.

В ставке восстания всегда толпилось множество людей, приехавших за распоряжениями, с донесениями, для совещаний и с просьбами об оружии, но много было и просто любопытных. Встречались и лазутчики или те, кого принимали за лазутчиков. Иногда Амангельды узнавал об этом после совершения казни над заподозренными, и не было уже никакой возможности выяснить степень их виновности.

Единственный бесспорный военный успех восстания заключался пока лишь в том, что вся огромная территория Тургайской области и многих соседних уездов полностью вышла из подчинения царской власти. Не только о мобилизации, но и о сборе налогов, об исполнении русских законов, да и просто о почтовой и телеграфной связи, теперь не могло быть и речи.

Далеко не всем в штабе восстания нравились порядки, которые завел Амангельды. Деление на тысячи, сотни и десятки было принято сравнительно легко, ибо соответствовало старым казахским военным традициям, но

дисциплина, которой требовал Амангельды, у многих вызвала сопротивление. Может быть, поэтому сардар так стремился лично участвовать в военных операциях разных отрядов, может быть, только на личной его храбрости, на личных контактах с людьми и строилась та единая сила, которая могла противостоять силе карателей.

В конце октября приехал Алиби Джангильдин. Он появился неожиданно, и всю ночь они просидели с Амангельды в юрте. Сарбазы видели, что там горит огонь, и понимали: друзья решают важные вопросы. Вскоре на берегу Тургая собрались пятнадцать тысяч восставших.

Амангельды говорил, что царская власть слабеет с каждым днем, она ждет толчка, чтобы рухнуть, но толчок этот должен быть достаточно сильным.

Мы уберегли нашу молодежь от мобилизации, от гибели в чужих краях, но теперь многим предстоит рисковать жизнью, чтобы доказать право жить!

Чтобы иметь право жить, нужно уметь рисковать жизнью. Эта мысль сардара понравилась молодым сарбазам, а тысячные и сотские озаботились еще большими требованиями дисциплины. Хотя все было вроде бы согласовано с обычаем, но создание судейской коллегии при сардаре и секретариата при штабе, установление твердых правил сбора продовольствия для сарбазов — все это недовольные из числа баев приписывали влиянию, которое оказывал на их бесстрашного вождя приехавший невесть откуда Джангильдин. Они не ошибались. Стараясь оставаться в тени, Джангильдин и в самом деле во многом определил организационную работу штаба, внимательно обсуждал решения, которые на другой день или через неделю становились известны степнякам как распоряжения сардара, решения судебной коллегии или мнение секретариата. Именно Джангильдин посоветовал Амангельды постепенно овладевать крупными населенными пунктами, именно он поддержал намерение друга

более требовательно отнестись к баям, которые на словах поддерживали восстание, но уклонялись от непосредственного участия в боях и даже имуществом своим не хотели поступаться: жалели коней, продовольствие и фураж, были факты, свидетельствовавшие о связях баев с неприятелем. Купец Анвар Хабибулин, например, как выяснилось совершенно случайно, вез из Кустаная в Оренбург несколько верноподданнических донесений от местных богатеев к генералу Новожилину. Купца порешили прямо в чистом поле, а баи, припертые к стенке, откупились от обвинения и были прощены вопреки требованиям сардара о казни изменников. По мнению Амангельды, они были виновны куда больше, чем купец, исполнявший их поручения. Сардару приходилось считаться с родственными и родовыми связями в его войске, а соображения родства не позволяли до конца быть справедливым и принципиальным.

Решение о взятии Тургая не было принято Амангельды единолично, оно выросло в массе его воинов, оно вытекало из всей военной обстановки, из того, что надвигалась зима и город мог спасти от холодов, укрыть, накормить, стать подлинной столицей восстания.

Как ни странно, о своем окончательном решении штурмовать город Амангельды прежде всех сказал не друзьям, не в штабе, а в доме у родичей девушки, которую молва все более определенно называла его невестой.

Он заехал туда по пути, чтобы обогреться и отвести душу с милыми людьми, но его, как оказалось, ждали, ждали и его слов о свадьбе. И Балым ждала от него ответа, не скрывала этого видом своим и была уверена в том, что свадьба будет скоро.

Удивительное дело, до чего не вовремя пришла эта любовь, думал Амангельды, понимая, что это именно любовь и что сама судьба свела его с девушкой, имя которой означает «мед мой». Пожалел главнокомандующий, что нет

более Суйменбая и нет никого, кто мог бы предсказать ему будущее. Может быть, он и Суйменбаю не поверил бы в таком деле, но хоть спросил бы. Больше ни у кого он спрашивать не хотел. Нет! Женщины в самом деле никогда не имели для него такого значения, как для других. До сих пор, кажется, не имели. Амангельды когда-то мимоходом, со стороны глядя, заметил, что особенно много значит любовь для юношей, которые еще не верят в себя, и для людей в возрасте, когда есть уже основания сомневаться в своих силах. Неужто этот возраст наступил, неужто он стареет?

— От судьбы, видно, не уйдешь,— не желая говорить более определенно, сказал Амангельды в мазанке у своей невесты.— Но сейчас не время думать о чем-нибудь, кроме того, что пора уже нам брать Тургай. А потом все будет хорошо. Я верю.

Эти слова были произнесены против собственного намерения ничего не говорить определенно.

В считанные недели Тургай стал островом или даже утлым суденышком в безбрежном бушующем море. Задуманный в качестве форпоста империи, он существовал теперь сам по себе, и о нем вовсе забыли.

Ушедший на покой, овдовевший и вновь женившийся на старости лет следователь Бирюков вместе с другими обывателями ждал большой беды, но в отличие от многих надеялся на окончательную победу русского оружия на Западном фронте, на обуздание иноверцев по всей империи и еще на то, что его скромный труд летописца тургайской жизни обретет бессмертие. После разгрома мятежников записки Бирюкова могли бы публиковаться в столичных газетах и журналах, он был бы замечен в высших сферах и — чем черт не шутит! — мог бы стать академиком. Супруга Людмила изо всех сил поддержи-

вала мечты Бирюкова, верила в них и в меру своих сил сообщала тургайскому Пимену все, что слышала.

Пока работал телеграф, записи свои Бирюков пережегал сообщениями из Петрограда, ставил их в качестве вех, когда же связь с Россией прервалась, тургайский летописец стал позволять себе рассуждения и толкование событий, заносил в тетрадь все, что приходило на ум в свободное время. Свободного времени было много.

«29 сентября. Вернулась в Тургай казачья сотня, усмирявшая киргиз Кайдаульской волости. По их словам, произошел тяжелый бой с киргизами, три казака убиты, один ранен. Противник потерял в десять раз больше. Это наводит на хорошие мысли. За одного убитого десять, за одну изнасилованную русскую — двадцать киргизок. Дело вкуса, как говорится, но Людмила уверяет, что они темпераментны.

1 октября. Нас с Людмилой пригласили быть понятыми при обыске квартиры Токаревых. Сами они в Оренбурге обосновались, дом их здесь заколочен. Причина обыска та, что при карательной экспедиции казаков в одном из домов, где, по словам очевидцев, долго жил атаман восставших киргиз Амангельды Удербает, найдена книжонка предосудительного содержания из числа тех, за которые и в мирное время не жаловали. На книге нашли пометку, что она из библиотеки Н. В. Токарева. Обыск подтвердил это, экслибрис полностью совпал с теми, кои были на других книгах. Книг много. Даже слишком.

22 октября. Объявлено военное положение, говорят, что в семи верстах от города собрались воинственные киргизы, жаждущие нашей крови. Телеграф, который в последние дни почти не работал, замолк вовсе. Г-н Камарин сидит у окошка и плачет. Приказом уездного начальника после шести вечера запрещено появляться на улице. Всем жителям предложено в случае нападения укрываться в каменных строениях школы и казармах.

Начальство свои семьи уже перевело в казармы, устроило с удобствами.

30 октября. Наши смельчаки выезжали из города на рекогносцировку, видели разъезды киргиз с пиками, на сближение не пошли. Приказано строить баррикады, въезды опутаны колючей проволокой. Неведомо откуда возникла весть, будто государь император послал нам на выручку отборные войска, повернуты маршевые роты, шедшие на германский фронт... Оказывается, Людмила лично знала Амангельды, когда тот дружил с Токаревыми и бывал у них запросто. Это лютый и хитрый зверь, тигр с умом человека. Россия погибнет, погребенная иноверцами, ибо опиралась на милосердие и всепрощение, терпимо отпосилась к инопордцам, революционерам и штурдистам. У меня возник план создания будущей опричнипы. Нельзя опираться на образованный класс и на класс сытый. Слишком много у них побочных соображений. И с инопордцами надо ипаче. К чему пам их образованные муллы, учителя, врачи, адвокаты, которые себе на уме? Опираься падо па таких, как Амангельды и ему подобные. Если бы люди вроде господина Ткаченки и сильные личности из местных пашли общий язык, порядок был бы установлен на долгие века. Сильных надо прикармливать, приручать, как соколов к охоте приручают.

5 ноября. Напряжение растет, гроза надвигается. Сегодня проснулся от выстрелов, вскоре в казармах начал бить барабап. Я подумал, что это пачало штурма... Хотели ложиться спать, Людмила дала мне выпить валерианы с пустырником, разобрала постель, как вдруг из спальни крикнула мне: «Пожар!»

6 ноября. Не до сна! Это конец! Какие-то лазутчики стали в ночь поджигать стога сепя вокруг нашего несчастного, но героического городка, хотели пас запугать сразу, а на всю зиму устроить бескормицу нашему скоту.

Город в огненном кольце, горят, по моим подсчетам, более тысячи стогов, светло, как белым днем.

7 ноября. Вот уж истина: «Врагу не сдается наш гордый Тургай!» Вещие слова, точные.

Вчера только начали затухать факелы наших стогов, как киргизы подкрались к городу, и начался бой. Видимо, этого ждали наши начальники, и враг был встречен в самых важных местах залпами и прицельной стрельбой. Пулеметы били в упор, а стояли именно там, где надо! Нескольким мятежникам удалось прорваться в город, но они были застрелены прямо на улицах. Этот кошмар длился до сумерек с затишьями. Постепенно киргизы отступили, и я вышел, чтобы воочию убедиться в стойкости русских людей перед лицом лютого врага. Более пятнадцати трупов, раздетых и изувеченных, валялось в нижней части города и у реки. Казаки разорили несколько частных домов, видимо, за неучастие в общем подвиге или по подозрению в симпатиях к киргизам, тащат мебель, ковры и одежду. На войне как на войне! Кто не с нами, тот опасен, враг, хуже врага!

8 ноября. Я был не прав, записав, что Россия погибнет, погребенная иноверцами. Нет, она погибнет без погребения! Всюду распад!»

Отношения между Амангельды, главнокомандующим, и Абдулгафаром, ханом, становились все более напряженными. Военная власть с гражданской все более расходились в решении каждодневных вопросов. Про общую стратегию и говорить не приходилось, любой разговор заплетался в мелочах, а пропасть между сардаром и ханом зияла бездонная.

Трагически неудачный штурм 6 ноября очень много изменил в том, как Амангельды представлял себе развитие событий и близкое будущее. Не было никаких сом-

нений в том, что в среде повстанцев, даже среди руководства, есть предатели, двурушники или совершенно безответственные болтуны. Иначе невозможно объяснить себе, почему ровно за два часа до штурма начали гореть стога сена. Они осветили все вокруг, они сорвали начало хорошо продуманной операции. Горели те самые стога, которые должны были стать укрытием.

Только с близкого расстояния, внезапно, нахрапом, практически безоружные повстанцы могли овладеть Тургаем. Это было объяснено всем. Только срок держался в тайне. И вот предательство!

Амангельды понимал, что Абдулгафару нет никакой выгоды от такого предательства, но все же подозревал его. Именно Абдулгафар собрал вокруг себя всякую шваль, лизоблюдов, бывших волостных, прислужников и доносчиков, именно там таилась всякая гниль. Люди из личной охраны хана никогда не участвовали в боях с царскими войсками, уклонялись и от мелких стычек, но когда представлялась возможность грабежа и бесчинств, они были первыми и любые мерзости оправдывали правами священной войны и святой мстью.

Осада Тургая продолжалась теперь без особой надежды на взятие города. Из озорства охотники подбирались к окраинным строениям, поджигали амбары и оставшиеся стога сена. Каждую ночь вокруг Тургая и в нем самом что-нибудь да горело, и в степи тоже горело многое.

Во второй половине ноября в город с боями прорвался спасательный отряд, направленный генералом Лаврентьевым: восемь сотен казаков, рота пехоты, четыреста верблюдов, нагруженных боеприпасами, продовольствием и фуражом, батарея трехдюймовых орудий, пять пулеметов и много рогатого скота, предназначенного на прокорм экспедиционного отряда. Тургай стал вовсе неприступен для штурма, и взять его измором теперь тоже не представлялось возможным.

В один из дней всех казахов, проживающих в Тургае, выгнали в степь. Тут не считались ни с былыми заслугами перед царской властью, ни с тем, что многие из выселяемых заслужили доверие новых хозяев.

Когда Амангельды доложили, что в степи на двадцатиградусном морозе оказались семьи с малыми детьми, люди, лишенные всего своего имущества, сардар поскакал с джигитами туда. Он боялся, что кое-кто из сарбазов захочет мстить этим людям за недавнюю дружбу с врагом.

Становилось все холоднее, степь обезлюдела, только дымы Тургай виднелись вдали. Они стелились низко, потому что начинался ветер жылды-желъ. Он дул откуда-то с Урала, а может, как говорили старики, с самого студеного моря, где вместо воды сплошной лед.

Нарочный, который показывал дорогу, растерялся, потому что не увидел изгнанных там, где оставил их ночью. Они все оказались в глубокой ложине, у мелкой речушки, скованной льдом.

Амангельды остановился у спуска. Из норы в сугробе показалась полная женщина в одном платье. В ее бархатный камзол и головной платок был завернут грудной ребенок. Женщина не могла говорить, она протянула батыру своего ребенка, глаза молили о спасении.

Две вещи понял Амангельды почти одновременно: ребенок мертвый, а женщина — старшая дочь покойного почтальона Байтлеу Талыспаева. В норе оказались еще несколько полуголых людей и собака. Она вышла вслед за хозяевами, и, может быть, ей они тоже были обязаны жизнью, грелись возле нее.

Сардар первым скинул с плеч шубу. Двух или трех джигитов из охраны Амангельды послал в ближний аул, чтобы хоть на время ванять одежды, привезти кошмы,

От восхищенной детской мечты про инокходца золотистой масти жизнь оставила Амангельды только знание лошадей, способность мгновенно из тысячного табуна выделить лучшего коня и еще чуткость к нему во время дальних переходов и взаимопонимание, столь необходимое в бою. Многому научил Амангельды отец Раш... Тестя убили в прошлом году, когда один из карательных отрядов «наказывал» бунтовщиков за нападение на станцию и разрушение полотна железной дороги. Весь аул Бегимбай уничтожили, всех, кто не захотел или не смог уйти.

Последнего коня Амангельды выбрал себе сам, без тестя. Это был вороной пяти лет, высокий, с широкой грудью и сильными ногами. Двадцатого февраля 1917 года в бою возле селения Батпаккара вороному вспорола брюхо длинная пулеметная очередь почти в упор, из засады. Может быть, потому и погиб конь, что был он вороной. На снегу даже ночью хорошо виден.

Три батальона пехоты с обозами, сотня казаков и две артиллерийские батареи входили в экспедиционный отряд, который должен был уничтожить ядро восставших. Командовал отрядом опытный и хладнокровный подполковник. К концу февраля после тяжелых боев повстанцы оставили Батпаккару и ждали, куда двинутся каратели.

Хан Абдулгафар чувствовал, что необходимо срочно найти виновника военного поражения, указать на него сарбазам, если и не судить, не казнить, то опорочить. Более всего для этой цели подходил Амангельды: ведь он сардар, он пусть и отвечает. Одним ударом надо покончить с соперником и успокоить войско.

Пригласить Амангельды хан поручил Смаилу Бектасову. Поручение было не из приятных, но отказаться тот не посмел.

Бектасов потерял веру в себя, поседел. Доконала его смерть младшего любимого сына. Ему было семь лет, он умел читать, писать и удивительно красиво рисовал цвет-

ными карандашами. Кони, звери и птицы получались у него сказочными, они летали по небу, дружили между собой и все улыбались... Мальчик умер от страшных болей в голове, кричал, просил убить его. Если бы не восстание, Смаил отвез бы его в Оренбург, в Москву, к лучшим врачам.

В сопровождении десятка джигитов из личной охраны хана Бектасов явился в аул, где в нескольких землянках со своим крохотным штабом расположился командующий. Сарбаз у входа пропустил его без лишних слов, и это показалось добрым предзнаменованием. Амангельды, видимо, ни о чем не догадывался.

— Заходи, Смаил, садись. — Амангельды не удивился гостю. — Слушаю тебя.

Бектасов только тут понял, почему его сразу пропустили к сардару и почему тот не удивился. Кто-то издали опознал его и сообщил. А вдруг из ставки донесли? Ведь есть у него свои люди.

Опасения показались обоснованными. Не было и намека на угощение, даже о чае хозяин не распорядился. Бектасов, севший было на кошму справа от Амангельды, счел нужным подняться.

— Да что уж тут. Я ведь мимо ехал, а хан попросил передать, что послезавтра хочет видеть тебя гостем. Обсудить что-то хотят. Без тебя не обойтись.

— Когда? — спросил Амангельды.

— Послезавтра.

Амангельды задумался, потом отрицательно покачал головой:

— Послезавтра не смогу.

— Почему?

— Скажи им что-нибудь. Соври как старый друг. — Амангельды вроде бы подмигнул. — Скажи, что заболел.

Бектасов напрягся, пытаясь понять, что происходит.

— А разве ты заболел?

— Нет. Я на охоту собрался. Лис много развелось, Капканы буду ставить и так бить.

Издевательство стало явным. Бектасов надел свою лисью шапку, и ему стало совсем не по себе.

— Извини, что угощения нет. У нас паек, а с тобой десять ртов,— сказал Амангельды. Друг детства не встал с кошмы, с каменным лицом добавил: — Так и скажи. На охоту. Лис, скажи, много развелось.

Смайл боялся, что Амангельды расхохочется ему в лицо. И повернувшись, чтобы уйти, боялся этого смеха, как выстрела в спину.

...Карательный отряд, в феврале 1917 года занявший населенный пункт Батпаккара, находился в условиях трудных, особенно тяжкими виделись перспективы. Сено в окружности тридцати верст было сожжено повстанцами, скот они отогнали еще дальше, о продовольствии и фураже из Оренбурга нечего было и думать, телеграф не работал, нарочных сарбазы перехватывали и казнили в устрашение прочим, двигаться дальше в пустую степь было бессмысленно. Начальник отряда мог бы сравнить себя с Наполеоном, занявшим Москву и вскоре вынужденным понять, что проиграл кампанию.

Амангельды про наполеоновское нашествие не знал ничего, тактику партизанской войны не изучал и свои выводы, сделанные на основе горького опыта боев, которые вели практически безоружные пастухи против регулярной армии, оснащенной пушками и пулеметами, не относил к открытиям военной науки. Ясно было, что нельзя рассчитывать только на смелость, нельзя нападать без разведки и не всякая разведка боем допустима.

Несколько лобовых атак нанесли огромный урон сарбазам, и даже тогда, когда каратели отступали, потери с обеих сторон все-таки были несоизмеримы.

В карательном отряде царила железная дисциплина, караулы проверялись ежечасно, в нескольких местах стояли пулеметы, на минарете круглосуточно дежурили дозорные. Разведка и перебежчики, которые приходили оттуда, не говорили ничего утешительного. Отряд, несмотря ни на что, собирался стоять в Батпаккаре до лета.

Вот уже вторую ночь Амангельды выезжал с Ибраем Атамбековым, Досаном Карабаевым, еще несколькими очень верными джигитами на охоту. Так и говорили: едем охотиться на лис.

Вчера они огибали Батпаккару слева, сегодня поехали вправо.

— Понимаешь, чего жду? — спросил Ибрая Амангельды.

— Понимаю.

— А чего?

— Чтобы первым узнать, куда пойдет русский.

— Правильно, а почему я думаю, что он пойдет?

Джигит не знал, как ответить. Накануне в Батпаккару пробрался нарочный не то из Оренбурга, не то из Челкара, он привез приказ или какую-то вест. Отряд стал готовиться к выступлению. Об этом знали только Амангельды и Ибрай.

— А разведку он никуда не посылал, — сказал джигит.

Появилась луна, она не светила, а лишь просвечивала сквозь низкую хмарь. Всадники спустились в балку, проваливаясь в снегу, долго ехали гуськом, а когда вновь поднялись на равнину, увидели силуэты Батпаккары.

— У него пулеметы в домах стоят. То в одном, то в другом. Каждую ночь меняет места, — напомнил Атамбеков.

Они двинулись дальше, луна вовсе спряталась, и пошел мягкий снег. Стало холодно.

— Не пойму...— тихо сказал Амангельды.— Страшно. Они опять ехали молча, и каждый думал о том, как легко попасть в окружение или напороться на засаду. Вдруг батыр дал своему коню стремяна и легко залетел на бугор, джигиты последовали за ним.

Луна на какое-то время протаяла для себя дырочку в облаках, но светила совсем скупно. То, что они увидели в этом зыбком свете, поразило их. Весь трант, ведущий на Челкар, был занят длинной походной колонной. Отряд уходил туда, откуда пришел. Артиллерия шла в центре колонны, замыкали ее сани с пулеметами, ощерившимися на пустынную степь.

— Не увидят нас, не достанут? — спросил Ибрай.

— Все ушли,— сказал Амангельды, отвечая не Ибраю, а своим мыслям.— Все до одного. Среди ночи...

Куда они уходят и почему? Может, правду говорят, что восставшие узбеки приближаются к Ташкенту, может быть, они взяли Ташкент? Собственный опыт подсказывал, что этого быть не может, не то соотношение сил. Амангельды остановился на одном выводе: ушли по своей воле, а по приказу.

В Батпаккару въехали почти без предосторожностей. Никто из местных жителей не знал причины ухода отряда. Даже старый русский фельдшер, которому Амангельды доверял полностью, ничего не мог объяснить. Телеграф по-прежнему не работал. Про нарочного вроде бы тоже никто ничего определенного не слышал.

И все-таки Амангельды был первым из руководителей восстания, кто узнал, что в Петрограде произошла революция. Потом кое-что уточнилось, а вначале говорили, что и царя убили. Подтвердилось главное: всем теперь дана полная свобода, киргизам будто бы тоже. Только к концу марта Иван Деев толком объяснил батыру, что война с немцами продолжается и, значит, все самое плохое тоже будет продолжаться.

Профессор Семикарасов по мере сил следил за событиями в Тургайской области. Возможность восстания он предвидел еще в начале мировой войны и был одним из немногих в своей среде, кто в ответ на вести о зверствах восставших рассказывал, как зверствовали каратели. Милые, интеллигентные беседы за чашкой чая кончались ссорами, Семен Семенович в запальчивости порой доходил до того, что говорил о необходимости сепаратного мира с немцами. Его называли за это большевиком, но большевиком профессор не был. Июльские события показали это не только знакомым Семикарасова, но и ему самому. Здесь, в Петрограде, он решительно не принимал и не оправдывал никаких эксцессов, но, когда речь заходила о киргизах, башкирах или сартах, он становился на их сторону. Он рассказывал подробности карательной экспедиции, предпринятой по приказу семиреческого военного губернатора Фольбаума, который незадолго перед смертью сменил фамилию и стал Соколов-Соколинский. По приказу генерала уничтожали сотни аулов, мирное население стогнали со своих мест, а войска брали заложников и расстреливали их, топили в реках. Местные русские газеты писали об этом как о победах, и Семикарасов носил с собой вырезки, читал их знакомым и даже на лекциях в университете.

«Известное возмездие уже постигло, конечно, мятежников,— говорилось в одной заметке.— Войсками перебито много тысяч киргиз, их стойбища уничтожаются, огромное количество их стад переходит в руки войск, администрации. Но это не все. Главный результат комбинированных операций войск заключается в том, что все мятежники загнаны сейчас в такие горные районы, где вскоре вследствие холода и голода они в полной мере почувствуют последствия своего безумного восстания. Уже доходят сведения об их лишениях и болезнях среди них, но войскам приказано не давать врагу пощады».

Ужесточение нравов, происходящее прямо на глазах и повсеместно, тоже было темой споров в кругу друзей и знакомых Семена Семеновича. Многие видели причину в распространении среди русского народа чуждых ему западных идей.

Доставалось декабристам и революционным демократам. От них, мол, повелись Нечаевы и Азефы, от них всё! Идеи, как трихины, заражают людей, люди сходят с ума, брат идет на брата.

Нет, не идеи виноваты, не сами идеи, думал в те дни Семен Семенович. При всей вредоносности таких явлений, как Нечаев, винить их во всем плохом, что происходит после них в любое смутное время, следует не больше, чем ветхозаветного Каина. В самом деле, Каин был раньше, но не он виноват во всех братоубийствах, совершаемых после него. Просто Каин первый, кто проклят за это. Разве какой-либо слой общества, какое-нибудь из сообществ этого общества гарантировано от проникновения подлецов? Сергей Нечаев пошел в революцию и был замечен в ней не по сходству с другими революционерами, а в отличие от них, по контрасту с ними, с их нравственностью, их идеями. Нечаев мог бы пойти в торговлю, на государственную службу, просто в полицию или в тайную полицию, и никакой сенсации не было бы. Видеть в Нечаеве результат и осуществление мечтаний Радищева, Рылеева, Герцена и Чернышевского то же самое, что винить в голоде, надвигающемся на Россию, тех, кто ратовал против обжорства, а в нехватке мяса обвинять Толстого, исповедовавшего вегетарианство. В конце концов, эта *нечистота* мысли и позволяет вульгарным атеистам обвинять Иисуса Христа во всех ужасах инквизиции. Достоевский, кстати, гениально вскрыл в «Легенде о великом инквизиторе» переплетение обмана с самообманом, оболъщения с самообольщением. Сейчас все схватились за Апокалипсис и Достоевского, все кричат, что

сбываются пророчества. Плохое предрекать всегда проще и надежнее, но не Апокалипсис стал остоном учения, породившего нашу цивилизацию. Что делать, идеи остаются чистыми часто лишь в сфере идеальной. Нельзя также, думал профессор Семикарасов, на слово верить всякому, кто клянется святыми идеями прошлого, кто заявляет себя наследником Будды, Магомета, Кампанеллы или Иисуса Христа, ибо никто так не настаивает на истинности своей родословной, как самозванцы. Мысль о самозванцах привлекла на память Гришку Отрепьева, который крест целовал, что сын Грозного. Кстати, Сергей Нечаев вполне мог бы пойти в опричнину. Государство, которое делает ставку на опричнину, обрекает страну на смутное время, думал профессор. Конечно, обращение к опричнине всегда вынужденное, всегда признак слабости. Верно говорил Щедрин о роли приказания в нашей истории. Что бы ни творили опричники, они прежде всего заручались разрешением на реванш, ордером на погром. Погром — бандитизм по разрешению, вот почему погромщик хуже бандита. Поразительно, как люди интеллигентные забыли про это, поразительно, что Муравьев-Вешатель в эти дни стал для них милее Муравьева-Апостола. Октябрьские события Семикарасов принял как должное, как возмездие, и хотя не предполагал, что большевики удержат власть после созыва Учредительного собрания, но этот поворот истории казался ему закономерным.

В ветреный декабрьский день, идя с Галерной, Семен Семенович встретил Кусякина и с удивлением для себя обнаружил, что как-то рад этой встрече. Они шли по Морской и говорили о событиях в тургайских степях. Отец Борис воспринимал все происходящее как конец света, злобствовал на губернатора Эверсмана, согласившегося служить большевикам; рассказал про Токарева, который теперь стал киргизским прихвостнем и скачет по степям рядом с разбойником Амангельды.

Распростились па Невском, и Семел Семенович едва удержался, чтобы не сказать попу про то, что именно он и ему подобные довели Россию до нынешней смуты. Именно русская православная церковь, никогда не знавшая христианского смирения, породила и поддерживала в народе и в правительстве все виды нетерпимости к свободе мысли, мнений и личности. По ее требованиям и налетам, с ее громогласного благословения русское государство преследовало иноверцев и инаковерцев, унижало черемисов, вотяков, чувашей и других «малых сих» за их веру, но еще хуже поступало с единокровными своими братьями, с русскими раскольниками всех толков, с духоборами, молоканами, штундистами и прочими отнюдь не зловерными религиозными протестантами. Насилие, против которого восстал Христос, церковь сделала своим фундаментом. Опять прав Достоевский! Тот, кто загоняет мысль в подвалы, всегда рискует тем, что оттуда вырвется уже не мысль, а бунт, слепой и кровавый.

Невский продувался насквозь сильным и резким ветром. Семикрасов поднял воротник, зашагал быстрее. Все складывалось именно так, как следовало ожидать: Россия распадалась на части. Разве он не предрекал этого, разве не говорил...

Глава двадцать вторая

Амангельды ходил хмурый, молчаливый, думал об одном и том же. Раньше все было просто: враг — враг, друг — друг, чтобы понять себя, необходимо побыть наедине с собой, чтобы победить, надо объединяться, чтобы объяснить другим сложные вещи, достаточно найти пример из народных сказаний и песен, созданных предками, или из жизни, из того, что сам знал про людей, а то даже

про животных. Например, о тех волках, которых жгли в камышах, или о воробьях, защищающихся от ястреба.

Казалось, что именно теперь надо, как воробьям, держаться вместе, а получалось иначе. Хан Абдулгафар послал брата к властям, официально заявил, что признает власть Временного правительства, объявляет о роспуске своих отрядов и о готовности возместить все убытки, причиненные баям, остававшимся верными властям. От губернатора Эверсмана был к нему нарочный, и Смаил Бектасов тоже ездил в Оренбург договариваться об этом.

Смаил понял, что старая власть рухнула навсегда, как саманный домик, подмытый весенней водой. Схлынул разлив, остались бугорки глины, обмылки бывших стен. Такой не починить, нужно строить новый. По старому ли плану его возведут, как проще, или новое что-нибудь придумают, никто сказать не мог. Но пока на месте власти — пустое место. Смаил был безмерно этому рад. Его участие в восстании только для местных жителей и для него самого было со всей очевидностью вынужденное, но с точки зрения таких людей, как генерал Новожилкин, он был преступником и вполне мог быть расстрелян по законам военного времени. Конечно, самого Новожилкина уже не сыскать, сгинул, но Иван Ткаченко оставался.

Задним числом участие в восстании казалось Смаилу особенно важным, выглядело как большая личная заслуга в борьбе с врагом. Как и многим, Бектасову хотелось остановить революцию в этом самом месте, ибо дальше, по его мнению, начиналась уже не свобода, а разгул. Смаил составил опись своим убыткам и требовал, чтобы Амангельды отдали под суд.

...Все вроде бы изменилось, а по существу, осталось прежним, война продолжалась, карательные отряды действовали, только среди своих началась свара: вдруг воз-

никло желание сводить давние счета. Смайл торжествовал и был главным обвинителем на суде против Амангельды. И суд был хуже, чем в иные времена, заочный. Все убытки восстания, тысячи голов скота списали на одного Амангельды и приговорили его к ссылке в Сибирь на десять лет. Поистине удивительное время, все теперь ехали из Сибири, а его — в Сибирь.

Комиссар Временного правительства в Тургайской области Букейханов заочный приговор заочно же утвердил, но Амангельды только посмеялся тогда. Это было и вправду смешно. Разве может быть суд, когда власти уже не стало?

Новости не казались новостями, сенсаций не было вовсе, и тургайские телеграфисты перестали гордиться своей должностью. Лента, ползущая из аппарата, сообщала много такого, что для жителей Тургай значения не имело. Несчастья, обрушившиеся на городок, приучили обывателей не преувеличивать связь своих судеб с судьбами страны и мира. Конечно, в периоды больших исторических катаклизмов возрастает соблазн связать события собственной жизни с явлениями глобальными или даже космическими, но это бывает только до поры. Слишком большие личные несчастья пригибают человека к земле, самые важные общественные перевороты представляются фатально, вне связи с реальностью.

Люди гадали о будущем кто как умел: русские — на картах и кофейной гуще, казахи — на бараньих костях и на бобах. Такое гадание исключает необходимость принимать во внимание то, что трудно сразу осмыслить или сопоставить (например, революции, которые дважды за год совершились в Петрограде, роспуск Учредительного собрания, интервенцию, Брестский мир и многое, многое другое). Такое гадание кажется спасительным, потому что опирается только на страх, перемежающийся надеждами.

Амангельды поделился этими своими наблюдениями с Токаревым, когда они встретились в холодной юрте одного из разоренных белыми казаками аула близ Кустаная. Им нужно было обсудить очень важные проблемы, но разговор сам ушел в сторону. Они стали рассуждать о внутренней связи событий, о связи, которую людям далеко не всегда дано сразу постичь. Николай Васильевич сказал, между прочим, что такой незначительный с точки зрения мировой истории факт, как безвременная кончина инспектора киргизских школ Ибрагима Алтынсарина, самым решительным образом повлиял на судьбу Амангельды, на судьбы многих его сверстников, которые теперь, в свою очередь, влияют на судьбы степи и, таким образом, всей России.

Батыр согласился с этим отчасти, потому что вспомнил себя в то давнее лето, последнее лето батрачества, вспомнил, с каким замиранием сердца ехал на чужом коне поступать на учебу. Он представил себе, как бы сложилась теперь его судьба, будь он образованным человеком. Все было бы как-то иначе. Но Амангельды возразил Токареву и обрадовал его своим возражением. Он сказал, что есть все же и более общие законы, более важные причины, которые движут не отдельными людьми, а целыми народами. Конечно, жаль, что не смог он прочесть тех самых книг, которые читал Токарев, но ведь в главном они понимают друг друга.

Эта простая мысль в тот час показалась Токареву удивительной. Ведь и в самом деле нельзя не видеть странного, но бесспорного влияния событий мировой истории и крупнейших явлений человеческой культуры на тех, кто, казалось бы, далек от всего этого, как тургайские степи далеки от Атлантики или Антарктиды. Алтынсарин не успел составить хрестоматию и включить туда отрывки из Цицерона, Толстой со своими великими романами и страстными проповедями вовсе неведом казахам, но

обсуждали в закаспийских аулах освободительного движения ирландцев и археологических сенсаций, но все это, пусть косвенно и искаженно, опосредованно и часто совсем неожиданно, доходило сюда.

Амангельды тоже думал про это одновременно с Токаревым, только мысль его работала чуть иначе, не так конкретно. В нем было больше интуиция, больше чисто поэтического. Да, он прошел мимо книг, стоявших на полках в доме Николая Васильевича, он ничего не слышал о Марксе и теории прибавочной стоимости, об историческом материализме и его борьбе с идеализмом... Все это пришло сюда в виде вооруженных отрядов, аргументами стали винтовки, пулеметы и пушки.

Амангельды был в числе немногих, кто понимал, что междоусобица, разрастающаяся в степях, разгул страстей и предательства, когда жестокость и страх питают друг друга,— все это лишь временно развивается по внутренним законам, но в конце концов придет в соответствие с тем, как сложится обстановка вокруг.

Постоянные опасности усиливали подозрительность, испокон века тлеющую в душе степняка, всеобщая неуверенность способствовала мгновенным вспышкам чрезмерной доверчивости, которую теперь испытывали все, кто боролся за власть.

В мае восемнадцатого года Тургай захватил атамана Дутов. Вместе с ним победу торжествовали баи, истосковавшиеся по сильной руке, бывшие царские чиновники и те, кто опрометчиво и поспешно встал на сторону Временного правительства, а после победы большевиков в России попал в положение безвыходное.

Разрыв между Амангельды и Абдулгафаром фактически произошел давно, теперь же они откровенно противостояли друг другу. Недавний хан оказался в зависимости от своих бывших советников. Смаил Бектасов уговорил его подчиниться деятелям Алаш-орды.

Совсем недавно про партию «Алаш» и не слышал никто, теперь же такой шум подняли, что ни одно толковище в степи не обходилось без ссылок на алашей, на их какие-то заслуги перед казахами. Еще бы! уважаемые и самые богатые люди, позабыв бывшие распри, объединились для борьбы с Советами. Чем богаче бай, чем больше опасается бывший царский чиновник гнева или мести народной, тем сильнее держится за «Алаш».

Смаил ко всему этому относился с большой проницательностью, которую тщательно скрывал. К Галихану Букейханову и Ахмету Байтурсунову он испытывал ревность, смешанную с завистью, но при людях всегда хвалил их. Смаил любил теперь рассказывать, как еще до войны был связан с нынешними вождями, как рисковал. Давний вызов к генералу Новожилкину вместе с Темировым он изображал похожим на арест. Про себя, однако, Бектасов с горечью понимал, как далеко ему до Галихана, ставшего во главе всех националистов, и до Ахмета — редактора газеты и записного оратора. Они наверху, а он по-прежнему известен в двух-трех уездах.

Как бы то ни было, перед малограмотным ханом Абдулгафаром Бектасов изображал себя представителем всей Алаш-орды.

Абдулгафар получил заграничное обмундирование, разъезжал по степи в зеленом френче, с маузером.

Амангельды со своим отрядом отступил в степь, упорно и обстоятельно готовился к новым боям, собирал силы, обучал бойцов, с помощью рабочих Байконура и Карсакпая добывал оружие. Про будущее думали каждый по-разному, но Амангельды не сомневался в победе большевиков. Так ему говорил Токарев, писал Джангильдин.

«Хорошо Джангильдину, — в трудные минуты думал батыр. — Хорошо ему. Он все знает наперед, возле больших людей бывает. Хорошо Джангильдину».

«Выехав 16 июля 1918 года из Москвы с целью проехать так или иначе в свою область, отрезанную в то время от центра со всех сторон по случаю чехословацкого и казачьего выступлений, по дороге до Астрахани я организовал отряд силой до 150 бойцов из интернационалистов, бывших пленных из Австро-Венгрии и Германии, а также из 50 киргизов, оказавшихся в Астрахани. Пополнив этот отряд находившимися со мной членами губисполкома, пожелавшими следовать в качестве красноармейцев, я двинулся по назначению.

Намерение проехать туда через Ташкент не осуществилось по случаю выяснившегося в то время занятия Красноводска англичанами. Пришлось избрать другой путь, и таковым оказался: Астрахань — Форт Александровск — Закаспийская степь... Взятые мною деньги в Москве — 38 миллионов рублей для Туркестана и 30 миллионов рублей для Тургайской области — по соглашению с тов. Сталиным были сданы в Царицыне в Народный банк и доныне мною не получены, за исключением двух миллионов рублей, взятых на дорогу для экспедиции и на необходимые другие военные и прочие расходы...

Высадиться в Форт Александровске, однако, не пришлось, потому что часть команды начала роптать, не желая ехать степью по неведомым местам, опасаясь голодной смерти и вообще связанного с этим огромного риска. Пришлось всех недовольных отпустить на тех же шхунах, на которых доехали до берега, остальные высадились на полуострове Бузачи в рыбацком необитаемом поселке Заворот, в котором проживал только один брошенный хозяевами приказчик с семьей...»

Так Алиби Джангильдин писал в своем докладе Совпаркому.

Почти месяц пробыл он на безлюдном побережье Каспия, добывал верблюдов, лошадей, продовольствие и фураж. Два месяца с лишком в обход белых шел отряд.

Джангильдина по степям и только в ноябре вышел к станции Челкар. Это было поздним темным вечером, мелкая снежная крупа била в глаза и слепила. Из белой мглы навстречу отряду ехали несколько всадников, закутанных в башлыки. Их было четверо, но Джангильдин растегнул кобуру, а бойцы его отряда скинули с плеч винтовки.

— Свои, свои! — крикнул один из четверых. Это был Токарев.

Положение на Оренбургском фронте оказалось чрезвычайно тяжелым, еще более тяжелым, чем представлял себе Джангильдин. Не было ни оружия, ни патронов, ни денежных средств. Приверженцы Алаш-орды во главе с Дулатовым, Темировым, Байтурсуповым еще при власти меньшевиков сформировали киргизский полк и пытались силой навязать свою волю. Любимым лозунгом тогда было «власть на местах», и каждый, кто имел эту власть, гнул свою линию, каждый объявлял свои законы, проводил реквизиции скота и имущества, каждый мог выносить приговоры, предъявлять ультиматумы.

Токарев рассказал обо всем этом в первую же ночь, а наутро они составили план действий. Оснований для оптимизма обстановка давала немного, но Николай Васильевич не сомневался в быстрой победе. Вера во все хорошее всегда была главной чертой его характера, и Джангильдин считал это недостатком.

Вопреки сомнениям ближайшие события складывались именно так, как предполагал Токарев. Желающих сражаться за Советскую власть становилось все больше, добровольческие отряды формировались не только из казахов, в них шли бывшие русские фронтовики и крестьяне, бежавшие из-под Орска и Кустапая от колчаковских мобилизаций и расстрелов. В начале декабря Алиби Джангильдин во главе интернационального отряда выступил из Челкара.

На соединение с Джангильдиным Амангельды вывел свой отряд в полной боевой готовности. Он точно рассчитал место встречи и построил бойцов по эскадронам, как положено в регулярной армии. На правом фланге с красным полотнищем стоял знаменосец Серикпай.

День выдался солнечный, безоблачный, и встреча получилась торжественной.

Амангельды по всей форме доложил чрезвычайному комиссару о состоянии отряда и о готовности штурмовать Тургай.

Они обнялись, расцеловались.

...Тургай взяли без боя. Те, кто чувствовал себя особо виноватым перед большевиками, бежали из города, остальные сдались и полностью признали Советскую власть.

Токарев приехал в Тургай неожиданно. Обстановка внезапно начала осложняться, и он, как областной военком, считал необходимым лично проверить боевую готовность. Он остался доволен тем, что увидел. Отряд Иманова был хорошо вооружен, фуража и продовольствия хватало. Целый день ушел на ознакомление с командным составом, на проверку военных знаний, на беседы с рядовыми бойцами, а вечером Токарев остался наедине с Амангельды.

— Недавно я телеграфировал Ленину о нашей полной победе, но обстановка меняется каждодневно. Колчак со дня на день может выйти к Волге, все его газеты пишут, что на пасху адмирал будет в Москве. Вы понимаете, что это означает для нас с вами?

Токарев посмотрел на батыра. Тот пожал плечами.

— У Колчака гнилой тыл,— сказал Амангельды.

— Я говорю о наших конкретных задачах.

— Не понимаю вас, Николай Васильевич.

Токарев показал на карту, разостланную на столе:

— Представьте себе, что все это в данный момент так же или еще более внимательно разглядывают наши враги, наши неверные союзники, двурушники. Они зна-

ют, что фронт Пятой армии прорван, Дутов с уральскими белоказаками мертвой хваткой вцепился в железную дорогу от Актюбинска до Оренбурга, Туркестан вновь отрезан...

Приказ о выступлении в помощь войскам Актюбинского фронта Амангельды получил еще раньше, для его проверки и приехал Николай Васильевич, в чем же дело? Видимо, Токарев хочет сказать, что именно теперь возможно предательство со стороны Алаш-орды.

— Не думаю, чтобы алаши вновь решились на измену. Они же поклялись, некоторые даже на Коране. Кроме того, Николай Васильевич, они не идиоты, чтобы верить Колчаку, а Колчак не дурак, чтобы поверить им.

Токарев согласился с тем, что алаш-ординцы должны все это понимать, но ведь у каждого нынче своя логика, свой ход мыслей, и надо быть начеку.

Молодая жена батыра Балым приготовила им ужин, поставила на стол бутылку мутного местного самогона, по пить они не стали. Говорили о прошлом, вспоминали довоенный сонный и сытый Тургай, местных знаменитостей и давние происшествия. Николай Васильевич сказал, что они с Варварой Григорьевной часто скучают о прошлом, это, по-видимому, от возраста, от усталости.

Потом разговор опять вернулся к положению на фронтах. Токарев рассказал о Первом конгрессе Коминтерна, говорили они и о мировой революции, которая, несомненно, произойдет в самое ближайшее время. В этом свете возможность предательских действий со стороны Алаш-орды казалась вовсе невероятной. Амангельды подробно изложил свои соображения на этот счет, Николай Васильевич возражал не очень настойчиво. Он только привел какое-то древнее изречение, которое тогда им обоим показалось шуткой:

— Если ты огорчен ничтожностью причин, приводящих тебя к гибели, подумай лучше о том, что причины,

приведшие к твоему рождению, были еще более ничтожны.

— У нас говорят: один джут делает бая нищим, одна пуля делает из героя покойника. Так что случайности не исключены, тут спорить нечего,— сказал Амангельды.

...Спать они легли рано, потому что с рассветом Токарев уезжал.

Телеграф работал только в Иргизе, оттуда Джангильдин и отправил телеграмму в Москву Ленину:

«Первым советским киргизским добровольческим отрядом, сформированным мной в Кустанае, после двадцатидневного передвижения по степи 5 сего декабря занят город Тургай. О дальнейших производимых операциях буду телеграфно сообщать».

Глава двадцать третья

В Тургае свистала декабрьская пурга. Она встретила Джангильдина в ста верстах от города и не утихала неделю. Казалось, что злые силы нарочно стараются замести все дороги, скрыть следы отступавших колчаковцев и кровь, пролитую ими за месяцы господства.

Штаб Джангильдина расположился в помещении бывшего уездного правления. Красноармейцы первым делом растопили выстывшие печи; они гудели и выли от ветра, который дул ровно и сильно. Не верилось, что целый год прошел с такого же тургайского вечера, когда в этом же доме, в этом же кабинете, они с Токаревым принимали Иманова в партию большевиков. Когда все разошлись, Амангельды спросил друга: «Это ничего, что у меня такая молодая жена? Скажут, как у бая...»

Всего полгода тургайский военком Амангельды Иманов состоял членом партии большевиков, с декабря во-

семнадцатого по май девятнадцатого, по день своей смерти. Он погиб, потому что был коммунистом. Алиби помнил, что первый раз заговорил с батыром о вступлении в партию во время Тургайского областного съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казахских депутатов. Батыр сказал, что подумает. Потом белый атаман Дутов напал на Оренбург, и Амангельды со своим отрядом сражался бок о бок с большевистской дружиной, но и тогда не торопился решать вопрос о своей партийной принадлежности. Джангильдин понимал, что едва ли не основным в сомнениях батыра было требование партийной дисциплины. Поэтому он не настаивал, не торопил.

«Это ничего, что у меня такая молодая жена?»

Теперь жену батыра никак не могли найти. Вначале был слух, что ее расстреляли вместе с мужем, еще говорили, что она погибла при перестрелке, третьи высказывали предположение, что Балым удалось скрыться от врагов. Джангильдин полагался на это. Не зря же родичи Балым вдруг среди зимы откочевали неведомо куда.

Как объяснить Ленину причины переворота и измены Алаш-орды, если такой мудрый человек, как Токарев, писал Владимиру Ильичу, что алаш-ординские главари признали Советскую власть, сложили оружие и проявляют послушание. «Довожу до Вашего сведения о таких успехах, испрашивая указания, как поступить вообще с главарями названной шайки в случае их полного искреннего раскаянья. Причем многие из них люди интеллигентные, пользующиеся популярностью среди киргизов». Токарев полагал, что видным деятелям Алаш-орды следует дать возможность заслужить прощение.

Впрочем, деятели Алаш-орды тоже не предвидели своего будущего. Об этом свидетельствовали бумаги, которые они оставили в большом дубовом письменном столе, принадлежавшем некогда уездному начальнику. Так, адре-

суясь лично к Колчаку, один из предателей радостно сообщал, что с вступлением в Тургай войск Временного всероссийского правительства и после расстрела основных противников можно с уверенностью сказать, что Советская власть свергнута окончательно и навсегда.

Джангильдин знал, что это случилось двадцатого апреля, когда командир партизанского отряда Лаврентий Таран встретился с Имановым в Тургае. Мятеж алашей произошел через несколько часов после этой встречи. Причем сам Таран и бывший военком Оренбурга Карп Иноземцев были расстреляны очень скоро, если не сразу же...

Письмо писалось, видимо, в июне. Многие места в нем были зачеркнуты, и Джангильдин, вначале пропустив вымаранное, теперь старался прочитать именно эти строки. Автор письма сожалел, что Колчак не посылает в Тургай такого решительного и знающего местные условия человека, как Ткаченко, и обращал внимание адмирала на то, что один из советников Временного всероссийского правительства господин Семикрасов С. С. является вредным агитатором, связанным с местным большевиком Токаревым. Прилагаются, мол, перехваченные письма профессора.

Писем Семикрасова в столе не обнаружилось, и Джангильдин об этом пожалел. Николай Васильевич был бы рад получить их. Он много рассказывал о Семикрасове, о вечно сомневавшемся русском ученом, который в душе всегда становился на сторону побежденных и потому всегда подозревался в склонности к предательству. Когда побеждали большевики, он перешел к белым. Если начнут побеждать белые, он уйдет в оппозицию и станет помогать большевикам. Токареву Семикрасов нравился, Джангильдин таких людей не понимал. Кроме того, сам не сомневаясь в окончательной победе большевиков, он имел основания думать, что Семикрасов до конца своих дней будет на стороне белых.

Пачка прочитанных протоколов лежала на столе, а картина была еще не очень-то определенной. Конечно, каждый из допрашиваемых видел только то, что видел, и слышал только то, что слышал. К тому же не обо всем из виденного и слышанного люди хотели говорить. Путал карты и нарочно уводил в сторону от существа вопросов Абдулла Темиров. Он хотел казаться объективным и беспристрастным, но умалчивал про то, что с детства знал Амангельды, и потому его объективность казалась подозрительной.

Темиров задержан и находится, кажется, в той самой камере, где перед смертью был Амангельды. Он многое еще расскажет, если его расспросить как следует.

Он признавался лишь в том, что было известно и без него: изгнан со съезда Советов Тургайской области как приспешник царской власти; затем был в отряде Дулатова, во время переворота по поручению алашей направлялся для связи с колчаковцами, должен был привести в Тургай их карательный отряд. А про друга детства вскользь, между прочим: «по циркулирующим слухам был поставлен в известность, что алаш-ординцы за время моего отсутствия расстреляли военкома Иманова».

Джангильдин прекрасно помнил рассказы Амангельды о детстве, о школе муллы Асима, о том, как три мальчика сдавали экзамен перед самим Ибраем Алтынсариним.

Амангельды любил друзей детства и в последнее время жалел, что так разошлись их пути, что Смаил и Абдулла стали активными алаш-ординцами. Вроде бы недавно Амангельды говорил Джангильдину, что верит в возможность нового сближения на основе большевистских документов о праве наций на самоопределение.

Как бы то ни было, по список убийц и тех, кто этому убийству не захотел помешать, содержался в письме, которое Амангельды нацарапал на стене камеры. Джан-

гильдин сам переписал письмо со стенки и с него, собственнo, начал «Дело об убийстве».

«Меня ввели сюда в пятницу. С тех пор как я сижу... (далее несколько слов разобрать не удалось). После семи дней четверть чаю, полфунта сахару дали. Это первый мной виденный свет. Вчера тюрям¹ написал письмо. Письмо писал тюрям: Миржакупу Дулатову, Каратлеуову, Мазарафу Касымову, Мурзагазы Иобулову, Альмухамеду Касымову, Аскарбеку Кадырбаеву, Казгельды Карпыкову, Оскару Алмасову...»

Джангильдин не раз перечитывал эти строки, стараясь понять, как и почему батыр написал их. Когда? Кажется, что это написано из последних сил, может быть, тяжело больным, избитым, может быть, в полубреду, в жару. Не был ли он болен чем, например тифом?

Среди тех, кого следовало допросить по делу об убийстве военкома, дополнительно к основным участникам значились еще двое: содержавшийся в тюрьме Николай Пионеров и вдова последнего начальника тургайской тюрьмы Гавриила Бирюкова. Вдова представляла интерес только потому, что, как говорили, почти всегда сопровождала мужа во время приема заключенных, обхода камер и наказаний, писала вместе с ним статьи для колчаковских изданий и отдельно от супруга публиковала в тех же газетах кое-какие стишки. Кто такой Николай Пионеров, Джангильдин не знал и весьма удивился, выяснив, что Николай Пионеров и старый, немощный и вечно голодный оборванец, которому из жалости разрешили прибирать и топить печи в штабе, — одно лицо.

Джангильдин размышлял, кого из двух следует пригласить раньше, кого позже, когда дверь открылась и, пятясь задом, вошел старик уборщик. Он нес охапку дров и, свалив их у печки, сказал:

¹ Тюря — здесь господин, начальник. Есть и иронический оттенок. — *Прим. автора.*

— Комендант велел тебе печку топить.— Он доверчиво глядел на Джангильдина слезящимися глазами больной собаки.— Можно?

Джангильдин кивнул и уперся взглядом в бумаги. Он вспомнил, что все вокруг звали старика Бейшарой, однако обратиться так на официальном допросе невозможно.

Старик сидел перед печкой на корточках и смотрел в топку, где медленно занимался огонь.

— Как вас зовут? — спросил Джангильдин.

— Бейшара.

— Я спрашиваю, как ваше настоящее имя?

— По документу?

— Да.

— По документу я Николай Пионеров, а раньше был Кудайберген.

— Так как же мне вас называть?

— Бейшара. Так меня все зовут. Я давно не обижаюсь. Меня даже в Берлине так звали — господин Бейшара Пионеров.

— Где? — переспросил Джангильдин.

— В Берлине. Есть такой город,— объяснил Джангильдину Бейшара.— Там дома большие и народу много. Дойш называются. Самый умный народ на земле. Они могут по небу летать на пузырях вроде бычьих и на других штуках тоже летают. Я сам видел, хотя мне здесь никто не верит.

Старику обычно не верили, когда он рассказывал про полеты на бычьих пузырях, те же, кто верил, причислялись им к самым умным. Вот и теперь Бейшара не столько хвастал, сколько хотел проверить начальника, сидящего за столом. Оказалось, что начальник не дурак. Если и не поверил, то недоумения никак не выказал, а предложил присесть к своему столу и рассказ про Германию слушал не прерывая.

— А за что вас посадили в тюрьму? Кто и когда?

— Э-э,— протянул старик.— Это давно было, тех людей нет давно. Пять лет назад меня посадили. В 1914 году.

— И до сих пор не выпускали? В чем вас обвинили?

— Тогда считали, что я немецкий шпион.

Безропотность и пришибленность Бейшары вполне позволяли думать, что его по дурацкому подозрению могли посадить в самом начале мировой войны и забыть выпустить. Не сразу Джангильдин понял, что старик содержался в тюрьме по собственному желанию и вполне добровольно. За еду и крышу над головой.

— При царе еще когда, то хорошо кормили, при алашах совсем плохо, но иногда из конвойного котла наливали, иногда арестанты остатки передач давали... Когда холодно стало, я с арестантами спал, вместе теплее.

Джангильдин стал записывать показания Бейшары, на минуту заколебался насчет того, отнести ли этого свидетеля к числу пострадавших от прежнего строя или же причислить его к тем, на ком старый строй держался. Ведь, как ни говори, а был этот Бейшара тюремщиком, хотя и младшим. Единственным итогом размышлений было то, что комиссар — вовсе, впрочем, бессознательно — перешел со свидетелем на более резкое «ты».

— Ты знаешь, старик, что в этой тюрьме содержались верные сыны нашего народа и среди них батыр Амангельды? Ты видел его в тюрьме?

— Зачем глупость спрашивать? Как я мог его не видеть, сам подумай.— Старик почему-то тоже перешел на ты.— Я его с детства знаю, мы с аулом Кенжебая кочевали.

Старик попытался пачать свои показания издалека, но Джангильдин выслушал только про то, что Бейшара знал батыра с сопливого детства. Его интересовал самый финал, и вопросы он стал задавать с конца:

— Кто увел Амангельды на расстрел? Ты видел?

— Их много было. Кто к нему раньше ходил, те и в последний раз пришли.

— Кто именно?

Старик, не задумываясь, начал называть имена. Они полностью совпадали с перечислением, известным Джангильдину по предсмертному письму друга: Дулатов, Каратлеуов, Касымовы, Оскар Алмасов, Казгельды Карпыков...

— Они к нему часто приходили, когда он в другой камере сидел. Уговаривали.

— Уговаривали?

— Ну да! Чтобы против большевиков пошел, а он, дурак, все им наперек говорил. Он и в детстве упрямый был. Я ему говорю: ты соглашайся с ними, пока сила у них, а потом по-своему поступишь, когда на свободу выйдешь. Там ищи-свищи. Одно слово — дурак! Я ему говорю: соглашайся, батыр. Я со всем всегда соглашался и — видишь — живой-здоровый, а которые не соглашались, те в земле гниют. Кенжебай гниет, и Бектасов гниет, и поп Борис, который меня крестил, тоже издох, говорят. А я живой. Я видел в Германии, как люди по небу на пузырях летают, как бабы голые танцуют. Я иногда ему пел про это. Сяду у его двери и пою вроде для себя, а на самом деле для него. Ему не разрешали домбру давать, а я пел. Он говорил мне: «Ты плохо поешь, Бейшара». Шутил, наверно. Я старался.

Джангильдин не перебивал Бейшару. В его болтовне проскальзывало кое-что, чего нарочно не выспросишь.

— Когда он в большой сухой камере сидел, ему передачи разрешали, сами еду посылали, бинт давали. У него рана воспалилась, он сначала молчал, только мне сказал...

— Рана?

— Конечно. У него в левом плече пуля загноилась. Он ведь отстреливался от них, когда брали его. Ну сначала они его кормили, уговаривали, бинт давали, а потом

в карцер кинули. Эта камера, где он последнее время был, карцер называется по-русски.

— А когда его перевели в карцер?

— Разве упомнишь? Теперь уж зима на дворе, а дело-то весной было. Когда, не помню, но знаю, что в тот день пятница была, большой намаз был. Мулла Асиям Коран читал, а меня не пустили, потому что я крещеный.

В который раз Джангильдин перечитывал последнее письмо...

«Меня ввели сюда в пятницу. С тех пор как сижу... После семи дней четверть чаю, полфунта сахару...»

— Его посадили в карцер и не кормили? — спросил Алиби. — Может так быть, что вовсе не кормили?

— Почему не может? — в свою очередь спросил Бейшара. — Приказали еды не давать и пить не давать.

— Кому приказали?

— Всем приказали.

— И тебе?

— Мне не приказывали. Я сам понял. Целую неделю приказали морить голодом и жаждой.

Джангильдин старался не глядеть на Бейшару. Предстояло решить судьбу этого, по всей видимости, вполне вменяемого человека, добровольного тюремщика и мучителя. Однако принять единственно правильное революционное решение что-то мешало; может быть, полная откровенность старика. Наверное, поэтому Джангильдин обрадовался продолжению рассказа:

— Первые два дня я боялся к карцеру подходить, а потом ночью подходил. Два раза хлеб ему давал по пайке, один раз половину. Воду давал. Потом во время обхода он бумагу попросил и карандаш, чтобы тюремщику писать... После этого письма они и обозлились еще больше. А у него жар был, иногда меня не узнавал. Рука была сизая с чернотой, надутая, как колбаса. Он

мне показывал. Он меня с детства любил, я ему конфеты давал. У меня тогда много конфет было.

Бейшара рассказывал Джангильдину правду, и непонятно, зачем врал про конфеты. Он понимал, что врать тут не надо, и выгоды от такого вранья не ждал никакой, просто хотелось так закончить свой рассказ про багыра и про свою дружбу с ним. Конец должен быть хороший, приятный слушателю.

Вдову последнего начальника тургайской тюрьмы привели под конвоем. Она была укутана в два платка и долго разматывалась, расстегивалась, усаживалась, а усевшись и поерзав по скамье, вдруг успокоилась, затихла и расплзлась, оказавшись очень старой и неопрятной женщиной с животом, вывалившимся почти до колен.

По делам Джангильдин представлял ее совсем иначе: величественно-чопорной, высокомерной. В боа и с лорнетом. В качестве главного компрометирующего ее материала фигурировали стишки, напечатанные в колчаковской газетке «За Русь Святую!»:

...Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкой большевик
Подползает к своей жертве,
Он зубами к ней приник.
Вурдалак под красным флагом,
Словно бес во тьме степей,
Кровь сосет из своей жертвы
И смеется он, злодей!

Всего было куплетов десять, и Джангильдину надоело читать подряд. Называлось это песней вольного степняка, впризу значилось: «Людмила Черноморова».

В другом номере той же газеты была напечатана статья епископа Бориса Кусякина, в которой утверждалось, что корень всех бед русского народа в недостатке

религиозного воспитания и утрате былой гордости. «Франция называла себя Великой, Англия Старой, Германия Честной, а русский народ, желая оттенить основную характерную черту своего отечества, назвал его Святой Русью. Некогда русские люди возмущались тем, что потомок татар, зять палача и сам в душе палач надел бармы и шапку Мономаха. Ныне совершается большее».

Рядом со статьей Кусякина было еще одно стихотворение, не более искусное, нежели первое.

Великой Российской державе
Достойная честь и хвала!
Ей путь уготован уж к славе,
Она уж стоит как скала!

Подпись была та же: «Людмила Черноморова».

— Это ваш псевдоним? — спросил Джангильдин, показав старухе газету.

— Мой. Я взяла его в память о первом моем муже, погибшем от руки царского наемника.

— Его фамилия Черномор?

— Нет. Это его партийная кличка. Он был известный террорист.

О таком известном террористе Джангильдин не слышал, но старухе поверил. Странно только, что вдова революционера выходит замуж за пачальника тюрьмы и пишет стишки против большевиков.

— Если я ошиблась, готова исправить вину, — сказала старуха. Потом вдруг добавила: — Фамилия моего первого мужа Голоснякин. Он был гвардейский офицер, пошедший в революцию по зову сердца. А я была актрисой. Тут все говорят, что я была циркачкой, но это клевета. Я пела в Маринке вместе с Шаляпиным, и он целовал мне руки. Он даже хотел увезти меня с собой в турпе...

Может быть, во взгляде Джангильдина проскользнуло недоверие или просто удивление, но старуха вдруг стрельнула в него мелкими, как две дробинки, глазками.

— Все было именно так, как я рассказываю. Федя моложе меня, но это для нас не имело значения. Можете мне верить.

— Федя — это ваш первый муж господин Голосьякин? — Джангильдин и вправду не понял, что старуха так называет Шаяпина.

— Моего мужа звали Петр Николаевич, и я предпочла поехать за ним в ссылку, нежели предаваться разврату с Шаяпиным. Моего мужа убили жандармы прямо в его кабинете и пытались уверить меня, что это самоубийство. А он был большой жизнелюб и охотник. А теперь я ношу фамилию моего второго мужа. Я вдова господина Бирюкова, которого контрреволюция вынудила стать начальником тюрьмы. Это был исключительно порядочный и гуманный человек. Он мухи никогда не обидел.

Дня два назад, узнав, что вдова начальника тюрьмы по чьему-то скороспелому решению арестована, Джангильдин подумал, что старуху надо освободить, но больше к этой мысли не возвращался. Теперь он почувствовал неловкость. Стихи полубезумной женщины не могут служить основанием для репрессий. Он вспомнил то, что она говорила. Видимо, она жена того странного типа, который жил в Тургае лет десять назад, делал чучела и, кажется, считался сосланным. Убийство или самоубийство он тоже помнил; там и в самом деле была замешана полиция или даже жандармы.

Старуха говорила быстро, захлебываясь, в одно предложение умудрялась вметать все новые сведения о своей артистической молодости, о заслугах одного покойного мужа перед революцией и невиновности другого перед убиравшими его красными.

— Что вы можете сказать о лицах, содержавшихся в тюрьме после переворота 20 апреля? — Джангильдин твердо решил выпустить старуху сразу же после допроса. Нужно только все узнать про Амангельды. — Кого из них вы видели, кого запомнили?

Старуха опять стрельнула своими бледно-голубыми дробинками и довольно толково сообщила, кто был арестован во время захвата власти алашами, как ее мужа, бывшего давно в отставке, принудили стать начальником тюрьмы и в заместители дали телеграфиста Камахина, как она лично вместе с мужем и Камахиным старалась облегчить участь арестантов.

Камахин и в самом деле пытался помогать арестованным и за это был расстрелян через две недели после захвата власти. Камахина Алиби Тогжанович знал хорошо. Это был безликий, но очень услужливый человек, который боялся власть имущих и еще больше боялся будущего возмездия. Из таких получают хорошие верующие. Сам Бирюков ни в чем хорошем за время начальствования не отличился. Это был служака, единственной доброй чертой которого можно считать лень и сонливость. К царским чиновникам, вяло исполнявшим свои обязанности, Джангильдин был чуть мягче, нежели к ретивым.

— А правду ли говорят, что вы сами присутствовали при экзекуциях и даже при расстрелах? — Алиби спросил только потому, что старуха среди арестантов не упомянула Амангельды. Это показалось подозрительным.

— В своей жизни я только один раз видела, как расстреливают человека. Это был конокрад.

— Какой конокрад?

— Конокрад и бандит.

— Как его фамилия?

— Не помню и не желаю помнить.

— Когда это было?

Старуха не отвечала.

Джангильдин повторил свой вопрос о времени расстрела, но старуха не ответила.

— Это был бандит и копокрад. Он был связан с убийцами моего первого мужа.

— Где его расстреляли? — Джангильдин уже не сомневался, что речь идет об Амангельды. Все алаши и контрреволюционеры приклеивали Иманову этот ярлык. — Где его расстреляли и когда?

— В логу верстах в пяти от города, — сказала старуха. — Я поехала туда, потому что бандит был виноват перед Петром Николаевичем. Он отпустил убийцу и дал ему денег на дорогу.

Не вдаваясь в объяснения и не называя имени того, о ком шла речь, Джангильдин продолжал спрашивать:

— Кого расстреляли вместе с ним?

— Он был один. Ему предлагали прощение, но бандит стал плевать. Благо все стояли далеко, иначе он убил бы нас своей бешеной слюной.

— Он говорил что-нибудь?

— Кто?

— Амангельды Иманов!

Старуха будто и не слышала, что произнесено имя. Теперь она не считала нужным отрицать то, что признала молча.

— Он говорил что-нибудь?

— Он много говорил, но я вашего языка не понимаю.

— Его связали?

— Только руки. Сзади.

— Есть сведения, что у него был жар.

— Не знаю, не щупала... Он знал моего мужа, поставил ему материал для работы. Между прочим, этот ваш Амангельды преследовал меня своими ухаживаньями. Он пользовался успехом у некоторых особ, но я его отшила.

Старуху вновь повело к своей теме, и вот-вот она бы перешла к воспоминаниям о Шалапине и успеху в Маринке, но Джангильдин решительно вернул ее к событиям недавним. Все было именно так, как он себе и представлял ранее. Алаш-орда пыталась склонить Амангельды на свою сторону даже после ареста, и главари ее совершенно расвирепели, когда это не удалось.

Рассказ Людмилы Бирюковой подтверждал многие косвенные сведения относительно даты смерти тургайского военкома. Подтверждалось, что Амангельды около месяца продержали в тюрьме и казнили вдали от города 18 мая.

Алиби Тогжанович продолжал допрос, хотя теперь он, по существу, лишь время тянул, чтобы решить для себя, как следует поступить с грязной старухой. Присутствие при расстреле, даже добровольное присутствие, преступлением считать нельзя. Жажда возмездия ва первого мужа или тревога о здоровье старика Бирюкова тоже не преступление. Относительно любого классового врага у чрезвычайного комиссара были только две меры: расстрелять или отпустить как раскаявшегося. Подумав, Алиби Тогжанович написал на обложке дела Бирюковой:

«В связи с психическим заболеванием и как вдову (по первому браку) жертвы царских жандармов освободить бывшую артистку Бирюкову в связи с ее раскаянием».

Получилось длинно и неубедительно. Насчет раскаянья явная неправда, но ведь и расстрелять старуху тоже нельзя.

— Вы должны дать честное слово, что не станете писать стихов против Советской власти. На этих условиях я вас отпущу до выяснения. Согласны?

— А за Советскую власть можно писать стихи?

— За Советскую власть — пожалуйста, — согласился Джангильдин. — Можете идти.

Старуха вышла, хлопнула парадная дверь, и Джангильдин подумал, что надо отпустить конвоира, доставившего ее из тюрьмы. Где он, кстати? Почему не оставил старуху, не спросил подтверждения? И постовой у ворот тоже обязан был спросить пропуск.

В коридоре никого не было, входная дверь прикрыта плохо, дует. Во дворе тоже пусто, метель утихла, в сгущающихся сумерках с крыльца виден был горизонт и желтые огни в домах на окраине.

Джангильдин кликнул постового, но тот не отозвался. Из дровяного сарая вышел Бейшара с колуном в руках.

Поклонившись Джангильдину, в недоумении стоявшему на крыльце, Бейшара объяснил, что все красноармейцы и командиры находятся в караульном помещении, где как раз теперь поет свои песни молодой акын, родной внук великого баксы Суйменбая.

— И постовой там?

— Конечно. Меня послали дров нарубить, а то бы и я там был.

Чрезвычайный комиссар не рассердился. Он вышел за ворота. Снег наискось летел по пустынной улице, но это уже не походило на метель. Просто шел снег и дул ветер. В Тургае всегда ветер. Бейшара с колуном в руках шел за Джангильдином.

— Эта баба, которую к вам привели, она не очень плохая. Она мне белую булку давала. Один раз. И один раз — рыбу соленую. Ее не надо расстреливать, она по глупости везде совалась. В наше время самое главное — помалкивать, а баба разве сможет? Что видел, что не видел — ничего не знай. Нашел — молчи, потерял — молчи. Я и батыру это говорил. Зачем он им возражал, зачем в лица плевал? Я ему говорил, чтоб он с меня пример брал. Я имя менял, веру менял, жену терял и обратно принимал. Я везде был, меня заграничным людям казали, я все терпел и никогда не возражал...

— Позови часового,— велел Бейшаре Джангильдин.

Через минуту у ворот появился перепуганный русский красноармеец. Он на ходу застегивал полушубок, вытровку зажал под мышкой.

— Почему ушел с поста? — сурово спросил чрезвычайный комиссар.

— Зашел в караулку прикурить, а там один мужик вап песню поет.

— А ты разве понимаешь по-нашему?

— Малость понимаю, я ведь из переселенцев. Из-под Кустаная.

В караульном помещении, где раньше размещались уездные писари, было жарко натоплено и душно. Керосиновая лампа светила тускло и помаргивала. В этом мерцающем свете Джангильдин увидел в переднем углу на скамейке молодого худощавого казаха в гимнастерке, какие выдавали мобилизованным на тыловые работы, и в ватных чулках. Это, видимо, и был внук баксы.

Про знаменитого Суйменбая Джангильдин слышал с детства и видел его раза два или три. Он знал, что баксы замерз в конце шестнадцатого года, когда карательные войска по приказу генерала Новожилкина жгли аулы и ни в чем не повинные старики и дети оставались среди зимы под открытым небом. Питая стойкую неприязнь ко всем на свете колдунам и шаманам, Джангильдин обеспокоился тем, что внук баксы настолько завладел вниманием слушателей, что и русский красноармеец не мог оторваться от представления. Да и сейчас, когда в караулку вошел чрезвычайный комиссар, никто не оглянулся на него, будто не слышали ничего и не видели. Будто заколдованные.

В руках у парня, сидевшего на скамье, был не кобыз, а обычная с виду домбра.

Чистым, высоким и вместе с тем очень мужественным голосом парень пел про кого-то, кто был крепок, как

булат, и остер, как алмаз, кто любил скакать по диким степям на поровистом коне, кто жаждал битвы, как сокол, и кого боялся царь Николай в Петербурге, и губернатор в Оренбурге, и сам русский бог боялся его. Ленин давно хотел с ним дружить и через верных людей из Сибири передавал ему поклон.

Джангильдин уловил в песне явное подражание древним эпосам и особенно «Кобланды-батыру». Сходство было в неторопливом развороте образов, в приподнятости и преувеличенности сравнений. Вместе с тем речь совершенно очевидно шла о нашем времени, коли героя боялся царь, а Ленин хотел с ним дружить. «Да это же про Амангельды! — догадался Алиби Тогжанович. — Это оп про нашего батыра!»

А парепь шел про батыра, который не боялся ни пушек, ни пулеметов и гнал врагов, как барсуков. Тучи вражьи редели под ударами его сабли, а вражьи сабли, пули и снаряды не могли повредить его стальной груди.

Джангильдину показалось, что в мелодии домбры звучит и что-то вовсе новое, похожее на какую-то революционную песню.

Вот в словах молодого акына появился и сам Алиби. Оказывается, Амангельды, Алиби и еще несколько повстанцев ездили к Ленину за советом, пили с ним чай и ели бесбармак...

Джангильдину стало не по себе. Он подумал, что молодого акына надо потом поправить. Надо сказать, чтобы шел ближе к правде и не преувеличивал.

Парень замолчал, опустил домбру, сидел тихо, и тихо было кругом. Самое время подозвать его и уточнить кое-какие факты. Однако Джангильдин не подозвал молодого акына и сам не подошел к нему с советом.

— Еще, пожалуйста! — попросили парня. — Еще, пожалуйста! Про Амангельды, про царя, про войну, Про Лепина.

Парень в лияной гимнастерке, внук баксы Суймеп-бая, запел снова, и песня его чем-то почти неуловимым отличалась от только что спетой. Поправлять его и вовсе расхотелось. Джангильдин подумал, что про Амангельды будут петь еще многие акыны. Долго будут петь и далеко от Тургая.

Ночью Джангильдину не спалось. Он разбирал бумаги, написал несколько ответов на запросы из разных вышестоящих инстанций, которых с каждым днем становилось все больше, а потом вышел на крыльцо покурить. Часового, как и вечером, не было видно, городок спал, даже собаки не лаяли, хотя вокруг Тургая в черно-мгlistой степи были волки. Они окружали город со всех сторон.

Икрамов К. А.

И42 Все возможное счастье: Повесть об Амангельды Иманове.— 2-е изд.— М.: Политиздат, 1983.— 383 с., ил.— (Пламенные революционеры).

84P7+63.3(2)711+63.3(2K)
P2+9(C)21+9(C55)

И $\frac{0505040000-221}{079(02)-83}$ 264—83

КАМИЛ АКМАЛЕВИЧ

ИКРАМОВ

ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ СЧАСТЬЕ

ПОВЕСТЬ ОБ АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новоухатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *А. А. Степанова*

Художник *В. И. Олефиренко*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. П. Межеричкая*

ИБ № 3749

Подписано в печать с матриц 01.02.83. А 00323.

Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.

Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.

Услови. печ. л. 17,41. Услови. кр.-отт. 21,24. Учетно-изд. л. 17,64.

Тираж 300 тыс. экз.

Заказ № 199. Цена 1 р. 40 к.

Политиздат. 125811, ГСП.

Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».

Свердловск, пр. Ленина, 49.

